

ПРО ВОЛГУ, БЕРЕГА И ГОДЫ

ГЕОРГИЙ  
КУБЛИЦКИЙ



ПРО  
ВОЛГУ,  
БЕРЕГА  
И ГОДЫ

## Annotation

Георгий Кублицкий — автор нескольких книг о Волге и Поволжье. Новая его работа — «Про Волгу, берега и годы» — результат почти тридцатилетних писательских наблюдений. Путевые дневники разных лет соседствуют в книге с описанием поисков архивных документов, с живыми зарисовками волжского быта, с записанной у старожилов забытой легендой, с рассказами о династиях волгарей, о героях битв на Волге, о великих стройках.

---

- - [Волжская столица](#)
  - [Волга, начинающаяся в Москве](#)
  - [По старой Мариинке](#)
  - [Проспектом к Балтике](#)
  - [На "золотом кольце" и возле него](#)
  - [Казанские сказания](#)
  - [Перекресток времен](#)
  - [Земля симбирская](#)
  - [Город Ставрополь ничем не интересен...](#)
  - [У самарской луки](#)
  - [Вода, хлеб, космос](#)
  - ["Вчера в аэропорту города-героя..."](#)
  - [По ту сторону нулевой горизонтали](#)
  - [У самого синего моря](#)
  -
-



Художник Г. Г. Бедарев

## Волжская столица



*Гораздо больше, чем река. — «Неузнаваемо изменился и похорошел». — Поклон кремлю. — Рожденный Волгой. — На Откосе. — В памяти людской. — Сормово и сормовичи. — Капитан флагама. — Воздушная подушка.*

Любовь к отчему краю приходит с детства.

Но в мальчишеские годы не волжские, а енисейские парходные свистки тревожили мое воображение смутным предчувствием дальних дорог. Имя великой реки пришло с книжкой страницы или, быть может, из чьего-то рассказа, и не слышалось в нем живого плеска волн.

Мне было уже около двадцати, когда я впервые увидел Волгу.

Сибирский скорый бежал к Москве через Ярославль. Была светлая летняя ночь, фонари на перроне

маленькой станции ненужно мелькнули желтыми пятнышками. Вагон спал. Похрапывал сосед, в дальнем конце плакал ребенок, и мать напевала: «А-а-а! А-а-а!» За окном бежали росистые полянки, темной стеной то подступал, то отступал лес.

Мой сибирский патриотизм заранее склонял весы в пользу родного Енисея. Но все читанное и слышанное о Волге вызывало ожидание чего-то необыкновенного. Никто, кажется, не говорил о ней просто. После слова «Волга» сам собой появлялся восклицательный знак.

Поезд загрохотал по мосту. Под ним несла воды неширокая, спокойная река. Вдали к высокому откосу жались деревянные дебаркадеры. Закопченный буксирный парходик тянул через реку паром с крестьянскими подводами. Над набережной теснились церковные купола и колокольни.

Только и всего?!

На обратном пути я уже не просил проводника разбудить меня и вернулся домой с уверенностью, что волжская мощь и ширь приводят в восторг людей, не видевших сибирских рек.

И лишь пройдя на пароходе из Горького в Ульяновск незадолго до войны, впервые ощутил почти неожиданное: Енисей — мой, а Волга — наша, она гораздо больше, чем река, она — над всеми реками.

Осознание этого пришло исподволь и все крепло в пути. Люди судачили о своем на палубе, парход стоял возле соловьиного острова из-за ночного тумана, причаливал к пристаням, грузчики катили по сходням грохочущие бочки. Все было обычно и необычно. Под замшелыми стенами нижегородского кремля чудился мне голос. Кузьмы Минина. На корме нестройно тянули про Степана Разина и княжну, но здесь, на Волге, запетая песня хмельного застолья обрела вдруг полнозвучие и силу. В названиях пристаней, в темной церквушке на крутогоре, в мягких лесистых увалах

узнавалось что-то трогательно-знакомое, в голове теснились некрасовские, горьковские строки и почему-то даже есенинские, возникало детски-наивное желание вот сейчас, немедленно взглянуть новыми глазами на левитановские полотна, чтобы открыть в них до той поры скрытую для тебя глубину...

Так и началось у меня, а потом узнал я Волгу военных лет, Волгу, восстанавливавшую Сталинград, и особенно Волгу великих строек. Она стала для меня рабочим местом, я проводил на реке едва не каждое лето, перезнакомился с капитанами, гидростроителями, рыбаками, ходил на буксирах и плотках, стал узнавать суда издали, научился различать их голоса, наслушался волжских бывальщин и небылиц. И все сильнее тянуло меня к Волге по весне, когда в затолах пахнет свежей краской и речники готовят суда к первым рейсам. На Волгу, снова на Волгу, опять на Волгу — и не надоедало: одна волжская навигация не похожа на другую, сама река в стройке, в постоянном обновлении, в переменах.

Но последние годы случилось так, что, много бывая за рубежом, на Волгу стал я заглядывать реже, притом не всерьез: пройдешь до Астрахани или до Ростова на пассажирском дизель-электроходе — и только. А с Волгой так нельзя. Почувствовал, что отстал, что растерял многое. И весной 1969 года оказался на знакомых плесах уже по-настоящему, оставив спешку в Москве. Пробыл на реке все лето, по Волго-Балту прошел уже осенним последним рейсом. Кое-что пришлось открывать для себя заново — в чем, однако, нашлись и свои преимущества. А в общем, одна навигация показалась слишком короткой, прихватил и вторую, юбилейного, 1970 года.

Конечно, и этого мало. Но сколько ни ходи по волжским плесам — все мало. Волгу не исходишь: не хватит человеческой жизни. И когда выносишь в

заголовок «Волга», уже обрекаешь себя на робкую попытку лишь коснуться неисчерпаемой темы.

Волга — как ствол могучего дерева России. пышные ветви ее кроны, крепкие ее корни так разметнулись, что и точных границ не определишь. Через Каму — в края уральские, одна ветвь протянулась к столице, другая породнила Волгу с Ленинградом. В древнем родстве она с Каспием, не за горами ее серебряная свадьба с Доном. Это география. А глубины истории, стрезни и перекаты народной судьбы?

Волга, Поволжье — двадцать три года жизни Ленина. Здесь корни его рода, золотая медаль гимназиста Владимира Ульянова, участие в сходке студента Казанского университета, революционное крещение, первая ссылка, знакомство с «Капиталом», первый подпольный марксистский кружок, зрелость революционера-марксиста. Здесь множество ленинских мест, одухотворенных воспоминаниями родных и друзей Ильича.

Забота о главной реке государства стала партийным делом с первых лет революции. И хотя история не сохранила достаточно полных, прямых и достоверных свидетельств того, каким именно виделось Владимиру Ильичу будущее Волги, проверка сегодняшней волжской действительности строками давних ленинских документов доказывает: то, что сделано на Волге, — в русле ленинских заветов, ленинской мысли, ленинской мечты.

Безмерны глубины волжской темы. Но у каждого из нас есть и свое личное, в чем-то несомненно пристрастное и, разумеется, отнюдь не всеобъемлющее ощущение Волги. Каждый по-своему видит свою Волгу, по-своему говорит о ней, отражая лишь запомнившиеся детали грандиозной панорамы. Вся Волга — только в путеводителях, но и там далеко не все о Волге.

У каждого из нас есть на великой реке свое «самое волжское». Для многих это Жигули. Для меня — город Горький.

«Неузнаваемо изменился и похорошел». Как это привычно — и как примелькалось...

Было бы, однако, поистине печально, если бы действительно неузнаваемо изменилась эта волжская столица, поднятая над слиянием волжских и окских вод. Ее символ — стройный, вскинувший рога олень, и кажется, будто сам город легко вбежал на кручи и остановился там, оглядывая с высоты кремлевских башен упоительные заречные дали.

Эти дали некогда восхитили Репина. Рассказывая о царственно поставленном городе, он вспоминал людей старой Руси, которые не любили селиться где-нибудь и как-нибудь, умели ценить жизнь, ее теплоту и художественность.

Горький изменился и меняется, но при этом он узнаваем сразу и безошибочно. Город дорожит тем, что оставлено ему историей. Он оберегает достойное сохранения и памяти. В 1971 году ему семь с половиной столетий, и он сразу напоминает гостю о своей почитаемой старине.

Нижегородский кремль радовал глаз еще в те времена, когда по реке неторопливо скользили парусные расшивы. Уже и тогда он смотрелся в воды с зеленых высот, и, если над рекой низко стлался туман, башни и стены казались парящими в воздухе.

Время отмерило столетия, модели расшив давно пылятся в музейных витринах, понеслись по Волге первые суда на подводных крыльях, а кремль по-прежнему безраздельно главенствовал в силуэте города. По сторонам от него безлико расплывалась старая нижегородская застройка со вкрапленными кое-где жемчужинами вроде Строгановской церкви; буйно



растущие новые районы не были видны с волжских подходов.

А нынче — смотрите-ка, кремлю добавили достойного соседа! Сосед не теснит древность, он как бы перекликается с ней через глубоко врезанные в склон Дятловых гор долины, отделяющие кремлевскую Часовую гору от Гребешка.

Сосед совсем молод. Его дома-башни выше кремлевских, но поднятые над Окой, поодаль от кремля, лишь почтительно подчеркивают величие глубокой старины. «Радиусный» домище, как бы наброшенный полукольцом на выступ горы возле башен, образует с ними целостный архитектурный ансамбль нового района. Окские склоны под ним расчищены от старья и превращены в парки-террасы. Изящные мосты перекинуты высоко над облагороженными зеленью оврагами.

И какой вид отсюда! Хрустальный граненый бокал башни речного вокзала, деятельная портовая жизнь у стрелки Оки и Волги, в заречье здания мемориальной площади имени Ленина, а в синей дали — Сормово.

Гость города начинает обычно с поклона кремлю. Впервые я увидел его еще в запустении: проломы в стенах, обветшала кровля башен. Теперь одна из мощнейших крепостей Московского государства снова приведена в такое состояние, что, кажется, готова отразить любой приступ, кроме туристского...

Кремлевский обелиск Минину и Пожарскому вынесли к волжскому склону, обдуваемому ветрами речных просторов. Они несут запахи луговых трав, влажной земли и, увы, газов, отработанных дизелями десятков буксиров-толкачей и грузовых теплоходов. Главная улица России пахнет теперь сходно с магистралями наших городов. Горьковатый пароходный дымок, такой привычный в прежние годы, уже не зовет к путешествиям медлительным и романтическим...

Вот так же, как в Горьком, поставлен над слиянием двух рек памятный монолит и в Белграде. Тут Минин и Пожарский, там — славянский воин-победитель на вершине колонны. И стены крепости Калемегдан в югославской столице сбегают по склонам к Дунаю и Саве. А на колонне воина еще видна торопливая надпись русского сапера, может быть, прошагавшего до Белграда от волжских берегов: «Проверено, мин нет».

Целыми днями по стенам нижегородского кремля бродят очарованные люди. Сквозь бойницы, к которым некогда припадали ратники, отражавшие приступ войск казанского хана, виден город, сохранивший напластования многих столетий. Древность в нем — лишь островками, но Нижний половины прошлого и начала нынешнего века просматривается еще вполне отчетливо, и в этом купеческом, ярмарочном, фомагордеевском Нижнем — не одни только темные пятна.

Нижний рожден Волгой. Юрий, сын помянутого «Словом о полку Игореве» великого князя Всеволода, который «можеша Волгу веслы раскроптити», заложил его как волжский форпост Владимиро-Суздальского княжества: Русь оседала и закреплялась на великой реке. От первых стен и первого храма, срубленного в 1221 году, остались разве что угли да зола, перемешанные с землей. По традиции церковь не меняла места. В полу кремлевского Архангельского собора, построенного в XVII веке, видишь камни фундамента, положен-Кого неизвестными мастерами тремя веками раньше на пепелище самого первого храма.

Под темными сводами того же собора — белая плита: «Кузьма Минин». В патриотической своей сути его порыв, его призывы близки нам и сегодня. Пусть архаичны для нашего уха слова «не пожалеем животов наших... дворы свои продадим, жен и детей своих заложим» — но как полно для своего времени, для

человека из торгового посада выражена в них готовность на любые жертвы во имя отечества!

Нижний, поднятый на подвиг Мининым, начал — и словно по тревожному набату поднялись другие города, Волга двинулась на выручку Москве.

Над могильной плитой Минина склонено знамя ополчения 1611 года. Здесь же знамена нижегородских ополченцев, два века спустя пронесенные по следам отступавшей наполеоновской армии до Дрездена и Гамбурга. И кажется, будто на стены собора, где могила патриота, бросает отсвет пламя, полыхающее неподалеку в память павших на фронтах Великой Отечественной войны.

Горький — очень волжский город. Именно поэтому его история, как и история самой Волги, отражает повороты судеб всей России.

Хочешь почувствовать своеобразие Горького — выйди из кремля на Откос, где, по выражению Алексея Толстого, человек впитывает в душу ширь и силу земли, необъятность, прелесть и волю, где ум бродит по видениям шумного, богатого прошлого и мечтает о безграничных возможностях будущего.

Здесь бронзовый Чкалов вглядывается в бездонное небо, готовясь к полету: пятьюстами ступеней уходит вниз, к Волге, лестница, словно парадный трап исполинского корабля; отсюда от грузной, мощной башни стена кремля плотно опоясывает склон; а рядом с величавым спокойствием Откоса — шумная площадь Минина и Пожарского.

На Откосе всегда люди, местные и приезжие. С его высот взгляд объемлет как бы сводную волжскую эскадру. На рейде тесно от множества кораблей. Не надо ходить на выставки, не надо разглядывать снимки и модели: Горький в разгаре навигации собирает под Откос все, чем славна транспортная Волга. Здесь можно увидеть «Волгаря-добровольца», единственное

сохранившееся судно Волжской военной флотилии времен гражданской войны с теперь уже забытыми пулеметами «максим» на спардеке и пушкой на корме. Рядом с этим «братом „Авроры“ — современный морской корабль, остановившийся на пути из моря в море. А мимо них проносится, оставляя пенный след, „Метеор“.

На рейде — великолепные трехпалубные теплоходы дальних пассажирских линий, настоящие плавучие санатории, и тут же мощные толкачи-буксиры необычных форм, к которым никак не привыкает глаз старых знатоков Волги. Есть в них что-то от тяжеловатой грубой массивности многосильных самосвалов или бульдозеров, тогда как прежние колесные буксировщики, тянувшие баржи за собой, сохраняли очертания старинных стругов и резали воду острыми носами.

По самую палубу осевшие в воду нефтяные баржи, танкеры всех размеров, от небольших, завозящих горючее для колхозов по боковым притокам, до махин типа „Волгонепть“, идущих от волжских промыслов напрямик к морским портам Европы, представляют на рейде нефтеналивной флот.

Река, обозреваемая с Откоса, предлагает также внушительную экспозицию грузовых теплоходов, за которыми после войны закрепилось было название „самоходок“. Но в самом этом слове определение чего-то небольшого, незначительного. Грузовые же теплоходы очень выросли с тех пор, стали поднимать по пять-шесть тысяч тонн, вытянулись в длину едва не на полтора метра. Как назовешь такой „самоходкой“?

Да, Горький — столица транспортной державы, имя которой — Волга. После того как Волгу продлили, дав ей выход на Москву, к Балтике, к Дону, к Беломорью, город оказался в центре многих магистральных линий. Здесь не только крупнейший речной порт страны, но стапели „Красного Сормова“, колыбели многих сотен судов,

которыми гордилась и гордится Волга. Здесь институт инженеров водного транспорта и старейшее речное училище. В Горьком — ордена Ленина Волжское объединенное пароходство, хозяин величайшего в Европе пассажирского и сухогрузного флота. Его начальник Константин Константинович Коротков выразился так:

— Волга? Ну, с нашей точки зрения, это прежде всего огромное транспортное хозяйство. Притом хозяйство широко индустриализированное.

Формулировка не отличалась поэтичностью, но точно выражала существо дела.

Волжский флот и в царской России не был запущенным и отсталым. Особенно славились волжские пассажирские теплоходы, прекрасные ходоки, оборудованные с вызывающей купеческой роскошью. Разумеется, простой люд перевозили в трюмах едва не навалом — „сколько влезет“ — труд и быт судовых команд были изнурительными и тяжелыми, но внешне Волга высоко держала марку, поражая приезжих иностранцев.

Среди волжских пароходчиков, в массе своей — хищников, портретную галерею которых оставил нам Алексей Максимович Горький, встречались и натуры незаурядные, понимавшие толк не только в способах применения капитала, но и в искусстве судостроения. На Откосе сохранился дом крупнейшего волжского пароходчика и нижегородского городского головы Дмитрия Сироткина. Проект Сироткин заказал талантливым русским архитекторам братьям Весниным. Здание великолепно, в нем теперь художественный музей.

Занимаясь историей волжского флота, я вскоре после войны написал книжку, где упомянул о том, что Сироткин на своих верфях строил удивлявшие лучших судостроителей Европы нефтеналивные баржи —

„новинки“, легкие в ходу и поднимавшие рекордное количество груза. Для меня Сироткин был фигурой, с революцией канувшей в небытие. Вдруг получаю письмо:

„...Вы коснулись построенной мною в 1907 году нефтеналивной баржи „Марфа-Посадница“... Принадлежа к судопромышленной семье и любя свой отечественный речной промысел, я в течение многих лет производил по своим чертежам постройку судов... Немцы шли за мной, как видно из специальных немецких журналов. Мне помогал мастер из побережья, мой земляк, Тимофей Иванович Комиссаров, вечная ему память... Прошу принять уверение в моем к Вам уважении, Ваш читатель Дмитрий Сироткин“. И адрес: Белград, улица Тадеуша Костюшко.

Несколько лет спустя я попытался разыскать человека, который говорил когда-то, что в его руках вся Волга с Северной Двиной и Обью в придачу.

Да, в Белграде кое-кто помнил Сироткина. Он привез в Югославию изрядный запас золота, кажется, хотел наладить на Дунае свое пароходство, чувствовал себя баринном. Потом рысаки и пролетки сменились трамваем, но прежний форс остался.

Мне рассказывали:

— Подходит к нему кондуктор: „Молим, карту!“ („Пожалуйста, билет“). А наш Дмитрий Васильевич этак сердито палкой с набалдашником об пол: „Какую карту? Игральную, что ли? Билет надо говорить!“ Властный был старик!

— Был?

— Затерялся он как-то. Говорят, получал пенсию по старости. Умер в безвестности.

Откос — излюбленное место встреч. Сюда идут после выпускного школьного бала. На Откесе встречают рассвет в счастливый день получения диплома. И сюда же приходят много лет спустя, в памятные годовщины.

Солидные люди, дамы с перманентом и портфелями, седой полковник медицинской службы, — а возгласы:

— Валька! Валька! Не видели Вальку?

— Девочки, наши собрались уже?

— Это не он? Нет? Где же он? Девчата, Петьку не встречали? Неужто не приехал?

Оказывается, собрался выпуск Горьковского медицинского института, его здание тут же, у Откоса. Даже не один, а два выпуска. Съехались со всей страны. Одни кончили институт двадцать лет назад, другие — десять. „Десятники“ пока скромно табунились возле памятника Чкалову, чтобы сфотографироваться там, где фотограф когда-то снимал их, совсем еще молодых и зеленых...

Ах, Откос, Откос! Да есть ли где еще у нас место, откуда Волга просматривалась бы так вот, с высоты птичьего вольного полета! Разве только с жигулевских курганов. Но в Жигулях нет необъятности волжских лугов, сверкающих в разлив серебром проток и озер. Нет и Оки с золотом пляжей, дугами мостов, парусами яхт.

Вон за Окой серый силуэт собора, главный ярмарочный дом. Там некогда среди павильонов, лабазов, лавок шумело разноплеменной толпой всероссийское торжище, и Пушкин писал о нем: „Сюда жемчуг привез индеец, поддельны вины — европеец“. Однако для провинциальной ярмарки, где властвовал повсюду „меркантильный дух“, собор проектировал знаменитый Огюст де Монферран, которому принадлежит и проект Исаакиевского собора в Петербурге, а главные здания сооружал талантливый Августин Бетанкур, строитель московского манежа и петергофских мостов.

С Откоса, от кремля, с площади Минина и Пожарского, разлетаются радиусами улицы-дороги, теряющиеся на дальних окраинах первого из поволжских городов-миллионеров. Он удерживает в

Советской России третье место после Москвы и Ленинграда не только по числу жителей, но и по промышленному потенциалу. Это индустриальный центр широкого профиля, получивший десятки первоклассных заводов и удесятиривший свою территорию по сравнению с прежним Нижним Новгородом.

По старой привычке горьковчане говорят: „Поедем на Мызу“. Верно, была когда-то Мыза, одинокая приметная ферма далеко за городом. Теперь там новый городской район. Бывшая пыльная дорога на Арзамас — современный проспект с университетскими зданиями, Дворцом спорта, очень напряженным уличным движением. Новые городские районы рождались одновременно с крупнейшими предприятиями. Первый камень, положенный в котлован будущего автозавода возле пригородной деревни Монастырки, был и первым камнем одного из лучших нынешних районов — Автозаводского.

Бродишь по улицам города — сколько памятных досок! И какие имена! Какие умы и таланты!

Здесь отчий дом и могила Ивана Кулибина. Среди несчетных его изобретений — водоходное судно: сама Волга, вращая особо устроенные колеса, заменяла бурлаков. Кулибин слишком опередил свой век, чтобы косный петербургский двор и крепостники русской провинции могли оценить его; в глубокой старости он умер почти нищим.

В Нижнем родился гениальный математик Лобачевский, великий физиолог Сеченов читал здесь лекции, будущий знаменитый почвовед Докучаев был основателем местного краеведческого музея, изобретатель радио Попов несколько лет заведовал местной электростанцией... Невольно сбиваешься на скороговорку, на простое перечисление имен: так много одаренных, ярких людей прошли через историю приволжского города.



Нижний, город Горького, отмечен также в биографиях Толстого, Чехова, Бунина, Успенского, Гарина-Михайловского.

Для Пушкина он был лишь дорожным перекрестком, но нижегородское село Большое Болдино подарило поэту необычайно плодотворную „болдинскую осень“.

Измученный Шевченко приехал в Нижний по Волге после десятилетней ссылки, из „незамкнутой тюрьмы“ Новопетровского укрепления, и несколько месяцев нижегородской жизни были для него „порой оттаивания“, обретения душевного равновесия. Из ссылки же, из морозной мглы Якутии, после долгой, изнурительной дороги с ямщицкими обозами попал на Волгу Короленко — и осел в Нижнем на целых одиннадцать лет. Он поступил на скромную должность кассира пароходной пристани, но сразу стал заметной фигурой в общественной жизни города. К нему потянулись, — и он никому не отказывал ни в совете, ни в помощи. Среди тех, кто приходил к Короленко, был и долговязый юноша Алексей Пешков, решившийся показать писателю рукопись поэмы „Песнь старого дуба“ ...

Литературный Нижний — это и Мельников-Печерский, спустившийся по Волге на парусном дощанике в Казань, чтобы поступить там в университет. Вернувшись на родину, он сделал блистательную служебную карьеру, дослужился до чиновника особых поручений при министре внутренних дел, но был бы забыт потомством, если бы не его увлечение волжской стариной и литературой. Читательская Россия полюбила в нем автора романов „В лесах“ и „На горах“.

Нижегородской конторой удельного округа управлял Владимир Даль, неутомимый трудолюб, собравший множество пословиц и поговорок, составивший четырехтомный „Толковый словарь живого

великорусского языка“, без которого и по сей день не обходится ни один пишущий.

Нижегородский театрал Александр Улыбышев написал капитальный труд о Моцарте, переведенный на иностранные языки. Милий Балакирев, один из основателей „Могучей кучки“, — тоже нижегородец. Он, как вспоминали, родился с какой-то неистощимой любовью к звукам и гармонии, в четыре года играл на фортепьяно, а в десять сочинял музыкальные пьесы.

Нижегородцы аплодировали Рубинштейну, выступившему в местном театре с концертами, Шаляпин же не только пел здесь, но и участвовал в некоторых общественных начинаниях горожан — давал, например, концерты, сбор от которых пошел на постройку Народного дома.

А революционный Нижний!

Отсюда родом Николай Добролюбов, семинарист, который вместо того, чтобы одеть рясу, в двадцать лет связал судьбу с „Современником“, а когда пять лет спустя оборвалась его короткая жизнь, был уже известен не только всей мыслящей России, но и всей передовой Европе как великий критик и страстный революционер.

На Сормовском заводе некоторое время под чужим именем работал Степан Халтурин, позднее пытавшийся взорвать в Зимнем дворце ненавистного царя. Нижегородским уроженцем был Герман Лопатин, гарибальдиец, переводчик „Капитала“, революционер, которого высоко ценил Маркс.

Нижний — родина Якова Свердлова. Сын ремесленника-гравера, юный „товарищ Андрей“ тайком изготавливал печати для документов, нужных революционному подполью, выпускал прокламации, организовывал маевки. Когда ему не было еще и двадцати, полицейские власти удостоили его весьма лестной для истории революционной борьбы

характеристики: „Опасный пропагандист-революционер, человек самого вредного направления“.

Наконец, с Нижним и Нижегородской губернией тесно связана судьба семьи Ульяновых.

\* \* \*

Здание Нижегородской гимназии сохранилось как основа нынешнего корпуса педагогического института, фасадом выходящего на площадь Минина и Пожарского. Прибавились боковые крылья и этажи, изменилась планировка комнат, но старую часть легко отличить по маленьким окнам и непомерно толстым стенам.

Среди физических приборов, собранных в „ульяновской аудитории“, в кабинете старшего преподавателя физики и математики Ильи Николаевича Ульянова, есть такие, которыми несомненно пользовался отец Ленина. Бурный век сохранил их лишь благодаря редкому стечению обстоятельств. С 1780 года в этом здании только учились. Старая классическая гимназия стала школой, школа превратилась в институт, люди приходили и уходили, сменялись поколения, а вещи оставались.

На старинном микроскопе сохранился автограф Ильи Николаевича. Но чем подтвердить подлинность, скажем, модели гелиоцентрической системы? Да, она стара, конечно, но ведь ей может быть и девяносто, и восемьдесят, а не сто с лишним.

Игорь Александрович Кирьянов, преподаватель института, осторожно касается модели:

— Пересчитайте планеты. А где Нептун? Значит, модель была изготовлена до того, как астрономы открыли его: не позднее 1846 года.

Игорь Александрович — историк, археолог, автор книги о нижегородском кремле. Это он окончательно

доказал, что Кузьма Минин вовсе не Козьма Захарьевич Минин-Сухорук, как много лет утверждали некоторые историки, а сын мелкого солепромышленника из Балахны Мины Анкудинова. Минин, таким образом, не фамилия, а отчество, ставшее позднее родовой фамилией потомков славного нижегородца.

Вместе с многолетним исследователем педагогической деятельности Ильи Николаевича профессором Дмитрием Андреевичем Баликой и другими горьковскими учеными доцент Кирьянов многое сделал и для выяснения неизвестных ранее обстоятельств жизни семьи Ульяновых в Нижнем.

Анна Ильинична вспоминала „казенную квартиру в коридоре здания гимназии из четырех в ряд идущих комнат“, где лучшей была детская. Запомнилась ей также „площадь перед зданием гимназии с бассейном посередине, с мелькающими над ним деревянными черпалками на длинных ручках и окружающими его бочками водовозов“.

Однако долгое время не удавалось установить, где именно находилась описанная Анной Ильиничной квартира: в некоторых окна выходили на бывшую Благовещенскую площадь, но в этих квартирах либо не было четырех комнат подряд, либо они не примыкали к коридору гимназии. Лишь после кропотливого перелистывания архивных дел Кирьянов наткнулся на беглую пометку канцеляриста: план переустройства классов и квартир Нижегородской гимназии отправлен сего числа в Петербург, в департамент путей сообщения и публичных зданий.

Тотчас был послан запрос ленинградцам. Они прислали фотокопию плана, на котором все комнаты были расписаны по фамилиям преподавателей незадолго до переезда Ульяновых в Нижний. Не расписанной оказалась лишь четырехкомнатная квартира на третьем этаже. Значит, только ее мог

занимать преподаватель Малинин, которого сменил Илья Николаевич. По плану видно, что к лестнице, ведущей в квартиру на третьем этаже, можно было попасть лишь через длинный коридор второго этажа. Вероятно, этот коридор и вспоминала Анна Ильинична. Правда, на плане — только три комнаты подряд; четвертая, большая, лучшая, которая могла быть детской, действительно выходит окнами на площадь.

Когда Ульяновы покинули Нижний, Анне Ильиничне едва исполнилось пять лет; в этом возрасте память едва ли может сохранить безупречно точный план квартиры.

Кстати, если судить по воспоминаниям популярного в свое время писателя-нижегородца Петра Боборыкина, гимназия — „большое двухэтажное здание, с флюгером на крыше“. Флюгер действительно был, он изображен на чертеже, приложенном к плану, есть он и на старых снимках, но поднимается над зданием, где в центральной части не два, а три этажа. Боборыкин же учился в этой гимназии не один год, казалось бы, должен помнить все до мельчайших подробностей, Алексей Максимович Горький говорил о нем: „Очень наблюдательный“...

Интереснейшая находка, относящаяся к происхождению рода Ульяновых, сделана в Астрахани, однако касается бывшей Нижегородской губернии. О документах, найденных в астраханских архивах, писалось немало, я напомним здесь лишь основное.

Долгое время полагали, что дед Владимира Ильича по отцу Николай Васильевич Ульянов был родом из Астрахани. Но вот научная сотрудница Астраханского архива Римма Николаевна Мостовая, изучая списки помещичьих крестьян, „зашедших“ из разных мест России в Астраханскую губернию, обнаружила запись: „Николай Васильев сын Ульянин, 25 лет, Нижегородской губернии Сергачской округи села Андросова помещика

Степана Михайловича Брехова крестьянин“. Ульянин? А может, описка? Или разночтение фамилии?

По ревизским сказкам Астраханской казенной палаты, по бумагам астраханского губернатора, реестрам ремесленной управы, спискам для рекрутского набора удалось проследить, как бывший крепостной Ульянин стал государственным крестьянином, приписался к Астраханскому посаду, стал заниматься портновским ремеслом, перешел, как мастер-ремесленник, из крестьянского в мещанское звание. И архивные же бумаги отразили изменение его фамилии: Ульянин стал Ульяниновым, а под конец жизни — Ульяновым. Последняя его собственноручная подпись на ревизской сказке такова: „К сей сказке астраханской мещанин Николай Ульянов руку приложил“.

В списках для рекрутского набора сказано, что Николай Ульянов — „коренного российского происхождения“. В этой бумаге перечислены его дети, в их числе — сын Илья, двух лет. Будущий отец Ленина.

Сергачская округа, откуда пришел в Астраханскую губернию дед Ленина, это нынешний Сергачский район, расположенный в глубинке Горьковской области, к юго-востоку от Горького.

Крепостной Николай Ульянов покинул родные места в 1791 году. Разглядывая карту Нижегородского наместничества, начерченную в 1779 году, видишь на ней кружок села Андросова, в котором, как это проверено уже горьковскими архивными работниками, действительно находилось поместье корнета Брехова.

На карте изображен герб Сергача: олень, символ Нижегородского наместничества, а в нижней части щита — медведь на задних лапах. Первым приходит на ум ходячее определение — медвежий, мол, угол, глухомань.

Но, порывшись в старых бумагах, я узнал, что Сергачский уезд был самым населенным в губернии

после Нижегородского и принадлежал к числу наиболее плодородных; в нем были развиты также ремесла, особенно сучение пряжи и тканье холстов. Сообщалось, что население уезда — предприимчивое, деятельное и что поскольку при всем плодородии земли пшеница здесь рождается скудно, местные крестьяне в неурожайные годы уходят на отхожие промыслы и на Волгу.

Старая „Сергачская округа“ — в глубинке нынешней Горьковской области. Село Андросово входит в большой колхоз „Красная деревня“. Среди андросовских жителей и сегодня есть Ульяновы; распространенная русская фамилия с давних времен передается здесь из рода в род...

С нижегородским Поволжьем связаны не только несколько лет жизни Ильи Николаевича. В Нижний не раз приезжал молодой Владимир Ильич.

К концу века главный ярмарочный город России обрел уже и свое крепкое рабочее ядро. Местная интеллигенция хорошо приняла политических ссыльных из столиц и университетской Казани. „Капитал“ ходил по рукам. В Нижний тянулись нити от федосеевских казанских кружков. Рабочие-волгари с судоремонтного завода Курбатовых, с Сормовского завода тайком собирались, чтобы услышать слово Маркса. И не знаменательно ли, что в 1893 году уже десятки нижегородских кружковцев сообща писали письмо Энгельсу?

Однако это вовсе не означало, что кумиры народничества не имели в Нижнем сторонников и почитателей. Имели, да еще каких! Тут жили знавший тюрьмы и этапы одаренный литератор Елпатьевский, публицист Анненский; к ним был близок и Короленко. Имен, по общественной популярности равных этим, среди нижегородских марксистов не было. Идеальная борьба предстояла упорная и не легкая.

Ленин приехал в Нижний по Волге в конце лета 1893 Года. Первые его встречи с местными марксистами не были ни долгими, ни многолюдными. Во флигеле невзрачной гостиницы „Никанорыча“ завязались важные связи, произошел обмен адресами, были названы нужные люди.

Нижегородцы поняли, какого масштаба и влияния человек появился в революционном деле, и не удивились, когда до них дошли слухи об идейной победе молодого Ульянова над известным народником Воронцовым. Они пригласили Владимира Ильича снова посетить их город.

Он приехал в январе 1894 года, Марксисты и народники собрались для идейной битвы. Соображения конспирации и теснота квартиры учительницы Якубовской позволили собрать немногих, но избранных с той и другой стороны. Неопровержимость доводов, полемическое мастерство молодого Ульянова произвели глубокое впечатление на приверженцев народничества, и некоторые из них вскоре расстались со своими заблуждениями.

Летом 1894 года Ленин снова в Нижнем Новгороде.

Сюда же приехал молодой Глеб Кржижановский. Будущий составитель плана ГОЭЛРО занял незаметную должность инженера по кустарным промыслам. Анатолий Ванеев и Михаил Сильвин, которым вскоре суждено было стать соратниками Ленина по „Союзу борьбы за освобождение рабочего класса“, привозили в Нижний оттиски ленинской работы „Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?“. И тогда же все заметнее становилась в нижегородском подполье роль Августы, Зинаиды и Софьи Невзоровых.

Сестры выросли в довольно обеспеченной семье, но уже в ранние годы посвятили себя служению революции. Зинаида Невзорова училась на химическом отделении Высших женских курсов в Петербурге — это



помогло ей впоследствии изготавливать копировальную смесь и чернила для печатания на гектографе листовок. Кабинет зубного врача Августы Невзоровой был местом конспиративных встреч нижегородских рабочих в канун вооруженного восстания 1905 года. Софья Невзорова примкнула к революционному движению на Высших женских курсах, и ее боевым крещением был арест за перевозку нелегальной литературы.

Сормович Петр Заломов, послуживший прообразом горьковского Павла Власова, рассказывал, что сестры Невзоровы произвели на него ошеломляющее впечатление:

— Молодые, красивые, жизнерадостные, яркие, смелые, умные и образованные, они были совершенно не похожи на тех женщин, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться... На меня лично сестры Невзоровы оказали громадное влияние. Именно от них я получил окончательную большевистско-ленинскую закалку.

Дом Невзоровых на бывшей Полевой улице, где Владимир Ильич останавливался во время последнего посещения Нижнего, стал музеем.

Улица еще и сегодня сохраняет колорит прошлого. Боковые переулки замощены крупным булыжником, а в иных и вовсе нет мостовой: старине жить уже не долго, район обновляется.

В старом двухэтажном доме на Полевой улице Владимир Ильич останавливался летом 1900 года. До этого он побывал в Нижнем весной, вскоре после возвращения из сибирской ссылки. Трехлетнюю ссылку неподалеку от Шушенского отбыла и Зинаида Невзорова, ставшая в Сибири женой ссыльного Глеба Кржижановского.

Владимир Ильич прожил в доме Невзоровых два дня, встречался со своими нижегородскими единомышленниками. Затем вместе с матерью и сестрой

Анной поехал на пароходе по Волге, Каме и Белой в Уфу, где заканчивала срок ссылки Надежда Константиновна Крупская. Два года спустя он в письме матери вспомнил об этой поездке, о редких в его жизни спокойных днях: „Хорошо бы летом на Волгу! Как мы великолепно прокатились с тобой и Анютой весной 1900 года!“

В те годы, когда в Нижний Новгород приезжал Владимир Ульянов, письмоводитель присяжного поверенного Алексей Пешков, вернувшись из странствований по Руси, начал печататься сначала в нижегородской газете, потом опубликовал „Челкаша“ в „Русском богатстве“, некоторое время работал в Самаре, снова вернулся в родной город. Здесь он познакомился с сестрами Невзоровыми и с другими революционерами. Наступление XX века он встретил в Нижнем уже известным писателем Максимом Горьким и... поднадзорным департамента полиции.

Сложный, противоречивый Нижний последних десятилетий прошлого и начала нынешнего века, в котором впервые прозвучала горьковская „Песня о Буревестнике“, оставил нам обрывки своей каменной летописи. Это особняки богатеев, стоивший почти миллион дом купца Рукавишникова, до революции владевшего в числе прочего немалой частью земли, занятой улицами и кварталами украинского города Бердичева. Это бывшая ночлежка, деревянные хибарки в боковых улочках, чайная „Столбы“, где кормились босяки.

Это и дом нижегородского мещанина Василия Каширина, нынешний музей детства Горького — может быть, один из самых достоверно-впечатляющих, способных всколыхнуть душу музеев нашей страны. В нем почти физически ощущаешь духовную скудость и затхлость бытия провинциального мещанства, атмосферу жизни, „полной свинцовых мерзостей“, жизни нечистой и нелепой, отравленной туманом

взаимной вражды „всех со всеми“. Все здесь узнаваемо: полати, пузатые самовары, водочные штофы, розги, мокнущие в ведре под рукомойником: чтобы были гибче, чтобы били больнее. Псалтырь и счеты на столе у деда, в котором уживались набожность, алчность, жестокость...

Писатель сам рассказал об этом доме и о своем детстве. В его рассказах из десятков штрихов косвенно складывается и портрет самого города, очерк его быта. Вспомним хотя бы дом, где жил чертежник Сергеев, у которого Алеша не столько учился, сколько был „мальчиком за кухарку“; этот дом напоминал „гроб для множества людей“, с распластавшимся перед ним грязным оврагом. Или иконописную мастерскую, жаркую и душную, с маленькими окнами, радужными от старости, неохотно пропускающими свет.

— Меня влекло на Волгу, к музыке трудовой жизни, эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое... — говорил писатель в зрелые годы.

Волга струится с первых страниц повести „Детство“. Бухает и дрожит медлительный пароход, уходят назад дивные берега с городами и селами, точно пряничными издали. Это для мальчика дни насыщения красотой.

Алеша Пешков узнает потом трудовую Волгу, плавая посудником две навигации на пароходах „Добрый“ и „Пермь“. Позднее, в Казани, юноша Пешков, чтобы не голодать, ходил на Волгу, к пристаням и там, среди грузчиков, босяков, жуликов, „чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли“. Только человек, работавший на Волге, мог с такой потрясающей силой дать читателю почувствовать героическую поэзию труда в описании будничной, казалось бы, ночной разгрузки проломившей днище баржи, как это сделано в „Моих университетах“.

И уже на самом склоне жизни больной Горький дважды приезжал на Волгу. Вторая поездка была как бы

прощанием с родной рекой: она закончилась в конце августа 1935 года, до кончины писателя оставалось меньше года...

Улица Коминтерна, главная в Сормове, пожалуй, оживленнее, чем центр Горького. Потом пошли улицы потише, типичные для рабочих поселков старых заводов — зеленые, не бойкие улицы с палисадниками. Свернул вбок в совсем уж дачную тишину и обнаружил старичка, читавшего газету в тени на лавочке.

— Курицыны? Да вон, четвертый дом справа. А вам кого же?

— Мне бы самого...

— Сам-то теперь не живет здесь. Давайте обратно тем же манером. Где бульвар Юбилейный, знаете? Так вот, сам-то Николай Гаврилович туда недавно переселился. В девятиэтажный дом. Квартиру не скажу, врать не буду. Да там спросите, найдете.

Юбилейный бульвар был еще, что называется, с иголочки. Пруд, вдоль берега — свечи молодых березок, а за асфальтовой дорожкой полукруг девятиэтажных зданий. Их девять, поодаль друг от друга. Девять на девять — 81 этаж. На каждом много квартир. И в одной из них — сормовский ветеран тов. Курицын Н. Г. Справочного бюро поблизости не видно. Соседи же едва ли успели узнать друг друга...

В третьем доме нашелся Курицын, сормович, ветеран, но... Павел Курицын. А что, если знающий старик ошибся? Что, если Курицын живет в одном из шестиэтажных домов, каковых на втором плане несколько десятков?

Николая Гавриловича Курицына я нашел в шестом от края доме. Он несколько удивился, что у гостя лоб в поту, и молча налил стакан холодной воды.

Выяснилось, что мне повезло: Николай Гаврилович был в отлучке, только что вернулся домой.

— Звонят: поедем с нами идеологическую работу проводить. Ну, раз так, говорю, поедем. А куда? В Урень. Это районный центр такой, от Горького километров около двухсот, да там еще по окрестным деревням. Поехали бригадой, на машине. Все ничего, только старому в чужом месте спится плохо. Тяжеловато все же. Однако старался держаться, будто герой во всех отношениях.

Не все понравилось Николаю Гавриловичу в поездке. Мало молодых в колхозах, школу окончат — и в город. Не держит, не притягивает их земля. Вот в сормовских рабочих семьях чуть не целый век — от отца к сыну, от деда к внуку. Третьяковы, Плесковы, Ляпины, Батурины, Зеленовы, Кокушкины, Некоркины, Годяевы...

— Курицыны, — дополняю я.

— Что же, и Курицыны, — соглашается Николай Гаврилович. — Почти с основания завода, с Нижегородской машинной фабрики. Дед мой сормович, и отец, Гавриил Леонтьевич, и братья. Сам я на завод пришел в девятьсот двенадцатом. Теперь сыны мои, Виктор да Владимир, — сормовские мастера.

Я знавал нескольких старых сормовичей, и среди них — прожившего ровно столетие сормовского патриарха Тихона Григорьевича Третьякова, в огромной семье которого — больше сорока человек! — были и директора заводов, и начальники цехов, и мастера, и рядовые рабочие. Меня удивляли руки Тихона Григорьевича: он разговаривает, рассказывает, а руки заняты какой-то своей работой, не имеющей к рассказу никакого отношения — будто что-то переставляют, прилаживают. И у Николая Гавриловича такие же не знающие покоя руки.

Смотрю на Николая Гавриловича: можно сказать, живая история! Начиная работать на заводе „Акционерное общество „Сормово“. Видел, как сорвали и сбросили старую вывеску с царским двуглавым орлом.

Помнил, как сормовские рабочие вооружали корабли Волжской военной флотилии, ушедшие в бой против белогвардейцев. В последнюю войну строил танки. После войны праздновал столетие „Красного Сормова“.

— Николай Гаврилович, а в партии вы с какого же года?

— С семнадцатого. Теперь осталось нас таких на весь завод восемь человек. Между прочим, и революцию девятьсот пятого помню. Фактически вот такая вещь: жили мы неподалеку от завода, тринадцатый дом, если считать от проходной. Приходит отец: „Завтра бастуем“. Наутро я за ним увязался. Мне девять лет было: все интересно. Вижу, строят баррикады. Обоз шел с дровами, так дрова свалили. Рядом почта была, столб стоял на углу возле дома Кукушкина. Ребята давай его пилить. А начальник почты, видя, что связь рушат, стрельнул в окно из револьвера. Рабочие в ответ — залп, тоже из револьверов: в Сормово боевая дружина была, человек сто. Столб повалили все же. Всего тогда построили двадцать пять баррикад, даже пушки самодельные были, одну наш сормович, Париков его фамилия, успел соорудить. Два дня шли бои. Ну, где устоять: артиллерия, полиция, солдаты, казаки. Отцу еще повезло, его потом только с завода выгнали, другим солонее пришлось...

Николай Гаврилович закурил — курит он давно и много, а мне вспомнилась фотография на музейном стенде, посвященном декабрьскому вооруженному восстанию нижегородцев. Сормовского рабочего Устинова, приговоренного к смертной казни, фотограф снял тотчас после вынесения приговора. Сормович дерзко смотрит как бы в лицо судей, поза его горда и спокойна, пальцы правой руки засунуты за широкий ремень, которым перепоясана белая рубаха смертника. И там же, в музее, письмо рабочего Ивана Мочалова: „Здравствуйте, дорогая премоногоуважаемая Шура!

Посылаю Вам предсмертное последнее почтение и желаю Вам всего хорошего, доброго здоровья, скорого и счастливого успеха в Вашей жизни, передайте, если увидите Пашу, мое последнее почтение, также кланяюсь Наташе и Кате. Затем прости и прощай навсегда, любящий Вас до смерти, писал, когда шел на казнь“.

— В том месте, где была главная баррикада в девятьсот пятом, стоит теперь памятник Ильичу, — снова заговорил Николай Гаврилович. — Но прославил сормовичей на всю землю еще девятьсот второй год: маевка, Петр Заломов. Кто, спрашивается, „Мать“ не читал? Спасибо Алексею Максимовичу, никто до него не написал так о рабочем-революционере! Видел я его, Горького-то, в двадцать восьмом году. Сопровождал в Балахну. Вышел он на берег, окружили его рабочие. Смотрел потом бумажную фабрику. Там в одном месте древесину растирают, он наклонился, а я сзади изо всех сил держу, вдруг, думаю, оступится? Потом попросили его речь сказать. „Нет, говорить-то я не мастер, я все вам опишу, и вы прочтете“. И с Калининым Михаилом Ивановичем опять-таки в Балахне встречались, когда там открывали теплоцентраль.

У Николая Гавриловича круглое, доброе лицо, чуть хрипловатый голос заядлого курильщика. Рассказывает, словно вглядываясь во что-то далекое. Сидим мы в небольшой комнатке, обставленной, что называется, по-спартански: видно, хозяин не из приобретателей, ценит простор, воздух, каждая лишняя вещь мешает ему.

Распрашиваю Николая Гавриловича о прошлом. Ну, вот, пришел на завод мальчиком в кузницу, потом поставили его, как грамотея, на клеймовку, а дальше что и как?

— Работал я под рукой отменного слесаря, большевика Гриши Минина. Доверились мы друг другу. От него, от Гриши, узнал я по-настоящему про Ленина, про большевиков. Гриша поручил мне листовки слесарям

в ящики подкладывать. Вроде как сейчас общественная работа, в том лишь разница, что тогда оплошал — и тюрьма. Ну, подходит семнадцатый год, верно? Слышим: царь свергнут! Рабочие, конечно, к главной проходной. И, представьте, кто-то сберег флаг, с которым в пятом году на баррикадах бились! Вышли с этим флагом из ворот, за воротами — толпища. Девушка у меня была одна знакомая, слышу, окликает: „Коля, Коля, там казаки!“ Кто душой робок — в сторону. А наши большевики — Минин, Козлов, Коршунов и еще некоторые — взялись за руки, пошли вперед, запели: „Вставай, поднимайся, рабочий народ!“ Идем. Верно, впереди казаки. Но только не посмели они... Так мы и пришли всей рабочей массой в Нижний, к губернаторскому дому, потом к тюрьме — политических освободить, потом к Тобольским казармам. Великое было ликование!

Мне партийный стаж хотели считать с шестнадцатого года. А я — считайте с апреля семнадцатого, когда Владимир Ильич, вернувшись, выступал с Апрельскими тезисами. Кстати, слышали, поди, что наш сормович Чугурин Иван Дмитриевич учился у Ленина в Лонжюмо, а в семнадцатом году встречал его в Петрограде на вокзале с красной лентой через плечо?

После приезда Ильича началась у нас особенно жаркая драка с меньшевиками и эсерами. Их тогда было много, меньшевистский комитет занимал целый этаж в пожарном депо, а наш умещался в двух комнатках деревянного домика. Возле проходной, бывало, десять, а то и больше ораторов митингуют, вокруг каждого споры, крики. Мне в комитете говорят: „У тебя, Николай, ноги молодые, сбегай, посмотри, где кто выступает“. Это для того, чтобы туда, где у эсеров оратор посильнее, нам тотчас своего сильного парня послать. И с каждым днем все больше рабочих к нам склонялось, к ленинской правде.



В октябрьские дни Николай Гаврилович участвовал в захвате телефонной станции, почтамта, типографии. В гражданскую ходил на Деникина, в годы разрухи был на партийной работе. А там — опять в цеха родного завода. И если бы не болезни, так и не ушел бы на пенсию. Да и теперь: надо с бригадой по партийным делам ехать — едет. Просят в школе выступить — как откажешь? Зовут с молодыми судостроителями в обеденный перерыв прямо на стапеле встретиться — обязательно выкроит время.

В начале нашего разговора я спросил:

— Николай Гаврилович, не тянет вас обратно на завод?

— Обратно на завод? — удивился он. — Так я и так при заводе. Как же мне без завода?

К директору „Красного Сормова“ я пришел раньше назначенного времени, у него были посетители. В приемной, как и в прошлые годы, все тот же желтый линолеум на полу, круглый дубовый стол с пальмой посередине и подшивками газет вокруг нее, массивные часы фирмы „Мозер“, отсчитывающие время, возможно, сначала века. И, как прежде, в ветвях деревьев, едва не проросших прямо в окно, галдели грачи.

Внешней данью времени были лишь снимки крылатых кораблей и секретарский стол с большим пультом, где телефон не звонил, а гудел, как „ракета“, только приглушенно..“

Свыше ста двадцати годков Сормовский завод — на службе Волге.

Появление в 1849 году „Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного и завозного пароходства“ означало, что для Волги началась эпоха пара. На земле, купленной у вдовы статского советника Крюковой, появились кирпичные заводские трубы, заработали литейные и кузнечные заведения. В 1850

году завод дал Волге первые суда — маленькую „Ласточку“ и деревянный пароход-кабестан „Астрахань“.

Годом позже инженер Михаил Окунев начал строить в Сормове первые железные суда. Десять лет спустя сормовские пароходы ходили уже по всей Волге, от Твери до Астрахани. Вскоре завод стал собственностью крупного помещика, откупщика-миллионера, обрусевшего грека Бернадаки, который, как говорили, послужил Гоголю прототипом для его Костанжогло. Это был человек с цепкой предпринимательской хваткой, изощрявший ум в приобретательстве. Он понимал выгоду технического прогресса, покупал новейшие машины и брался за любые подряды. При нем инженер Александр Износков построил заводу первый в России мартен.

Слава Сормова росла год от года. Понадобилась астраханскому порту землечерпательная машина — сормовичи создали ее. С их стапелей стали сходить морские шхуны. Волге они дали „Переворот“ — первое двухпалубное судно нового типа с прекрасно оборудованными каютами, которое действительно перевернуло старые представления, превратив пароход в плавучую гостиницу высокого класса. В начале нашего века Сормово выпустило „Сармата“ и „Вандала“, первые в мире теплоходы. На заводе работал конструктор Василий Калашников, построивший десятки превосходных для своего времени пароходов, человек поразительной технической интуиции: он мог по дребезжанию хрустальных подвесок люстры пароходного салона определить недостатки конструкции судового двигателя.

И какая гибкость, какой производственный диапазон всегда отличали сормовичей: за что ни возьмутся — сделают! Строили вагоны — и к революции выпустили их шестьдесят четыре тысячи. Паровозы? Свыше двух тысяч за тот же срок. Мосты? Десятки небольших и два

для своего времени огромных: через Волгу у Казани и через Обь у будущего Новосибирска.

...В кабинете над старым камином с глазурованными коричнево-желтыми плитками стоит зеленая, как кузнечик, модель первого советского танка „Борец за свободу тов. Ленин“, построенного сормовичами в 1920 году. Михаил Афанасьевич Юрьев проследил за моим взглядом:

— Знаете размеры нашего первенца? Длина — четыре метра, высота — два с четвертью. Экипаж состоял из двух человек. А скорость — восемь с половиной километров в час.

Я спросил Михаила Афанасьевича, давно ли он „сидит на Сормове“? Оказалось, десятый год, а до того десять лет директорствовал на Горьковском металлургическом.

— Очень это интересный народ — сормовичи. — Директор как бы размышляет вслух. — Вы вот поговорите с теми, кто в летах — и у каждого три-четыре души на заводе. Копните конструктора, мастера, старшего мастера — все из рабочих, из сормовичей. Поинтересуйтесь родословной многих горьковских заводов, и окажется, что Сормово — ствол, а они — ветви. Возьмите станкозавод, „Двигатель революции“, даже автомобильный. Сормово для них отец или мать, это уж как вам нравится, Многое шло отсюда, с Сормова, от сормовичей — кадры, традиции, опыт. Не только старый опыт, но и новейший.

На нашем заводе действуют установки непрерывного разлива стали с радиоизотопными датчиками и электроникой. За эти установки — Ленинская премия. Из Сормова пошли и головные образцы кораблей на подводных крыльях. Сормовская рабочая гордость — не легковесная, не искусственно раздутая. Вот недавно сормовичи создали для нефтяников Баку огромное судно катамаранного типа —

вероятно, единственное в Европе, способное своим сверхмощным краном поставить на морское дно собранную буровую вышку. Поставили — заработал бур, нефть пошла по трубопроводам. Или возьмите сормовские морские дизель-электрические паромы, связавшие через Каспий Красноводск и Баку, Азербайджан и Туркменистан.

Думаю, что Волга и сегодня не обижается на сормовичей. Флагман ее флота построен у нас, как и множество других речных судов. Теперь даем Волге теплоходы смешанного плавания „река — море“, а конструкторы заняты новыми моделями — и все для нее, для Волги.

Из заводууправления мы с Михаилом Афанасьевичем пошли туда, где среди деревьев стоит на постаменте танк Т-34.

— Наш, сормовский. Одним из первых ворвался в Берлин. Передан нам командованием Советской Армии, — сказал директор.

Возле танка на щитах почета — портреты героев труда. И первый среди них — старый знакомый, сталевар Николай Анищенков. Подростком попал в Сормово при эвакуации занятого врагом района, в семнадцать выучился на подручного сталевара, варил сталь для танковых башен. Быть может, в танке-монументе есть и его, анищенковская, доля. В первый послевоенный год бригада Анищенкова завоевала первенство на заводе, и с тех пор его трудовая слава держится по-сормовски устойчиво. Именно Герой Социалистического Труда Николай Анищенков сделал плавку в счет стомиллионной тонны советской стали — и это было еще в 1967 году: страна перешагнула казавшийся когда-то недостижимо далеким рубеж — сто миллионов ежегодного ее производства. Юбилейная сормовская сталь пошла на стройку Саратовской гидростанции.

— Настоящий сормович, — коротко сказал о сталеваре директор.

На ходу разговаривать не легко. Всюду люди, со всеми Михаил Афанасьевич здоровается первым. И ни разу не видел я, чтобы кто-нибудь поздоровался в ответ излишне торопливо или с оттенком подобострастия: сормович себе цену знает!

Мы вышли к слипу, где готовят к спуску корабли Большой Волги. Огромное судно типа „река — море“ было на плаву. Его называли „Великий почин“ — так же, как озаглавлена знаменитая работа Ленина, посвященная коммунистическим субботникам. Сормовичи досрочно спустили судно на воду в день всесоюзного субботника — и была в этом как бы перекличка поколений: в далекий год великого почина нынешние сормовские ветераны, тогдашние комсомольцы, на субботниках ремонтировали суда для пополнения волжского флота.

И о племени крылатых сормовичи, конечно, не забывают. В работе — тезки космических кораблей: „Восход-1“, „Восход-2“, „Восход-3“... Больше пятидесяти стран покупают у нас готовые суда или лицензии на их производство. Как-то заказ на „Ракеты“ пришел из Тринидада: другое полушарие, Вест-Индийский архипелаг у побережья Южной Америки...

Сегодняшнее „Красное Сормово“ в сущности давно уже не завод, а много заводов, поскольку его слава опирается на трех китов: металлургию, машиностроение, кораблестроение. И каждый из этих китов — действительно кит, даже в масштабе нашей великой индустриальной державы. Думаю, что если бы с берегов Волги 1913 года соскрести и собрать под Нижний Новгород ее тогдашние заводы, то этой сборной было бы все же очень далеко до сегодняшнего „Красного Сормова“.

Михаил Афанасьевич, рассказывая о сормовских послереволюционных годах, упомянул, что первым красным директором завода выдвинули рабочего Данилова. Естественно было спросить, как стал директором сам рассказчик...

— Я вообще-то из беспризорников, — ответил Михаил Афанасьевич. — Удрал из приюта. Где на вагонах, где под вагонами — ящики тогда такие были под вагонным полом, взрослому тесно, мне — в самый раз. Одесса, Севастополь... Потом занесло меня каким-то ветром в Красную Яругу — это Курская область. Взял меня пастух в подпаски. Осень пришла ранняя. По утрам — иней, а я — босой. Ну и схватил острый суставный ревматизм. Попал в больницу, а там в палате лежал рабочий, дядя Гриша...

Несколько лет назад получаю письмо. Видел, мол, портрет в газете, не тот ли вы Миша Юрьев, что в больнице со мной лежали? Если тот самый, то нам с тобой, парень, свидеться бы не мешало. Приехал я к нему, к дяде Грише, в Красную Яругу. Вся улица собралась, и дядя Гриша в шинели на костылях: война его покорежила. Детей у дядя Гриши полно, собрались соседи. Пошли воспоминания, не заметили, как светать стало. Ведь именно дядя Гриша, рабочий человек, дал мне верный толчок в жизни. Пошел в цех, а там — фабзавуч, комсомол, институт. В партию вступил, когда семнадцати не было. Вот какая история. Судьба, в общем, многих. Потом работа, работа, работа. И замелькали годы! Не успеешь оглянуться — года нет, а дел не убавляется. Вот и теперь — расширяемся, реконструируемся: шагаем в ногу с космическим веком. И быт налаживаем: в Комсомольском поселке возводим проспект Кораблестроителей, думаем, что потягаемся с любой горьковской улицей. А как же иначе?

Где и открывать волжскую навигацию, как не в волжской столице?

Конечно, первые корабли начинают весеннее плавание в низовьях еще в ту пору, когда над покрытым льдом Рыбинским морем проносятся запоздалые снежные циклоны. Астрахань и Волгоград могут услышать раннюю переключку свистков в начале марта, а если зима была особенно мягкой, то и раньше.

Но торжественное открытие навигации происходит в Горьком. 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича, горьковчане провожают в первый рейс флагман Волги. Построенный сормовичами дизель-электроход „Ленин“ выходит на рейд, украшенный флагами расцветивания, и рейд салютует ему.

Командует флагманом капитан Владимир Андреевич Кириллов.

На орденских колодках капитана — планка медали „За оборону Сталинграда“.

В волосах Владимира Андреевича седины предостаточно, но капитаны вообще седеют рано — служба у них такая. Ему, видимо, лет сорок. Сталинградской битве свыше четверти века. Как-то не очень сходится. Или награжден еще в мальчишеские годы?

— Сколько вам, Владимир Андреевич?

— Сорок три. А что?

Я сказал — и в ответ услышал вот какую историю.

Владимир Кириллов окончил Астраханский речной техникум в 1942 году. Его определили сразу третьим штурманом на буксирный пароход „Орджоникидзе“: людей тогда не хватало, многих позабирали в армию.

Под бомбы „Орджоникидзе“ попал в плесе неподалеку от Сталинграда. Налетело сорок четыре

самолета.

Капитан перед бомбежкой отлучился на берег, чтобы позвонить сталинградским диспетчерам, а третьего штурмана послал в лодке за хлебом. Кириллов, бережно спрятав в карман хлебные карточки всей команды, вместе с масленщиком Сашей Лепилкиным, таким же молодым и необстрелянным, греб к базе, когда завывали бомбардировщики.

Парни перепугались, сели на днище лодки. Бомба разорвалась рядом. Кириллов почувствовал резкую боль в затылке.

— Ой, меня ранило! — крикнул он.

Саша Лепилкин не ответил. Кириллов оглянулся. У Саши не было головы. Кровь хлестала из обезглавленного крупным осколком туловища.

Взрывная волна второй бомбы сбросила Кириллова в воду. Он поплыл. Плыл вяло, потрясенный, ослабевший. Крови потерял много, наглотался воды, дышать было трудно из-за каких-то едких газов. В общем, стало ему все безразлично, и начал он тонуть. Вдруг рядом шлепнулась доска. Кириллов услышал чей-то окрик. Это шкипер со стоявшей на якоре баржи заметил тонущего. Кириллов сделал рывок, уцепился за доску. Мимо баржи его пронесло течением, но какие-то добрые люди втащили парня в лодку.

Он отлежался маленько на берегу, потом побрел к „Орджоникидзе“.

На песке лежал человек. Кириллов услышал слабый голос:

— Володя, помоги...

Это был капитан „Орджоникидзе“ Александр Васильевич Загрядцев. Осколок бомбы настиг его в пути, когда капитан, услышав самолеты, бегом бросился назад к своему пароходу.

— Помоги, Володя...



У капитана был вырван живот. Было вдвойне страшно от того, что он говорил слабым, но спокойным голосом, не стонал даже...

Умер капитан Загрядцев на подводе по дороге в госпиталь. Скончался от ран и комиссар судна. Из команды „Орджоникидзе“, кроме них, погибло еще десять человек.

Кириллова хотели отправить в тыл. Он сказал, что в тыл ему нельзя: капитана нет, комиссара нет, а он все же штурман. Операцию сделали на месте. Несколько мелких осколков засели глубоко в плече. Перевязанный Кириллов доплелся до „Орджоникидзе“. На судне не было живого места, но машина уцелела.

Под Сталинградом восемнадцатилетний штурман Кириллов проработал до ледостава. Медаль же за Сталинград получил не на Волге, а в Полярном, где к концу войны служил подводником на Северном флоте. В подразделение приехал вице-адмирал. Говорил о боевых традициях. Потом скомандовал:

— Кто воевал под Сталинградом — три шага вперед. Как? Никому не довелось? Никто не был на Волге?

При последних словах Кириллов и еще один волгарь рискнули выйти из строя.

— Так я же знаю „Орджоникидзе“, — обрадовался адмирал. — Еще „Ласточка“, „Абхазец“, „Гаситель“... Большую помощь оказали нам речники на переправах. Почему медаль за Сталинград не носите?

— Товарищ вице-адмирал, мы не воевали, мы работали...

Через несколько дней Кириллову вручили медаль „За оборону Сталинграда“ и „За боевые заслуги“.

Дизель-электроходом „Ленин“ капитан Владимир Кириллов командует уже несколько навигаций. Он не просто капитан, а инженер-судоводитель: заочно окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта.

Своими учителями Кириллов считает погибшего Александра Васильевича Загрядцева и знаменитого волжского судоводителя Александра Ивановича Торсукова, у которого ходил штурманом на „Володарском“. Первый стал образцом долга, второй учил искусству капитанских вахт, когда ведешь судно в туман и осеннюю непогоду, в ледоход и шторм.

Капитанская ночная вахта — с 10 вечера до 4 утра. Но если разобраться, то капитан вроде бы всегда на вахте. Пассажиры ночью спят, днем у них жажда делового общения, желание дать капитану ряд очень ценных советов. Когда ты всему голова, то в сущности ночная вахта на пассажирском судне, пожалуй, самое спокойное время: ты, штурвальный и Волга.

У Владимира Андреевича Кириллова был настолько типично капитанский вид, так ловко на нем сидели фуражка и китель, в манерах чувствовалось столько спокойной уверенности, привычки командовать, распоряжаться, что я не сомневался в его принадлежности к какой-нибудь старой капитанской династии. Но капитан Кириллов оказался бывшим колхозником из села Никольского; это в низовьях, под Астраханью.

— Знаете, еще мальчишкой бегал на Волгу смотреть, как „Степан Разин“ свой караван тянет. Его капитан, Чадаев Николай Иванович, на всю Волгу тогда гремел. Вот меня и захватило, потянуло.

...Капитан Чадаев. Нет его уже среди волгарей, он стал „Капитаном Чадаевым“, прожив жизнь, достойную того, „чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела“.

Я знал капитана Чадаева уже в преклонные лета: седенькая бородка клинышком, сухощавая сутулая фигура, глуховатая запинаясь речь и орден Ленина первого довоенного образца на кителе.

Он начал плавать еще в прошлом веке. Вывел его в люди отец, тоже капитан. Отец считал, что учиться нужно не за партой, а на Волге. Заставил сына пройти к капитанскому мостику все ступени: три года — матрос, три — штурвальный, несколько лет — лоцман, потом — помощник капитана.

Николай Иванович Чадаев помнил, как пошли по Волге первые теплоходы, рассказывал про дикие гонки судов враждовавших пароходчиков. Он принадлежал к тому поколению волгарей, при которых затрепетало на ветру первое красное знамя. Обложив рубки мешками с песком, они водили свои пароходы вместе с кораблями Волжской военной флотилии на штурм Казани и защиту Царицына, потом налаживали судоходство на опустевшей после гражданской войны реке.

В начале тридцатых годов Николай Иванович был капитаном нефтевоза „Степан Разин“. Это судно построили еще в прошлом веке пушкари Мотовилихи, и называлось оно прежде „Редедя, князь Косожский“. Изрядно износившийся, но еще достаточно мощный пароход обычно тянул против течения баржи с 14-15 тысячами тонн груза — столько же, сколько в соответствии со справочниками Корпорации внутренних водных путей США однотипные суда должны были тянуть на Миссисипи.

Когда рекорд Алексея Стаханова всколыхнул страну, капитан Чадаев провел „воз“ с 17 тысячами тонн груза. Потом взял 20 тысяч. Он был опытен, осторожен, знал, что с Волгой не шутят, не шел на „ура“. С речами не выступал, оратором был плохим, на трибуне конфузился и больше покашливал, растерянно теребя бородку:

— Вот попробую, значит, одно дело, а так чего же загодя хвалиться...

Попробовал счаливать баржи „гусем“ вместо традиционного „бочонка“. Протянул за „Степаном

Разиным“ 34 тысячи тонн. И, наконец, установил мировой рекорд: 42 тысячи тонн!

— Нашел, стало быть, на воде вроде рельсы, — говорил он. — Полагаю, тут хитрости особой нет, теперь другие поведут.

И верно: повели. Повели тем наиболее выгодным фарватером и тем наиболее выигрышным способом, которые нашел старый волгарь.

подавляющее большинство сегодняшних волжских капитанов в тот год, когда Николай Иванович установил свой рекорд, либо ходило в детский сад, либо одолевало четыре действия арифметики.

Капитанская профессия с тех пор очень помолодела. Путь к капитанскому мостику стал гораздо прямее: речное училище, институт.

Еще в 1926 году на Волге встречались малограмотные капитаны. Не в судоводительском, а в самом прямом смысле: написать отчет о рейсе им было труднее, чем отстоять несколько ночных вахт. В тот год половина начальников пароходств в графе „образование“ писала: „Начальное“. Капитан с дипломом был тогда такой же редкостью, как сегодня капитан без диплома.

Капитан на сегодняшней Большой Волге — профессия действительно инженерно-техническая!

\* \* \*

Конструкторские бюро Горького проектируют суда огромные и необычные, начиная от трехэтажных морских паромов и морских же теплоходов, которые могут перевозить рудный агломерат, раскаленный до 700 градусов. Здесь рождаются смелые, масштабные проекты дальнейшего обновления волжского флота, осуществление которых поможет продлить навигацию и

значительно расширить транспортные связи „река — море“. В волжской столице думают и о малых притоках великой реки.

...Крылатые суда своими обтекаемыми формами вызывают представление о полете. А это — плоское, ящичное, что ли. Если бы оно стояло не на воде, подошло бы определение: приземистое.

Рубка управления у него не посередине, как у „Ракеты“, а в носу, и это придает „Горьковчанину“ некоторое сходство с автобусом, у которого сняли колеса, притом с автобусом не для городского асфальта, а для дальних поездок, когда шоссе временами сменяется проселком.

Никаких сильных ощущений „Горьковчанин“ не подарил. Мне представлялось: загудит, приподнимется, заскользит на своей воздушной подушке — не то полет, не то парение, дух замирает.

А он, „Горьковчанин“, как-то незаметно отвалил от берега и пошел почти как обыкновенный катер, только быстрее. Чувствовались удары о волны, брызги летели в стекла салона.

Рейс был испытательным — от Горького вверх по Оке. Ученые люди установили посередине контрольный прибор, который, в отличие от самого „Горьковчанина“, упрямо барахлил. Потом все наладилось, и один член комиссии встал рядом с рулевым, а трое склонились над прибором:

— Правый борт — отметка!

— Левый борт — отметка!

„Горьковчанина“ испытывали на маневренность. Он метался из стороны в сторону. До этого были особые испытания на шум в салоне: новорожденный держал экзамен по многим предметам.

Главного конструктора проекта Владимира Константиновича Зорострова окружающие называли Володей: худой, бледный „очкарик“ в берете среди

весьма солидных и уверенных в себе мужей. Один из членов комиссии вообще полуприсутствовал: развалившись на диванчике, читал книгу об убийстве президента Кеннеди.

В какие-то минуты, пока прибор в очередной раз забарахлил, я кое-что выудил из конструктора. Он работает в „Волгобалтсудопроекте“. Воздушной подушкой начал интересоваться не в лаборатории, а, как он сказал, „на дому“. Читал наши и иностранные журналы, идея показалась заманчивой, увлекся. Река сама подгоняла мысль, „Ракета“ для нее уже давно не новость, надо было искать, пробовать.

Профессор Михаил Яковлевич Алферьев известен у нас в стране как убежденный и фанатичный катамаранщик. Но он не отверг „инакомыслящего“, предлагающего нечто совершенно отличное от катамарана, а взял под свое высокое покровительство. Профессор Василий Иванович Андриутин, заведующий кафедрой проектирования судов Горьковского института инженеров водного транспорта, бывший начальник конструкторского бюро, также поступил вопреки заезженной драматической коллизии и сюжетного стержня некоторых пьес: вместо того, чтобы затирать молодого новатора, помог ему. И началось не с почтительных просьб к вышестоящему: разговорившись почти случайно, легко нашли общий язык.

Не было упорства консерваторов и на экспериментальном заводе института, где идею воплощали в конструкцию. Впрочем, завод — это очень громко, правильнее было бы говорить о мастерских при институте, а применительно к масштабам „Красного Сормова“ — даже о кустарных мастерских.

Суда на воздушной подушке сильно занимали печать несколько лет назад. Рисовались красочные перспективы: взрели моторы, судно, стоявшее на

берегу, приподнялось в воздух, само спустилось на воду и понеслось стрелой.

— Это были смелые прогнозы без достаточных оснований, — сказал Владимир Константинович Зороастров и строго взглянул на меня сквозь очки: не думаешь ли, мол, и ты написать что-либо подобное?

Воздушная подушка действительно способна приподнять судно, оно может стать амфибией. Интересная идея обрела техническое решение. А это решение может быть разным, причем и экономичность здесь далеко не последнее дело.

Владимир Зороастров с самого начала думал не столько о самой матушке-Волге, сколько о некоторых ее притоках, огорчительно быстро мелеющих после половодья. Заранее предвидя, что я могу допустить бестактность, способную бросить тень на репутацию молодого специалиста, и напишу, будто конструктор думает, как одиночка, Зороастров попросил, чтобы я, рассказывая историю „Горьковчанина“, непременно упомянул главного строителя Игоря Евгеньевича Анисимова, директора мастерских Карла Генриховича Прежбога, главного инженера Бориса Георгиевича Коптева („Без них ничего не было бы“). И я охотно перечисляю эти имена: создание нового типа судна — дело коллективное.

После рейса на „Горьковчанине“ я навестил профессора Андрютина.

— Очень способный, — отозвался он о Зороастрове. — Начал в ванне. Мастерил модельки, приспособливал мотор от пылесоса. Это еще в студенческие годы. Кажется, в шестьдесят первом взял его на практику. За лето он спроектировал и построил пятиметровый катер. Из фанеры и жести, а моторы — от мотоцикла. Вот с таким катером и начали работать. И, надо сказать, решили ряд задач.

Профессор велел принести чертежи и фотографии.

— Наше направление — не судно вообще, а судно для малых рек типа Суры. „Ракеты“ там не пойдут — мелко. Да и извилистость не позволяет развивать большую скорость: не впишешься в поворот. Поэтому мы стали работать над скеговой схемой.

Скеги — это как бы полозья под днищем, которые не дают растекаться вбок воздуху „подушки“. Судно не парит, не поднимается над водой, скеги остаются в воде. Сормовские „Радуга“ и „Сормович“ могут делать чудеса, на ходу перелетать через мели и даже через плоты, развивать очень большую скорость. Но им нужны мощные воздушные двигатели, воздушные винты.

„Горьковчанин“ же из воды не поднимается, скорость у него немногим больше тридцати километров, но идет он там, где человеку примерно по колено. Это, в общем, как раз то, что практически нужно: малые реки потому и зовутся малыми, что ни длиной, ни глубиной, ни просторными плесами не отличаются.

„Сормовичи“ и „Радуги“ помчатся у нас по Волге, а „Горьковчанины“ повернут на притоки.

Позднее, уже в Чувашии, я снова столкнулся с „Горьковчанином“. Его пустили по Суре, где не счесть перекатов, где, помимо прочих бед, можно наткнуться на заиленную тяжелую корягу. Судно вело себя молодцом, перевозя пассажиров втрое быстрее обычных катеров.

Теперь эти суда пошли в серию.

В заключение — маленькая справка. Считают, что протяженность всех малых рек с глубинами меньше метра — таких, где „Ракете“ не пройти, не повернуться и где „Горьковчанин“ может ходить без труда — достигает трехсот тысяч километров. Дать таким рекам скоростной вездеход — это значит ускорить общий ритм жизни на их берегах.



Осенью 1945 года, в канун первой послевоенной годовщины Октября, редакция газеты „Водный транспорт“ попросила меня написать фантастический рассказ о будущей Волге. Его напечатали в праздничном номере, он назывался „Маршрут № 4“.

Главный диспетчер, не выходя из диспетчерской, с помощью селектора-телевизора проверяет готовность туристского маршрута. Сначала перед ним возникают шлюзы канала имени Москвы. Потом „яркий свет заливают экран, чайки носятся над водным простором. Конечно, это речное море. Но какое? Московское? Рыбинское? Куйбышевское?“

Выясняется: Куйбышевское. У входа в шлюз стоит самоходная баржа, сплошь заставленная легковыми автомобилями. А мы спешим дальше.

„Этот маяк со скульптурной группой узнать нетрудно: он стоит на гребне Донской плотины и указывает путь судам, идущим Донским морем. Итак, экран перенес нас на канал Волго-Дон“.

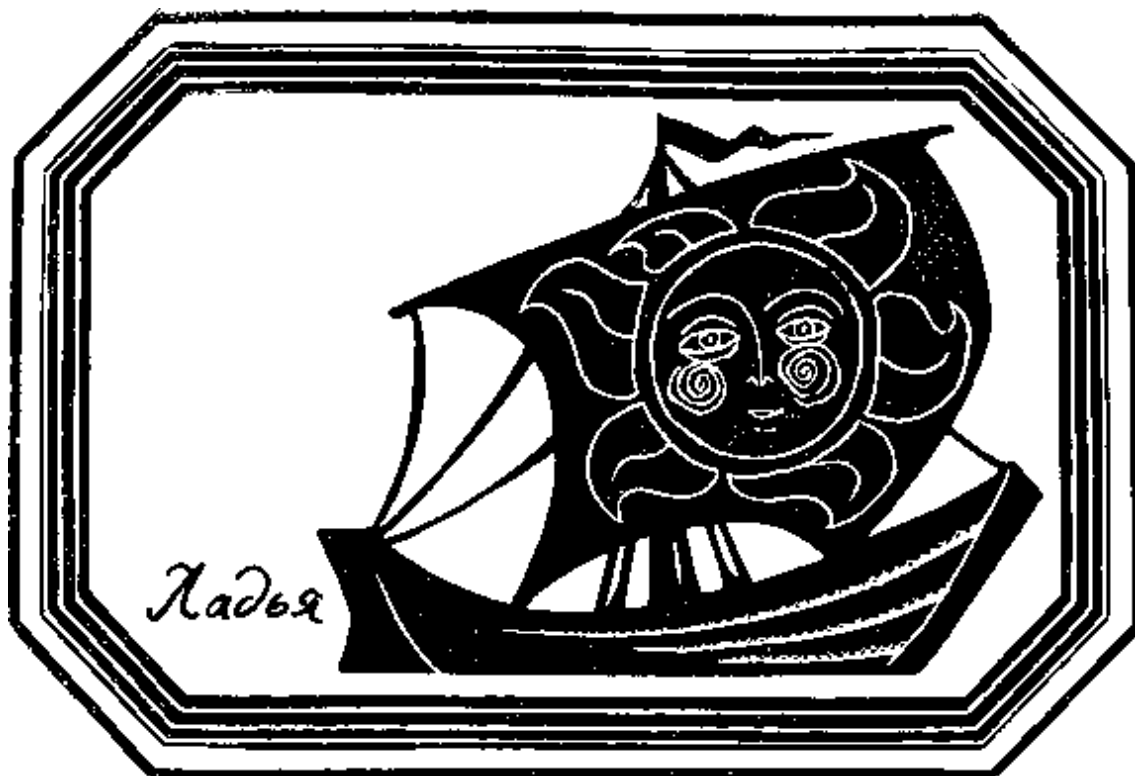
И дальше в таком же духе.

Убогая фантазия? Да, конечно, не бог весть какой полет... Но, дорогие мои читатели, не было в 1945 году на флоте телевизионных устройств, самоходные баржи казались белыми воронами среди привычных „деревяшек“, автомобильные заводы только переходили еще на выпуск мирной продукции, приход Куйбышевского моря виделся в дальней дали, прежде чем строить Волго-Дон, надо было расчистить от руин Сталинград. Рассказ действительно казался фантастическим: Волга только поднимала со дна затонувшие, обгоревшие корабли, люди жили на скудном карточном пайке, сами слова „турист“,

„туристский маршрут“ относились к другой, полузабытой эпохе.

И боясь, что тогда, в 1945 году, читатели обвинят меня в безответственной маниловщине, я закончил рассказ ссылкой на номер „Водного транспорта“ от 1 января 1940 года, где ведь тоже говорилось „о многих грядущих чудесах, в том числе — о Рыбинском и Угличском гидроузлах, о Рыбинском море“. Но теперь, мол, эти гидроузлы дают ток, по Рыбинскому морю ходят караваны, начало волжской сказки уже стало былью. И, верьте мне, „мы еще поплаваем с вами по трассе Москва — Волга — Дон“!

## Волга, начинающаяся в Москве



*Второй исток. — Каналы живут долго. — Атомград у Змеиного острова. — Угличская драма и криминалисты. — В журавлином краю. — Виновато ли Рыбинское море? — Мариинка и Волго-Балт.*

Вряд ли какой другой город может оспорить у Горького честь именоваться волжской столицей: тут и география — "за", и история — "за".

Так-то оно так, но сегодня из всех волжских линий наиболее популярны Москва — Астрахань, Москва — Ростов, Москва — Ленинград. Три сквозных транзитных маршрута, практически невозможные в недавние годы. Три маршрута, отражающие новую историю и новую географию волжских транспортных связей. Москва, которую еще в начале века называли "городом, сухопутным до чертиков", вышла на Волгу, или, вернее,

притянула Волгу к себе. Нет сегодня Волги без Москвы, Москвы без Волги.

А ведь первый сквозной рейс от столицы до Каспия — это весна 1942 года: хотя канал Москва — Волга был построен ранее, но верхневолжские моря не сразу накопили воду.

Первые рейсы между Волгой и Доном — лето 1952 года.

Сквозное движение по Волго-Балту — навигация 1964 года.

Новое всегда притягательно. Думаю, что если бы на линию Москва — Ленинград переключили вдруг половину волжского пассажирского флота, то и в этом случае туристские путевки все равно раскупались бы уже зимой: Петрозаводск, Ладога, Онежское озеро, дивный остров Валаам, всемирно известные Кижы... Маршрут, о котором мечтают отпускники. А десяток лет назад его просто не существовало, и в одной из книг можно было прочесть, как в городке возле старой водной дороги на Ленинград каждого приезжего человека непременно спрашивают: "А вы откуда же будете?" Я, прочитав это, решил, что автор просто не очень умело пытался показать отдаленность, оторванность городка. Попав же в этот древний городок некоторое время спустя, услышал в столовой от официантки: "Здравствуй, мил человек! Видать, приезжий? И откуда же в наши края? Издалека? По делу или как?"

Благодарю судьбу за то, что, путешествуя теперь на скоростном теплоходе по новому Волго-Балтийскому пути, могу сравнивать его со старой Мариинской водной системой, которую он заменил и от которой теперь почти не осталось следов.

Случилось так, что, уже много лет странствуя по Волге и по другим нашим и не нашим рекам, я долго

откладывал поездку на старую Мариинку. Это, мол, под боком, никуда не денется, не исчезнет, всегда успею.

И вдруг оказалось: именно исчезнет, притом очень скоро, и уже даже начинает исчезать! Движение между Волгой и Балтикой не могло прерываться ни на один год, и когда начали строить гидроузлы нового водного пути, то, постепенно вводя их в строй, тотчас должны были отключать старые шлюзы Мариинки. К открытию Волго-Балта Мариинка, как говаривали прежде, прикажет долго жить. Значит, если хочешь застать все таким, как было долгие десятилетия, то, не мешкая, отправляйся в путь.

А путь таков. От Москвы до Рыбинского моря на любом судне скорой волжской линии. Там пересадка на местное судно до Череповца. От Череповца через водораздел — на чем придется, сквозного пассажирского движения по Мариинке нет, но пробраться все же можно. А дальше до Ленинграда — опять скорая линия со всеми удобствами.

В один из солнечных дней жаркого лета 1959 года я оказался на Северном речном вокзале, там, где столица распахнула ворота на канал, на Волгу, к водным дорогам пяти морей. И оттуда же отправился в новый рейс на Ленинград десять лет спустя, когда от старой Мариинки остались воспоминания, несколькоobelisks и старый шлюз, сохраняемый как музейный экспонат в натуральную величину.

Северный речной вокзал уже одним своим видом — в нем есть все же некоторое, хотя и отдаленное, контурное сходство с кораблем — подготавливает к близкой встрече с Волгой. Его поднятый в небесную синь тонкий шпиль поблескивает холодной ребристой сталью, чайки вьются вокруг — и вам уже чудится плеск волн. А вокзальные фонтаны — не подстрекают ли и они к бродяжничеству? В струях одного резвятся черноморские дельфины. Другой, с изваяниями белых

медведей и готовых к отлету гусей, как это совершенно очевидно, должен укреплять в мысли, что путешествие на север тоже не лишено приятности.

— Граждане пассажиры! До отхода судна осталось пять минут!

Потянулись грузовые причалы: краны, склады, товары с доброй половины России. Здесь ярославские автомобильные покрышки встречаются с астраханской свежемороженой рыбой и поволжская пшеница — с северной сосной. Сюда, в Москву, в ее порты, переместился теперь транспортный исток Волги. Отсюда и сюда направляются потоки пассажиров и грузов, во много раз превосходящие те, что рождают географические верховья Волги от истока на Валдае до выхода канала имени Москвы в волжское русло. В грузообороте великой реки канал стал не боковым приложением, а частью главного магистрального пути.

Светлая лента канала проложена к Волге в зеленых ступенчатых откосах. Вот они круто поднялись, закрыв горизонт: трасса прорезала гору. Кончилась выемка — и открылась ширь водохранилища, маня тишиной лесов и блеском воды, укромными бухтами и прогретыми желтыми пляжами.

Канал гармонически "вписался" в ласково-прекрасный пейзаж Подмосковья. Большой и тонкий значок родных просторов Сергей Тимофеевич Аксаков говаривал: "Все хорошо в природе, но вода — красота всей природы. Вода жива; она бежит или волнуется ветром; она движется и дает жизнь и движение всему ее окружающему". Отраженные волной солнечные блики играют в белоствольной березовой роще. Воды канала дорисовали недостающие черты окрестным холмам, по которым колосятся нивы. У глади водохранилища еще стройнее кажется сосновый бор. И природа не в долгу: разве без зеленого фона рисовались бы так четко башни над шлюзами?

Каналы живут долго. Их строят на века. Но и они стареют. Проект водной дороги к столице составлялся с дальним прицелом. Однако к началу семидесятых годов пришлось кое-что перестраивать. Столица разрасталась — и тесным стал тоннель, ныряющий под канал, пришлось строить второй. Узким стал мост, по которому бегут над каналом машины на Ленинград, — перекинули над трассой новый.

Когда каналу исполнилось тридцать, подсчитали его заслуги: дает Москве-реке больше воды, чем природные источники, питает московский водопровод, перевез свыше двухсот миллионов пассажиров, пропустил к столице и из столицы более двух миллионов судов и плотов. Но как учесть наслаждение, которое канал дает человеку, так сказать, в дополнение к основным своим обязанностям?

Он красив. Нет, кажется, ни одной пары башен у шлюзов, которые повторили бы другую. Одни узкие, удлиненные, другие полукруглые, у третьих пошли на отделку грубо отесанные глыбы камня, над четвертыми круто выгнули медные паруса модели каравелл Колумба. Но духу времени наиболее отвечает то, что находится внутри, за стенами башен. Там — царство обновляемой и совершенствуемой автоматики.

Мне не раз приходилось по крутой лестнице подниматься туда, где перед вахтенным начальником светятся на пульте управления цветные глазки электросигналов. Ему не надо перегибаться через перила балкона, чтобы узнать, что делается в камере шлюза: "следающее устройство" в любую минуту "расскажет", в каком положении ворота, каков уровень воды. Дежурный не мечется от рычага к рычагу, чтобы закрыть тяжелые ворота, поднять затвор в верхней части шлюза, открыть воде доступ в камеру, зажечь сигнальные огни. Вся сложная операция шлюзования, в которой участвует много механизмов и специальных

устройств, требует от вахтенного начальника лишь легкого движения пальцев для поворота рукоятки ключа автоматического управления. На это нужно меньше физических усилий, чем для того, чтобы прихлопнуть комара, залетевшего в окно башни. И уже не первый год закрыты на замок насосные станции, откуда говорящие автоматы докладывают диспетчеру центрального пункта о рабочих нагрузках и рапортуют об исполнении его команд.

Над Подмосковьем — сумерки. Канал зажигает огни. Их красный пунктир слева и зеленый — справа прорисовывает очертания берегов, начинающие теряться на плавных поворотах. Там, где трасса прямая, горят оранжевые огни. На темную полировку водохранилища бросают отсвет неоновые красные линии створных знаков. Среди этих неподвижных огней ночного проспекта скользят неяркие сигнальные огни и темные силуэты встречных караванов. Светящийся белыми палубами, сверкающий зеркальными стеклами салонов, спешит на утреннюю встречу со столицей волжский гость.

А у нас утром — встреча с Волгой. Там, где впервые была остановлена величайшая река Европы, дремлет спокойное Московское море. Очень маленькое море, недавно казавшееся большим. И возле него — Дубна, Атомград.

Поставили Дубну в осушенных болотах, в местах, где вблизи деревни Ивановково было урочище Змеиный остров.

Выбрали для Атомграда глухой угол, потому что никто не мог сказать тогда с полной уверенностью, как поведут себя потоки радиоактивных частиц, создаваемые атомными машинами. Вдруг произойдет загрязнение воздуха?

Опасения оказались напрасными. Но Дубна только выиграла от странного для непосвященных выбора:



город строили в сосновом бору, и улицы, названные в честь величайших физиков планеты, с первых дней хранили запахи листвы и хвои. Выиграла и Волга, прибавив к ожерелью своих приречных городов самый необычный, который, как здесь шутят, философ назвал бы городом единства противоположностей: его гигантские машины и приборы созданы для исследования бесконечно малых частиц, составляющих весь материальный мир земли и космоса. Одна "деталь" синхрофазотрона Дубны весит тридцать шесть тысяч тонн; эта атомная машина разгоняет почти до скорости света частицы, миллиард миллиардов которых уместился бы в булавочной головке. Ученые социалистических стран ведут в Дубне разведку неведомого. Здесь ко многому можно отнести слова "впервые в мире", именно на волжских берегах удалось синтезировать новые искусственные химические элементы — и разве все это не дает права говорить о создании на великой нашей реке одной из столиц царства современной физики?

А зрительно для волжского пассажира Дубна — невысокая зеленая набережная со спускающимися к воде лестницами, с белой ротондой и зданиями, наводящими на мысль об удачно расположенном приречном санатории...

У Дубны, у Московского моря — первый перекресток, развилка дорог.

Главный волжский путь оставляет в стороне, за Московским морем, Волгу, которую можно перешагнуть, Волгу, почти теряющуюся среди валунов, озер и лугов, Волгу, шумящую в порогах — юную, неокрепшую Волгу. Родники ключевой воды выбиваются там, шевеля песчинки, под полом теремка, поставленного возле села Волгино Верховье, влажная ложбина поросла осокой и белокопытником, ветер шумит в ельниках... Не нарядна колыбель главной нашей реки, но однажды побывав там,

долго хранишь ощущение, что дано было тебе увидеть нечто сокровенное, какую-то очень важную частичку необъятно емкого образа Родины.

Там, в верховьях, остается Калинин, древняя Тверь, откуда ушел за три моря Афанасий Никитин, вступивший на землю Индии раньше Васко да Гамы. Там скромные незаметные города и поселки, о которых надолго забывали летописцы. Где-то там была фабрика Кузнецова, выпускавшая сервизы, восхищавшие Париж. Ее поселок переименован в честь Порфирия Конакова, который вместе с другими расписывал тарелки, а потом ушел в революцию и был расстрелян за бунт на царском флоте.

Конаково, Конаково... Сервизы? Да, по-прежнему сервизы, по-прежнему спрос в Париже и Лондоне. Но Конаково это также и теплоэлектростанция, одна из крупнейших в Европе, дающая в год больше энергии, чем любая из волжских гидроэлектростанций, и лишь немногим уступающая в этом Братской ГЭС.

А главный водный путь, столбовая дорога к пяти морям, уходит от канала, от Московского моря, на северо-восток. Сначала не замечаешь, что уровень реки и здесь основательно поднят человеком: кто же вспомнит, каким был прежде берег возле Кимр, города, прославленного мастерами сапожного дела? И разве только старый речник скажет вам, что река Медведица, на которой родился Михаил Иванович Калинин, раньше впадала в другом месте и в устье вовсе не была похожа на залив.

Но чем дальше, тем следы наступления воды все явственнее даже для новичка: подмытые яры, полузатопленные опоры старых мостов. Наконец, колокольня. Ее белая игла поднята прямо из воды, солнечные зайчики бегут по камню стен.

Стояла колокольня в полузатопленном ныне городе Калязине, приречная часть которого переехала повыше,

на пригорок.

Поверните-ка мысленно время назад. Отхлынет от колокольни вода, появится рядом собор, неподалеку на площади среди возов с сеном, с деревенской снедью, среди лавчонок, зашагает городской, пройдут с кружками нищие слепцы, у кабацкого крыльца вспыхнет драка, на побоище покосится с дрожек сонный помещик. Под колокольный звон потянется в прохладу церкви монастырская раскормленная братия в черных пропотевших рясах.

Отодвинем стрелку еще дальше — и заскрипят гусиные перья, запишут о зачислении на должность подканцеляриста в Калязинский суд мальчика Крылова Ивана, Андреева сына.

А Салтыков-Щедрин? Он ведь родом из здешних мест, из Калязинского уезда...

Волны плещутся у старой колокольни, оставшейся маяком на волжском море...

Можно спорить, всюду ли разлив водохранилищ на пользу пейзажу. Пожалуй, речному морю недостает красок. Не создавая ощущения бескрайности, беспредельности, оно все же слишком далеко отодвигает берега, в непрерывной смене и разнообразии которых для многих главная прелесть речной поездки. За окном вагона все проносится в торопливом мелькании телеграфных столбов; из окна самолета земля кажется далекой, уплощенно-непривычной; с палубы же судна вдосталь, неторопливо, со вкусом любуешься родными просторами.

Угличское водохранилище споров не вызывает: высокие берега не дали воде разлиться вширь. Бетонная плотина, поднявшая здесь Волгу, соседствует с древним кремлем Углича, стальные мачты электропередачи смотрят сверху на церковные купола. Мне неизменно представляется, что под открытым небом поставили

пьесу о гидростроителях, но в спешке забыли убрать часть декораций шедшего накануне "Бориса Годунова".

Пушкинского Пимена в Угличе бог привел "видеть злое дело, кровавый грех". Он был свидетелем, как на утро, в час обедни, "ударили в набат..." И понятно, с каким чувством смотришь в бывшем дворце царевича Димитрия на "тот самый" колокол — вот он, можно даже потрогать, слегка ударить ладошкой, чтобы услышать гудение — на колокол, который по приказу Годунова сбросили с колокольни, выпороли плетью, потом вырвали ему "язык", отрубили "ухо" и сослали в Сибирь.

Поэты и художники и по сей день не сомневаются в виновности царя: совсем недавно Илья Глазунов изобразил как "царевич убиенный" лежит с перерезанным горлом и широко раскрытыми огромными глазами. Но историки и криминалисты, люди менее эмоциональные, провели настоящее следствие по делу о причастности царя к гибели царевича. Графологической экспертизе подверглись некоторые вызывающие сомнение листы свидетельских показаний. Нет, подписи под ними не были поддельными, как утверждали сторонники версии убийства. Но и версия, что царевич закололся сам в припадке эпилепсии, не нашла новых убедительных доказательств. Напротив, выявлены факты, как будто говорящие о том, что Годунов влиял на ход расследования угличской драмы и подозрительно щедро награждал тех, кто доказывал, что виной всему — болезнь и неосторожность.

В общем, загадка так до конца и не разгадана. Может, прав историк Кобрин, примиряющий обе версии как с учетом психологии Годунова, расправлявшегося со своими врагами осторожно, без шума, так и с учетом клинической картины состояния царевича: "Если такому мальчику-эпилептику позволить взять в руки нож, да еще в период учащения припадков, то ждать конца

недолго". А от "позволить взять" до "подсунуть в руки" дистанция и вовсе мала...

Колокол висит в музее, тысячи людей, которых каждый летний день приводит сюда Волга, ощущают прикосновение к тайне. И сколько же на волжских берегах подобных "колоколов", сохраненных памятников, напоминающих то скорбные, то величественные, то возвышающие, то звучащие предостережением события отечественной истории! Тут картуз Петра Первого и знамя пугачевцев, клинки чапаевцев и фрески сподвижников Рублева, письменный стол Горького и надгробье Минина, чертежи Кулибина и рукописи Джалиля, реликвии Сталинградской битвы и обелиск в степи, где приземлился Гагарин... Волга — как волнующая книга, глубокая и мудрая, поэтическая и познавательная, к страницам которой возвращаешься вновь и вновь.

Угличское водохранилище только что осталось за плотиной, за синими с золотом куполами церкви Димитрия "на крови", а уже заявляет о себе Рыбинское море. Прямоствольные корабельные сосны вышли к обрыву взглянуть на него, тут же и молодняк со светло-зелеными свечками свежих побегов. Старики шумят кронами, будто переговариваясь с набегающей волной, ворчат, что подтачивает она берег: всплеснула, рухнув, красноватая глинистая глыба, живые, еще влажные корни повисли в воздухе.

И вот уже вовсе замедлилось течение, раздвинулись берега, открывая залив Рыбинского моря. Это море без кавычек, море северное, штормовое, не чета Угличскому, почти в полтора десятка раз больше Московского. Серьезное море: в осенние злые ветры гуляют по нему трехметровые волны, и бывали случаи, когда судовые радисты слали в эфир сигналы бедствия.

Прекрасно Рыбинское море в июльские дремотные ночи. Ночь... Но разве это ночь? Лишь часовая стрелка

напоминает о ней.

Низко над морем залегли на севере темно-синие тучи, такие плотные, будто их вырезали из бумаги, в которую упаковывают рафинад. В той стороне мигают плавучие маячки. Огни белые, яркие, точно на мгновение вспыхивающие маленькие шаровые молнии. Другие огни — на буйках — красные, тревожные. Но море ласково-спокойно, ночь тепла и бела. Она не хочет приходить всерьез, она короче воробьиного носа, она в этих широтах — гостья, заглянувшая на минутку. Полнеба сияет желтовато-золотистым светом. В голубой вышине чуть теплятся звезды. Никто не спит. Люди молча ходят по палубе.

За кормой — светящийся след, прямая дорожка к негаснущей заре. Полночь. Где-то внизу, может в красном уголке или салоне, включено радио. Так тихо, что перед боем курантов как будто различаешь шорох и неясный говор на Красной площади.

Море разлилось над бывшей чашей Молого-Шекснинской впадины, над болотным журавлиным краем. О том, как его создавали, я слышал от трех наших крупных гидротехников еще в первые послевоенные годы.

Сначала была битва "рыбинцев" с "ярославцами". Первые утверждали, что плотину самой крупной из верхневолжских гидростанций нужно возводить подле Рыбинска, вторые, среди которых были крупные специалисты, считали более подходящим для этого село Норское под Ярославлем. Битва продолжалась довольно долго, "ярославцы" как будто стали одерживать верх. Для окончательного решения на Волгу выехала правительственная комиссия во главе с Сергеем Яковлевичем Жуком, слово которого в гидротехнике было столь же весомо, как мнение Андрея Николаевича Туполева — в авиации.

Побывав под Ярославлем, комиссия двинулась к Рыбинску. Катера остановились у крохотной деревушки Переборы. Уже не первый день лили дожди. Председатель комиссии заставлял всех карабкаться на скользкие береговые откосы, лазить по болотам, пузырящимся от дождя. В засученных грязных брюках, вымокшие до нитки, члены комиссии ходили от одной буровой вышки к другой. Да, "рыбинцы" были правы, лучшее место для постройки гидростанции едва ли найдешь.

Осенью 1935 года правительство постановило строить сразу два гидроузла Большой Волги — Угличский и Рыбинский.

Первые строители, приехавшие с Днепра и со Свири, разместились в кельях заброшенного монастыря. На берег к деревушке Переборы приезжали экскурсии из Рыбинска. Горожане разглядывали треноги буровых вышек, трогали руками металлические части незнакомых диковинных машин. Это были первые экскаваторы. Кроме них, на строительную площадку пригнали шесть с половиной тысяч лошадей.

Летом 1940 года основные сооружения Рыбинского гидроузла были готовы. Ненастным днем по старому руслу прошел последний караван судов. Осенью началось перекрытие. Линии транспортеров были протянуты к реке от дальних каменных карьеров. Камень сыпался непрерывно.

День, когда началась последняя схватка с рекой, был холодным. К полуночи над черной водой клубился пар. Тянуло дымом: десятки костров мерцали на берегах и было непонятно, кто жег их. В семь утра каменная гряда высунулась из воды. Когда рассвело, стало видно, что на берегах собралось за ночь много людей. Они пешком пришли из города, из окрестных сел. Люди молча смотрели на реку, на то, как над грядой, перегородившей русло, насыпают земляную плотину.

Весной следующего, 1941 года плотина перехватила часть полых вод Волги и Шексны для наполнения Рыбинского моря. Вода стала заливать Молого-Шекснинскую впадину, откуда заранее переселили жителей города Мологи и многих болотных деревень.

Вода поднималась все выше. Лоси плыли к плотам, заранее изготовленным строителями. Зверье помельче спасалось на плавучих островках, которые поднимались со дна вместе с заиленным кустарником: это всплывал торф.

Когда два месяца спустя началась война, по морю пошли первые суда, но сами гидростанции Верхней Волги были готовы только вчерне.

Осенью бои шли недалеко от столицы. Под Рыбинском погасли огни прожекторов, к которым привыкли волгари. Работы замерли. Деревянные леса, потемневшие от дождей, оплетали недостроенное здание Рыбинской гидростанции. Вместо крыши его прикрывал серый брезент.

В ноябре 1941 года гитлеровцы начали второе генеральное наступление на Москву. Фашистским генералам казалось, что они различают в бинокль башни Кремля. Танкисты развлекались стрельбой по скульптурам у канала Москва-Волга. Однако гитлеровцы не тронули мачты высоковольтной передачи: ведь линия шла к Москве от недостроенной Рыбинской гидростанции.

А она работала!

Ее сумели ввести в строй, обманув врага. На карте, найденной у фашистского летчика, сбитого в начале 1944 года, гидростанция все еще значилась бездействующей, объектом, на который не следует тратить бомбы.

С весны 1942 года в Москву пошли через новые шлюзы и водохранилища большие суда. Они шли с полными трюмами от самой Астрахани, и впервые за всю



историю волжского судоходства в верховьях реки им не грозили четыре десятка мелей и перекатов, где в засушливые годы прежде едва не переходили реку вброд.

Над заполнением Рыбинского моря Волга, Шексна, Молога и речушки журавлиного края трудились всю войну. Наступила весна 1945 года. Наблюдатель водомерного поста Рыбинского гидроузла уставал отвечать на телефонные звонки: вода поднялась уже близко к заветной красной черте.

В День Победы на пост заглядывали празднично одетые люди. Как хотелось всем поторопить воду, чтобы отпраздновать в этот радостный день и совершеннолетие молодого моря!

Настал час, когда красная черта расплылась, переломилась в тонком слое доставшей до нее воды. Создание моря закончилось. Оно легло в границы, обведенные проектировщиками на карте. Но окончательно, устойчиво море закрепилось в них лишь к 1947 году.

У Леонида Мартынова есть стихи о Рыбинском море. Засверкало оно подобно сбывшейся надежде, и человеку стало легче дышать на его ветреном просторе. Но однажды разразилась буря: "Отчего такая непогода? Видно, из-за Рыбинского моря!" А потом на море стали сваливать уже все на свете: "Плохо тлеют в печке головешки — это из-за Рыбинского моря. У избышек сгнили курьи ножки — это из-за Рыбинского моря".

Москвичи винили море в том, что в столице выдалось холодное, дождливое лето или бесхарактерная, слякотная зима. А море-то в этом ничуть не виновато!

Да, Рыбинское море — один из самых больших в мире искусственных водоемов, верно. Но оно почти на триста километров севернее Москвы, в краях, где небо часто хмурится тучами. Выглянет солнце — и снова скроется, не успев как следует нагреть даже верхний слой воды.

Сырые луга или заросшие мхами болота испаряют в этих местах больше влаги, чем открытая водная поверхность. Так что в дождливом московском лете Рыбинское море повинно ничуть не больше, чем прежде был повинен край, над которым оно разлилось.

Наблюдениями проверено: даже вблизи моря средняя годовая температура почти не изменилась, лишь несколько увеличились скорости ветров. К удовольствию садоводов, почти прекратились ранние осенние заморозки, и в большом Дарвиновском заповеднике возле моря сумели вырастить абрикосы.

В непогоду рваные тучи мчатся над морем, волны остервенело набрасываются на корабли. В такие штормы со дна до сих пор всплывают торфяные острова с голыми, облепленными тиной деревьями и носятся по взбаламученному простору, пугая капитанов. Бывало, что шторм разметывал плоты, рвал буксирные канаты и уносил баржи на мелководье.

Мне Рыбинское море дороже новых волжских морей. Должно быть, потому, что оно более устоявшееся, привычное, знакомое. А может, потому, что оно самое северное, природа здесь сурова, напоминает немного милую моему сердцу сибирскую.

В море — скрещение и разветвление многих путей. Прямо пойдешь — к Балтике придешь, к Беломорью. Направо — к Каспию, к Азовскому и Черному морям.

Развилка дорог — возле большой пристани Переборы, где на розовато-палевой башне шлюза изваян барельеф струга Степана Разина. А неподалеку, на каменной дамбе, символ Волги наших дней — женщина с вдохновенным лицом, со свитком чертежей. Гордый буревестник в свободном полете сопутствует этой Волге-созидательнице.

Из Рыбинского моря река переливает воды в прежнее свое русло, шлет их промышленному Рыбинску, бывшей "бурлацкой столице", где бурлаки подряжались

тянуть барки по Мариинской системе. За Рыбинским шлюзом ласково-спокойные берега Ярославщины, Кострома, Горький...

Но на этот раз не в ту сторону наш путь. Нам — прямо, нам — через море на Волго-Балт.

Отсюда же, от перекрестка, с рейда пристани Переборы, в 1959 году на озерном теплоходе "Кузьма Минин" отправился я через море, чтобы увидеть последние дни старой Мариинской водной системы и стройку Волго-Балта. У меня сохранились дневники той поездки, Я рассказал о ней в свое время читателям "Огонька". Увлечшись историей создания водных путей к Балтике, провел затем много часов в библиотеках и архивах, выясняя некоторые обстоятельства, показавшиеся мне любопытными.

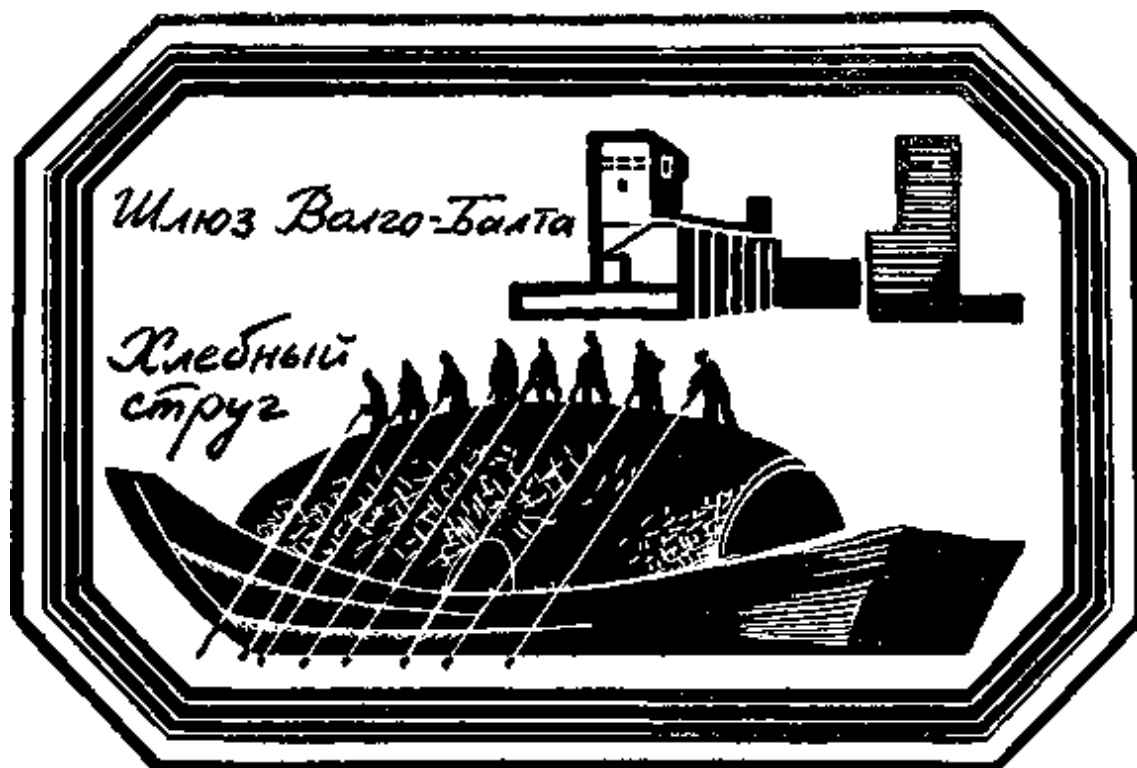
Я не думал сначала возвращаться к впечатлениям первой поездки по Мариинке. Но увидев Волго-Балт десять лет спустя, понял, что нынешние речные путешественники едва ли могут хотя бы приблизительно представить себе, каким был этот край до создания новой водной магистрали. Единственный шлюз Мариинки, оставленный потомкам, способен лишь вызвать недоумение: неужели такой действовал всего несколько лет назад?

Между тем создание Мариинки — одна из ярких страниц отечественной гидротехники. Народный ум проявил себя здесь особенно блистательно. Сама эта водная система, продержавшись до конца пятидесятих годов нашего века, конечно, пережила свое время, но когда-то значительно опережала его.

Если бы не война, Мариинка давно была бы перестроена или заменена. Однако каких героических усилий стоило поддержание ее обветшавших сооружений в военные и послевоенные годы! Ведь она была единственным водным путем с Волги к блокированному врагом Ленинграду.

А проектирование Волго-Балта, трудное начало его стройки? Разве не стоит обо всем этом напомнить сейчас, когда туристские трехпалубные теплоходы без помех скользят по Рыбинскому морю к водохранилищам и шлюзам сверхмагистрального Волго-Балтийского водного пути имени Ленина?

## По старой Мариинке



*Возрожденный, северным металлом. — Белые ночи Череповца. — Про Шексну. — Мариинские "голубчики". — Мышеловка за мышеловкой. — Перекоп, удививший Европу. — Деревянные шлюзы, — железные люди. — Шалаш Петра — легенда? — Задолго до Лессепса. — Волго-Балт, год 1959.— С гордостью, совестью рабочий человек!*

Кончался июнь 1959 года.

Ночью "Кузьма Минин" пересек Рыбинское море, утром мы были уже в Череповецком заливе. Вдали над водами — домны, корпуса агломерационной фабрики, огромные воздухонагреватели, коксовые батареи, трубы.

Пароход ошвартовался у окрашенного в бирюзовый цвет дебаркадера порта Череповец.

Я бывал в этом городе вскоре после войны: тряская булыжная мостовая, кирпичные казарменные здания и купеческие особняки на главной улице, деревянные тротуары и козы в переулках.

Поднявшись от дебаркадера по дорожке меж старых лиственниц, не заметил особых перемен: все тот же собор на горке, тот же унылый казенный кирпич.

Но в центре города появилась солнечная площадь Metallургов. Детвора играла возле памятника череповецкому уроженцу, большому русскому художнику Верещагину, который всю жизнь писал картины о войне, чтобы заставить людей возненавидеть войну.

Череповец возрожден северным металлом. Старым купеческим городом тут уже не пахло, хотя боковые улочки сохранили еще прежний провинциальный облик. И если перейти от фигуральных выражений к прямым, то не пахло и металлургией. Небо над городом не замутнено заводскими дымами. Строители поставили череповецкий металлургический гигант с очень верным учетом "розы ветров", и загрязненный воздух уносится не на город, а туда, где немереные лесные просторы способны очистить, освежить, озонировать, кажется, даже серные дымы преисподней.

Металл оставил первый след в истории города уже в давние времена. Когда указом Екатерины II слободку возле монастыря на берегу Шексны велено было "для пользы водяной коммуникации" именовать городом Череповцом, на его гербе изобразили медведей, стерлядей, руль судна и горку железных криц. Железо плавил из местных болотных руд, отливали пушки, мастерили серпы, косы, гвозди.

Нынешнему металлургическому заводу руду привозят с Кольского полуострова. И уголь не близко, в шахтах Воркуты. Но Череповец — в тылу промышленного Ленинграда, который не может жить без чугуна и стали.

Завод, построенный у Кольских рудников или возле угольной Воркуты, был бы слишком далек от главного потребителя. А здесь — как раз полпути.

В череповецком музее хранят поцарапанный теодолит изыскателей, которые первыми пришли в поле, где должен был подняться завод, и брезентовую, во многих местах прожженную куртку горного Федорова, плавившего первый череповецкий чугун в первой череповецкой домне. Ребята, заглянувшие в музей, тотчас столпились у куртки, но старушка сторожиха повела их в отдел природы.

— Поглядите-ко все подряд. Рыбку-то поглядите сначала. Сом-то, посмотрите, какой, шука-то, посмотрите, какая в Рыбинском море.

Сторожиха певуче "окала" по-вологодски, не понижегородски. Ребята, приехавшие из деревни, тоже окали. Увидели прялку:

— Баба, а это чо?

Баба Дуня, узнав, что меня интересует Мариинская система, посоветовала:

— А ты иди-ко, иди к Николаю Ивановичу. Семенов ему фамилия. Уж кому знать, как не ему?

Семенов жил в доме водников у берега залива. По стенам просторной комнаты, пахнувшей свежeweымытыми полами, висели репродукции: тихие северные озера, скиты над водами. Старинное удобное бюро загромождали бумаги: оставив беспокойный пост главного инженера участка пути и перейдя на пенсию, Николай Иванович увлекся чтением лекций о Большой Волге и Волго-Балте.

На Мариинскую систему он попал в годы первой мировой войны, сразу после окончания Петроградского института путей сообщения.

— Между нами говоря, решил: обегу, при первой же возможности сбегу, — вспоминал Николай Иванович. — Ну, посудите сами: зачем мне, железнодорожнику, на

реку? Сел на парходик "Онега", приезжаю в Вытегру. Денек такой, знаете, тусклый. И городишко не лучше. У пристани стоят какие-то рыдваны, люди ходят в длиннополых сюртуках. После Петрограда мне показалось, что я в прошлый век заехал. Прихожу на другой день в управление Вытегорского округа путей сообщения. Батюшки, час от часу не легче: "Обратитесь к столоничальнику", "Пройдите к экзекутору"... А ведь шел, заметьте, шестнадцатый год, у нас на железных дорогах давно о таких чинах забыли. Нет, надо бежать, скорее бежать!

— Но, знаете, не сбежал — Николай Иванович ходит по комнате. — Говорят мне: "Принимайте отдел искусственных сооружений". Я начал мямлить, что не знаком, мол, со шлюзами. Какое там, — и слушать не хотят. Принял отдел. И увлекся. Да еще как увлекся!

После революции старики с чинами, деньгами и связями забеспокоились и один за другим потянулись прочь из Вытегры. Вскоре в округе осталась одна молодежь. Семенова выбрали "заведующим путями".

— Вы знаете, плотины на некоторых шлюзах так обветшали, что по ним было страшно ходить. Выручила нас махорка. Какими-то судьбами оказалось на складе несколько мешков курева. Привезли мешок прямо к плотине, кликнули клич. Поработал — получай в кисет. И, представьте, починили плотину...

Захваченный воспоминаниями, помолодевший, Николай Иванович все быстрее ходит по комнате мелкими шажками, то и дело обращается к жене, такой же моложавой, подвижной, на высоких каблучках. Поженились они как раз в год революции — Евгения Александровна работала тогда телефонисткой на Вытегорской станций.

— Жеся, — Николай Иванович берет жену за руки. — Ну как была фамилия этого уполномоченного? Помнишь,



все бегал с громаднейшим маузером. Ну как его? Помнишь, после каждого слова у него "даешь, даешь"?

— Ах, боже мой... Ну вот вертится, вертится... Андрей Иванович, Андрей Иванович... Нет, забыла...

— А Коровин-то, Коровин! Усищи разбойничьи, кулачище с чайник! Но какая голова! Одареннейший человек, энергии исключительной! А помнишь, как на одних сушеных ершах сидели? Да, хватили шилом патоки!

Тут Николай Иванович вспомнил о госте, извинился, посерьезнел:

— Как-то отдыхал я в санатории под Ленинградом. Вижу: тяжело больной человек преклонных лет все ко мне присматривается. Наконец, подходит: "Вы не такой-то?" — "Да, — говорю, — совершенно верно. А позвольте узнать..." — "А я был комиссаром флотилии миноносцев, что в восемнадцатом году у вас через Мариинку шла". Ну, жмем друг другу руки, вспоминаем...

У нас знали, конечно, что миноносцы идут на Волгу по распоряжению Ленина. Шли они не на полной осадке, орудия с них сняли, везли сзади на баржах. Четыре корабля: "Прыткий", "Прочный", "Ретивый", "Поражающий". Мы постарались, поставили на воротах шлюзов дополнительные полотна. И все же, сами понимаете, привыкли к баржам, а тут — боевые корабли. Чуть нажмет такая махина — ворота долой! Дело прошлое, народ на кораблях был своенравный, самостийный. Вошел один из миноносцев в шлюз святого Андрея, а выходить не желает. "Нам, — говорят, — нужен кое-какой мелкий ремонт, тут как раз удобно, как в доке". Какой черт удобно, когда ворота дрожат, а начальник шлюза бегает возле белее мела. Вот тогда-то мы с комиссаром и познакомились; пришел, спокойно так все разъяснил экипажу. Сам-то он был машинистом с од-ного из миноносцев. В общем, прошли все корабли без особых происшествий. Потом читаем в газетах: наши

миноносцы штурмуют Казань, увели на Каме у белых "баржу смерти" с приговоренными к расстрелу пленными. Все-таки и наша долька — пусть крохотная — была во всем этом.

С тех далеких лет и живет инженер Семенов в Череповце. Жизнь прошла в труде, нужном и интересном. Были тяжелые военные годы, когда Николай Иванович потерял дочь и сына. Все было, не было только пустоты.

— Да, читаю вот лекции о Волго-Балте, рассказываю, как он всем нужен, но, сознаюсь, привязан и к нашей Мариинской. Сколько трудов в нее вложено! Шутка ли, полтора века служит! Уважения достойно!

Потом Николай Иванович рассказывал о Иване Васильевиче Петрашене, талантливом инженере, строившем в Череповце прочные деревянные суда, а на Шексне — новые шлюзы, самые длинные в Европе. Петрашень знал Мариинскую систему, как никто другой. Он написал о Мариинке большую книгу, где поэт временами берет верх над инженером и исследователем. Я читал ее перед поездкой и теперь рад был узнать кое-что об авторе. У него была большая семья, множество близких и далеких родственников, съехавшихся отовсюду под крышу гостеприимного, хлебосольного дома. Петрашень любил музыку, был великолепным чтецом чеховских рассказов.

Я ушел от Семеновых за полночь. Под горой пробасил буксир, где-то далеко в море ему откликнулся другой. Город лежал в волшебном полусвете белой ночи.

Под впечатлением рассказа Николая Ивановича отправился искать дом, где жил Петрашень. Вот он, одноэтажный, с большими окнами, выкрашен в скучный грязно-желтый цвет. В палисаднике кустилась сирень. Неистово и тревожно галдели воробьи: по карнизу, как бы не обращая на них внимания, мягко крался раскормленный кот.

Меня поразила тополь на углу. Ствол, наверное, обхвата в три. Не тополь — мамонтово дерево! И листва густоты необыкновенной. Могучи соки здешней северной земли!

На бульварах шелестели в вышине серебряные листья ив, тоже очень рослых и гордых, а вовсе не плакучих. Белыми ночами людям не спится. Двое подростков возились возле велосипеда. В глубине заросшего зеленого двора, где за раскрытым окном тускло светился оранжевый абажур, кто-то тихо перебирал клавиши рояля.

С горки возле старого собора сквозь тонкое кружево лиственниц просвечивал залив. Грузовой теплоход неслышно скользил со стороны моря. На рейде чуть теплились красные и зеленые бортовые огни. Буксир уводил две баржи в сторону шекснинских плесов. Откуда-то слышалось насвистывание пара: "Не сплю, не сплю, не сплю..."

У Николая Ивановича Семенова я видел карту, которую он показывает на лекциях.

В низовьях Шексны Рыбинское море далеко зашло по речной долине. На карте было видно, что за Череповцом голубые разливы тянутся еще на много километров. Там, где подпор кончался и Шексна становилась, наконец, сама собой, то есть узенькой синей змейкой, тогда, в 1959 году, строился Череповецкий гидроузел. Он должен был принять эстафету глубоководья от Рыбинского моря, создав водохранилище на самой Шексне.

Легкая голубая краска этого будущего моря заливала на карте всю долину Шексны, питающее ее Белое озеро и даже часть долины реки Ковжи, текущей к этому озеру с другой стороны, с водораздела.

Карта говорила о том, что под голубую краску нового водохранилища никакие особенные сокровища не уйдут.

"Болота Похта (труднопроходимые)" было написано с одной стороны трассы, "Болота Похта (непроходимые)" — с другой. И дальше были все те же болота и топи.

Сам гидроузел, который должен был довершить то, что начало Рыбинское море, то есть в сущности покончить с Шексной как со свободно текущей рекой, поднимал над огромным котлованом серые стены железобетона. Они уже достигали немалой высоты и тянулись в длину на добрый квартал. День был ветреным. В ущелье будущего шлюза дуло, словно в аэродинамической трубе, и ветер бил песком, как из пескоструйки.

Мне предстояло увидеть прежнюю Шексну, уходящую в небытие, последние дни реки вертлявой, быстрой, где по берегам сохранились еще следы бурлацкого бечевника.

Пароход "Некрасов", старый, тихоходный, о каких на Волге давно забыли, покинул Череповец поздно вечером. Пассажиры на Мариинке — люди деловые: туристы и отпускники ждут Волго-Балта. Ехал народ степенный, положительный, с командировочными чемоданчиками. Железной дороги на водоразделе нет, а к здешним автобусам никак не приклеивается привычное прилагательное "комфортабельные". Да и автодороги озерного края не так хороши, как хотелось бы: всяческой техники по ним движется множество — и трактора, и тяжелые грузовики, — а покрытие осталось таким, каким было в те годы, когда мчались по ним почтовые тройки с лихими ямщиками на облучке.

Дождливая ночь, не белая, как полагается в эту пору, а мутно-бесцветная, незаметно перешла в утро. Серая ворона слетела с мокрой березы к нашему "Некрасову". У нее были какие-то дела на палубе, она несколько раз улетала на берег и возвращалась снова. Мне не спалось, я вышел из каюты. Был четвертый час. В

рубке заканчивал ночную вахту капитан Василий Иванович Шаньгин.

— А, "Рваный хвост", — засмеялся он, когда я спросил о вороне. — Да, знаете, прикормили ее матросы. Как выходишь из-за поворота — здравствуйте, это я! Каждый рейс встречает.

Мне подумалось: до чего же "домашняя" река, тихий водный проселок. С вечера нам попадались навстречу суда-площадки — речники прозвали их "лаптями", — на которых из карьеров возят в Череповец песок. Теперь ползли за буксировщиками узкие плоты — гонки — с желтыми дощатыми шалашами, возле которых кое-где тлели нежаркие костры плотогонов.

Долго воевал русский человек с шекснинскими порогами и мелями. На старой лоции голубая полоса реки покрыта их черной сыпью. Я выписал названия, придуманные бурлаками: Филин, Сыч, Ошкуриха, Свинья, Коленец, Кривец, Бесповоротный, Звездец, Болтун, Змеиный... По несколько бурлацких ватаг впрягалось в барку, чтобы протащить ее через иную шекснинскую стремнину. Потом по дну реки проложили цепь. Особые суда — туеры, с грохотом и скрежетом наматывая цепь на барабан и снова опуская ее за кормой в воду, подтягивались по ней. Они тащили за собой баржи, отнимая хлеб у бурлаков и коногонов. Затем построили на Шексне плотины и шлюзы, подняли воду, утихомирили пороги. Наконец, в низовья реки пришло Рыбинское море.

Скоро последние старые шлюзы заменит один, новый — и в очертаниях берегов Череповецкого водохранилища не отыщем мы нынешних замысловатых извивов реки, заставляющих рулевых "Некрасова" то и дело отирать пот со лба.

Протяжный свисток: просим разрешения на вход в шлюз. Он вовсе не жалок, этот первый на нашем пути шлюз Мариинки. Стенки его невысоки, но сложены из

розоватого камня. Каменные глыбы скреплены поверху металлическими "ершами" — похоже, что клали их люди, которым иметь дело с деревом было сподручнее.

— Это Иван Васильевич Петрашень строил, — с уважением произносит капитан. — Пожалуй, если отбросить волжские, то и теперь в Европе с ними по длине тягаться некому, Но, конечно, во всем остальном, кроме длины...

Да, камни местами обрушились, а в смысле техники совсем бедно: ни башен с пультами, ни автоматики.

Заспанные, позевывающие пассажиры собрались меж тем на палубе, чтобы посмотреть, как вода поднимет "Некрасова". Но водяная ступенька оказалась пустяковой. Не сравнишь с Волгой, где суда считанные минуты поднимаются и опускаются на высоту нескольких этажей!

Кто заварил чайку, а кто побаловался пивком — и пошли дорожные разговоры. Портовик из Череповца рассказывал о своем двоюродном брате из колхоза "Коммунист". Брат у него охотник. Прошлой зимой шел на белку, а поднял медведицу. Выстрелил из обеих стволов, успел перезарядить, еще раз выстрелил, но тут-то она и насела...

— У зверя ведь повадка какая? Перво-наперво ослепить. Содрала у брата шапку вместе с кожей, у того глаза кровью залило. Вцепился он медведице в горло, давай душить. Чувствует, та с дыбков опускается на все лапы: слабеть стала, ведь три заряда в ней. Потянула в лес, а братан в нее вцепился: не упустить бы, думает, похоже, что падет зверь где поблизости. Но тут ветки его хлестать стали по содранному месту. Оставил зверя, пошел к ручью, да и упал: крови много потерял. До деревни все же дополз, там его фельдшерница зашила.

— Где же это все приключилось?

— Да недалече. Тут ведь самые медвежьи места...

"Некрасов" высадил нас на пристани Топорня, откуда пассажиры добираются в город Кириллов, и пошел обратно в Череповец. Я остался поджидать попутного шекснинского "голубчика" — так здесь называют старенькие пароходы.

Был субботний вечер. Река без морщинки, только рыбины всплескивают. Пройдет буксирный парходик, протащит по зеркалу вод ненарядное свое отражение — и снова тишина.

Я устроился на дебаркадере и проспал до пяти. Чуть дымился туман, на лугах дергал коростель. Сытые кони грызли выступ пристанского амбара.

— Догрызают, проклятые, — равнодушно сказала тетка, подметавшая дебаркадер. — Из лесу-то их комар выгнал.

Однопалубная старенькая "Печора" изрядно опоздала. Солнце поднялось высоко, когда мы отправились на ней дальше к Белому озеру.

Уж на что извилиста Ока где-нибудь под Рязанью, но Шексна в верховьях превзошла ее. Вон над лугами дымит парход. Встречный или нам предстоит обгон? Ровно ничего не значит, что его нос повернут в ту же сторону, как и у "Печоры": через минуту все может перемениться.

За полуразрушенным бывшим Горицким монастырем — густо селилась по рыбной Шексне монастырская братия! — пошли холмы. Над песчаным обрывом виднелись остатки церквушки древнего погоста.

— Дяденька, глянь-ка, череп белеется! — подтолкнул меня парнишка, вертевшийся на палубе. — Мы сюда на лодке ездили, тут медные штуковины в песке.

В озерном краю уйдут под воду места, где издавна селилась новгородская вольница. Археологи искали здесь следы города Белоозеро. Нашли у истока Шексны. В Белоозере, как и в древнем Новгороде, уже в XI–XII

веках настигались деревянные мостовые — раньше, чем в некоторых европейских столицах.

На мостике зашел разговор о Мариинке.

— Шексна что! Можно сказать, магистраль! — сказал капитан, и я снова услышал похвалу Петрашению за шекснинские шлюзы. — А вот подойдем сейчас к Чайке...

Шлюз с этим поэтическим названием должен выпустить нас из Шексны в канал, сто с лишним лет назад прорытый в обход бурного Белого озера. Ну и сооружение! Деревянный маломерок! Оглобельки, вставленные в отверстия скрипучего ручного ворота, остались, наверное, со времен бурлаков и коногонов.

Белозерский канал, в который мы попадаем из шлюза, тоже узок и тесен. То и дело бурыми полосами ползут нам навстречу гонки. Вон особенно длинная, буксир ее едва тянет.

— Восемь шлюзований в Чайке! — прикидывает матрос.

Да, чтобы пропустить по частям этот плот, восемь раз будут закрывать ворота, наполнять и опоражживать шлюз. А потом снова соединят все вместе и потянут дальше.

Белое озеро сначала скрыто от нас лесами. Но вот справа над поредевшим кустарником в серо-жемчужном небе прочертились знаки азбуки Морзе: точка, четыре тире. Это далекий караван, буксир и баржи, идущий там, где вода озера слилась с небом.

Вскоре от серого озерного простора нас отделяет только дамба. Клубятся пепельно-сизые облака. Ни паруса, ни лодки — лишь морзянка каравана у горизонта. Там озерная трасса, там железные лихтера, мощные пароходы. Там, напрямик, пройдет и столбовая дорога Волго-Балта.

А здесь, в канале, — теснота, "самый малый" при встречах с трущими наши борта гонками, которые тянут "Карпы", "Сомы", "Пеструшки", "Ряпушки" и прочие



представители рыбьего царства, — пришла же кому-то фантазия дать такие названия здешним буксировщикам!

Белозерск, к которому мы приближаемся, упомянут уже в Начальной летописи. Арабские историки в VIII веке отмечали, что их соотечественники торгуют с белозерцами. Правда, древнее Белоозеро было, как я уже говорил, в другом месте, недалеко от истоков Шексны, но нынешний город все же ведет родословную именно от него.

Канал с разведенными мостами — словно водяная улица Белозерска. На пологом склоне, где местами остались огромные валуны, разбросаны церкви — старые, приземистые. Тут же торговые ряды с растрескавшимися стенами, осевшими под собственной тяжестью, — не лабазы, а крепости. Двери железные, засовы — с пробоями для пудовых висячих замков. Подальше — гостиный двор, возле которого собирались белозерские ярмарки, массивный собор, высоченная кремлевская насыпь, густо заросшая травой. Издали кажется, что церковка, купол которой чуть виден над гребнем ее вала, вбита, вдавлена в зеленый холм ударом великана.

Возле канала черным поднятым перстом торчит железная колонна. Позолоченные доски оповещают, что Белозерский канал сооружен повелением государя императора Николая Павловича в 1846 году и что сделано это в управление путями сообщения и публичными зданиями генерал-адъютанта графа Клейнмихеля.

Клейнмихель? Ну, конечно, эпитафия к некрасовской "Железной дороге", наивный Ванюша и его папаша в шинели на красной генеральской подкладке, отвечающий на вопрос сына о том, кто строил дорогу:

— Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!

В Белозерске опять пересадка. "Шексна" тоже из породы "голубчиков", родная сестра "Печоры". По дуге

построенного при неусыпном попечении графа Клейнмихеля канала она обогнет Белое озеро, войдет в реку Ковжу, поднимется против ее течения до водораздела, а оттуда шлюзы реки Вытегры спустят нас к берегам Онежского озера.

Давно скрылся Белозерск, но Белое озеро еще долго отсвечивает жемчугом вечерних пепельных туч, потом заревом немеркнувшей зари. До противоположного его берега более четырех десятков километров, и в шторм на этом просторе должно быть жутковато.

Наконец, озеро осталось в стороне, а шлюз выпустил нас из канала в реку Ковжу — узкую, глубокую, несущую воды меж стен густого леса.

В третьем часу ночи "Шексна" пришла к пристани Конево. Малиновые облака плыли над лесом, было светло. Пароход приткнулся к причалу, настланному на сваях. Свайные настилы тянулись и дальше, по заболоченному берегу Ковжи. В тиши гулко отдавались шаги пассажиров, покинувших пароход. Лодок было столько, что на них, наверное, могли отправиться в плавание все жители Конева.

Утром мы подошли к тем местам, где будущий гидроузел Волго-Балта будет поднимать суда на водораздел. Я посмотрел карту — всюду синие штрихи болот. Местность оправдывала эту штриховку тусклым цветом застойной воды в понижениях луговин, зарослями осоки и камышей. Право, разлив Череповецкого водохранилища — тут оно как раз будет кончаться — не нанесет большого ущерба здешним местам...

За шлюзом, на подходе к пристани Анненский мост, мы с трудом продирались сквозь гущу гонок. Все недовольны, все раздражены. Капитан нервничает, с гонок орут, что пароход наломает им дров, шлюзовики переругиваются с командой: неосторожное движение судна грозит аварией обветшавшим воротам.

— Ну, теперь пойдет мышеловка за мышеловкой, — вздохнул капитан.

У Анненского моста, где реку пересекает старый архангелогородский тракт, пароход почти опустел: остались только старики и те, у кого на руках маленькие дети либо обременительный домашний скарб. Остальные пересели на попутные машины. От Анненского моста до города Вытегры нет и семидесяти километров. Машина привезет туда пассажиров за полтора-два часа. А "голубчик" потащится по густошлюзованной системе семнадцать с половиной часов — это по расписанию, если не произойдет каких-нибудь задержек.

Меньше четырех километров в час? Но ведь с такой же скоростью ползли сто лет назад за конной тягой плоскодонные "трешкоты", на которых богомольные купцы совершали паломничество в Кирилло-Белозерский монастырь!

Если Мариинскую систему и позволительно сравнивать с голубой или иной какой-либо артерией, то артерия эта — с явными признаками склероза. Вдавившиеся кое-где внутрь стенки шлюзов грозят превратить в закупоривающий тромб любое сколько-нибудь крупное судно. Застой флота возле наиболее неудобных гидроузлов, пробки плотов, затрудненное обращение грузов — все это признаки явного и отнюдь не преждевременного, а вполне естественного одряхления транспортного организма системы.

Чем ближе узнаешь Мариинку, тем острее чувствуешь, как нам нужен Волго-Балт!

...Очередной обелиск у входа в водораздельный канал окружен столбами с эмблемой путейцев-строителей: якорь и топор. Канал короткий — восемь километров.

Он проломан в камне. Местами слоистый плитняк нависает над водой острыми выступами.

Благополучно избежав их, наш "голубчик" вышел через шлюз в воды Вытегры. Она круто падает к Онежскому озеру, водоспуски возле шлюзов шумят, словно водопады. Живая игра струй, воздух, напоенный ароматом трав, густые леса, розовые разливы цветущего иван-чая на лугах — хороша Вытегра!

И я уже не досадовал, что наша "Шексна", едва выйдя из мышеловки одного шлюза, тотчас попадала в мышеловку соседнего. Прошое, настоящее и будущее тесно переплелись у неширокой вытегорской долины. В нее властно вошла стройка. Трубы жадно всасывали воду и гнали ее куда-то вверх, к невидимым машинам. Контур непривычно высокого временного моста повис над нашими головами. Самосвалы, сверкая серебряными зубрами на радиаторах, заставляли тяжело оседать плавучие разводные мосты под самым носом нашей "Шексны".

Однако нащупать глазом будущую трассу Волго-Балта было почти невозможно. Мариинская система приучила к карликовым масштабам, и в голове никак не укладывалось, что новый шлюз будет вон там, высоко на склоне горы.

Вдруг открылось ущелье с известняковыми белыми осыпями на кручах и вцепившимися в них корявыми соснами. Туда с шумом врывалась Вытегра. Но часть ее вод люди направили в другое русло, сделанное их руками. Оно напрямик прорезало высокую гору, и шлюзовые ступеньки, поставленные там чуть не впритык, показывали, как крут спуск.

Этот знаменитый Девятинский перекоп в свое время заставил говорить о себе Европу. Русские инженеры построили его быстро и дешево. В скале прорыли своего рода тоннель, из него прошли снизу вверх отвесные шахты. Через эти шахты обрушивали горную породу, она сыпалась прямо в вагонетки узкоколейки, проложенной

по тоннелю. Пока паровоз отводил состав, на смену ему уже втягивали порожний.

Вместе со студентом последнего курса Вологодского пединститута Сашей, который вез к родным в Вытегру молодую жену, мы покинули медленно ползущий из шлюза в шлюз пароход и вскарабкались по крутейшему склону. Над откосом шумели сосны. Душистая земляника алела в траве. Саша поминутно обращался к жене:

— Нет, ты скажи, ведь красиво? А? Правда, прекрасные места?

Он звал меня поехать из Вытегры на Онежское озеро:

— Ничего подобного вы никогда не видели, ведь это же, это...

Прямо под нами в узком искусственном ущелье был виден как бы макет лестницы шлюзов, выполненный рукой искусного мастера. К одному из них ползла модель нашей "Шексны". Можно было заглянуть в ее трубу...

Поздний вечер, последние километры Мариинки. Гора, а на ней в пожаре заката — чудо из чудес, знаменитая семнадцатиглавая деревянная церковь Вытегорского погоста. Полистайте книги, посвященные истории отечественной и мировой архитектуры, там есть ее снимки. А здесь — вот она, рядом, любуйся, удивляйся!

Любуйся гармонией куполов, взбегающих к главному замысловатыми уступами. Удивляйся тому, что этот простоявший с петровских времен храм поставлен без единого гвоздя, срублен и пригнан топорами сельских плотников так точно, что не понадобилось даже конопатить пазы между бревнами.

Вот и окраины Вытегры. Водная дорога проходит сквозь город. Подъемный мост пропускает "Шексну" к последней пристани Мариинки.

Сто пятьдесят лет прослужила Мариинская система России прежде чем сдать вахту идущему ей на смену Волго-Балту. Одним из первых обсохнет бывший шлюз святого Дмитрия в березовой роще под Вытегрой. Его начальник — Николай Антонович Шинкарчук.

На систему он поступил в 1912 году. В те времена начальник шлюза именовался "унтером", носил мундир с зелеными кантами и большую жестяную бляху. Вахтенных называли "часовыми" — им полагалась только бляха. Шинкарчук поступил рабочим-судопропускником.

— Да, значит, катал я ворота на шлюзе святой Елизаветы, а потом забрили меня в солдаты. Служил артиллеристом в Кронштадте. После революции отпустили нас по домам. Но в то времечко на печи долго не засиживались. Взяли меня в части Чека, а вскорости определили в Москву-столицу, в отряд особого назначения, который нёс охрану во время съездов и важных заседаний.

Шинкарчук не раз видел Владимира Ильича, большей частью на трибуне или в президиуме. Был в зале Большого театра, где VIII Всероссийский съезд Советов обсуждал план электрификации России. Запомнил листок серой бумаги — изображено сердце, на нем крупные буквы "Электрификация", от сердца вроде ниточки к пяти квадратикам: жилище, пища, одежда, культура, транспорт...

Из Москвы Шинкарчук вернулся в родную деревню Даниловку, где сидели с лучиной и ткали на самодельных станках холсты для рубах. Теперь этой деревни нет — ее перенесли, там котлован второго шлюза Волго-Балта.

За долгие десятилетия работы на системе Николай Антонович и сам перепробовал много и многих научил. Был вахтенным на шлюзе, кузнецом в ремонтных мастерских, багермейстером. На войну ушел солдатом,

воевал с первого года до победы, в саперном батальоне после боя был принят в партию.

— А вот Таисия Михайловна тут заместо мужиков командовала, — кивает Николай Антонович.

В шлюз только что зашел буксировщик, и Таисия Михайловна Александрова вместе с Марией Ивановной Калиной закрывают ворота. Деревянные створки медленно смыкаются, крутя воронки в темной воде.

Таисия Михайловна, худенькая, застенчивая, говорит тихо. На системе она уже двадцать семь лет. Проводив мужа на фронт, вступила в партию, приняла два шлюза, бегала от одного к другому. Тогда-то, должно быть, и подорвала здоровье, но уходить на пенсию не хочется, сроднилась с работой. А муж не вернулся с войны...

— Таисия Михайловна в войну у нас героиней была, двадцать четыре человека под началом держала, кроме двух шлюзов, ей еще три плотины поручили, — вступает в разговор Мария Ивановна. — Сильно бедовали мы тут. Одни бабы! И плотничали, и камень клали — всему научились. Вот эти парапеты как раз в войну строили.

Мария Ивановна гладит шершавое дерево рукой. Морщинки выступают у глаз на загорелом лице:

— Трудовые книжки у нас не мараны, в войну не сбежали к хозяйству, за деньгой не гнались. С зари, бывало, сидишь не евши, хлеб-то из Вытегры к двум часам привозили. Это я не в бахвальство. Было — и было. Но если писать про Волго-Балт будете, вспомните и нас, мариинских...

\* \* \*

— Вот он!

В березовой листве мелькнул золотой шар. Он горел на замшелом гранитном обелиске, окруженном

покосившимися каменными столбиками. Подле на лужке паслись коровы.

Но где же бронзовые доски с надписями? Только дыры от болтов, которыми они были прикреплены к граниту. Значит, теперь уже не прочтешь странно рубленные фразы, знакомые по книгам:

"Зиждитель пользы и славы народа своего Великий Петр здесь помышлял о судоходстве — Отдыхал на сем месте в 1711 году. Благоговейте, сыны России! — Петрову мысль Мария совершила — В ознаменование ее любви к отечеству канал сей наименован Мариинским".

В то лето, когда Петр бывал здесь, белые облака, наверное, вот так же бежали в синеве; шелестели березы, тонко пели комары. Место, позже отмеченноеobeliskом, опознал стопятнадцатилетний старец Пахом. Чуть не век спустя после петровских изысканий его привезли сюда на телеге из соседней деревни. Цепкая память крестьянина сохранила многое.

Он рассказал, как по приказу царя в здешние леса приехали шотландец Перри и майор Корчмин. Перри был тучен, страдал одышкой. Мужики таскали его по болотам на жердях, переплетенных ветками. Он ставил на распорки "медное блюдо со сквозными рожками". Сердясь на плохо понимавших его мужиков, Перри показывал, где ставить вехи, по которым рубили просеки. Сухощавый, подвижной Корчмин тоже работал с "медным блюдом" — астрольбией, помогая шотландцу.

Они выбирали место для канала между Волгой и Балтикой — канала, о котором мечтал Петр Первый и ради которого царь будто бы сам десять дней ходил здесь по лесам и топям, толкуя с крестьянами о течении рек...

Место историческое, как-никак колыбель Мариинской системы, которая считалась вторым после Волги "двигателем богатств России". А сразу за



березовой негустой рощей — улицы села Старо-Петровского, архангелогородский тракт с пылящими грузовиками, вопли мальчишек: "Валерка, пасуй!"

К обелиску мы приехали из Вытегры с Василием Ивановичем Королевым, старым водником и опытным строителем. Королев бывал тут не раз и не два, обелиск ему примелькался.

— "Петру мысль Мария совершила..." — проворчал он. — Чепуха! Петр действительно не успел заняться каналом, но Мария, жена Павла Первого, только и сделала, что дала на постройку денежки. Заметьте: не свои, из средств воспитательных домов. И вот, пожалуйста, — Мариинская система. Народ совершал "Петрову мысль". Русские мужички-лапотники, которых в эти болота полтора-два года назад согнали. Вот, полюбуйтесь.

Королев пошел к соседней неширокой долинке. Бревна, трухлявые, полусгнившие, торчали там, омываемые мутной водой. Королев отломал щепочку.

— Возьмите на память. Остатки шлюза. Через него в восемьсот десятом году бурлаки протянули с Волги к Санкт-Петербургу первые галиоты со всяким добром.

Где-то за лесом, совсем близко, запел пароходный гудок.

— В шлюз просится, — кивнул Королев. — Действующая Мариинская система рядом, по соседству. А муть в русле — это от наших волго-балтстроевских землесосов.

— Так, значит, все три пути...

— Вот именно! Петр, порасспросив мужиков, которые тут через волок суденышки посуху таскали, наметил, что и как соединять. Сто лет спустя соединили. Сколько потом не обновляли, сколько не перестраивали, в общем, далеко от 'первых наметок не отошли. И новый канал строим теперь тут же, — а ведь перед тем, как копать, снова перетряхнули всю здешнюю топографию и

геологию. Не ошибся народ в выборе. Вот, может, это следовало бы как-то отразить, почаще напоминать.

Мысли Королева казались мне очень точными и правильными. История здешних водных дорог уходит корнями в допетровскую Русь. Прослеживая географию этих давних связей, уже встречаешь в летописях название тех самых рек, которые века спустя были использованы для трех искусственных водных систем — Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской.

Это предыстория. Историю же Мариинки, видимо, надо начинать с той поры, когда в заложенном Петром Санкт-Петербурге шалашей стояло больше, чем домов. Город нуждался в поддержке всей России. Ему нужен был волжский хлеб, уральское железо. Петр велел строить каналы и шлюзы возле города Вышнего Волочка. Но на новой водной системе, названной Вышневолоцкой, суда претерпевали множество бед из-за порогов и мелководья.

Нет, не о таком пути мечтал Петр! Сесть в лодку на Москве-реке и без пересадок доплыть до Адмиралтейства в его любимом Санкт-Петербурге — вот что рисовалось воображению царя. И услышав о том, что на водоразделе между Вытегрой и Ковжей судоходцы, прорубив просеку, возят на лошадях товары посуху от одной реки к другой, затем снова нагружают ими лодки, Петр сам отправился взглянуть на это. Отгоняя комаров дымом любимой голландской трубки, шагал он по болотам, а потом, как писали историки, десять дней жил в шалаше у опушки березового леса — там, где ныне обелиск с золотым шаром.

Перед поездкой на Мариинку я сопоставил текст надписи на обелиске с некоторыми историческими документами — и у меня возникли сомнения.

Десять дней в шалаше на водоразделе в 1711 году? Но в многочисленных книгах почему-то не приводятся ни

точные даты этого пребывания царя в лесах, ни подробности его трудов! Странно!

Стал искать первоисточник повторяемых почти всеми историками двух-трех чрезвычайно схожих фраз, относящихся к этому событию. По-видимому, им был журнал "Отечественные записки" за сентябрь 1821 года. Именно там в статье Павла Львова "Петр Первый — творец Мариинского канала" сказано, что Петр лично был "посреди тех мхов зыбучих и дремучих лесов, где Вытегра и Ковжа доселе укрывались, вясь неприметно от исходищ своих по непроходимой дебри" и прожил "на берегу безвестного озера (ныне называемого Матко-озеро) десять суток, под лиственным кровом из березовых ветвей сплетенного шалаша, претерпевая во всем крайнюю нужду".

Звучит красиво, но...

Казалось бы, отсутствие Петра в столице в течение по крайней мере двух недель (считая дорогу) должно было оставить какой-то след в особых походных журналах, или "юрналах", отмечавших события жизни царского двора. Однако в "юрнале" за 1711 год я не нашел упоминаний о длительной поездке Петра на водораздел. Да в тот бурный год такая поездка вообще была, по меньшей мере, маловероятной. В январе царь уехал в Москву, готовясь к походу против турок, потом направился к войскам. Все лето его внимание поглощали не Ковжа и Вытегра, а Днестр и Прут. Петр долго находился при армии, а с июля до последних дней года — в Варшаве, Дрездене, Карлсбаде, Эльбинге, Риге.

Попав теперь в Вытегру, я прочел в архиве заметки бывшего учителя Дьякова. Он вел их в прошлом веке. Учитель записал рассказ старого священника, отец которого встречал Петра во время его исторически достоверного приезда к водоразделу Петр, говорится в рукописи Дьякова, ехал из Петербурга в Архангельск по тракту. Крестьяне высыпали встречать царя на гору.

Царь, присев на траву, из разговоров узнал, что пристань, где товары, перевозимые гужом через водораздел, снова грузят на суда, находится всего в четырех верстах. Заинтересованный Петр сам пошел туда.

Автор рукописи справедливо предполагает, что именно там-то, на этой пристани, и зародился у царя более ясный план соединения рек. Его приезд на Вытегру и разговор с крестьянами был решающим. Через какое-то время после поездки царь и поручил Перри более детальные изыскания. Не было ему нужды сидеть в шалаше!

Я не стал бы уделять всему этому столько внимания, если бы, занимаясь несколько лет историей отечественного судоходства, не сталкивался со многими подобными случаями умаления подлинной роли народа и приписывания его заслуг какой-либо личности, пусть даже действительно выдающейся, исключительной.

Деятельный ум Петра был скор на решения. Уже начали было рубить лес для шлюзов на водоразделе, когда другие события надолго отвлекли внимание царя. Строительные работы начались лишь при Павле I в 1799 году. Они велись без перерыва, и в 1808 году через водораздел было пропущено первое судно. Торжественное открытие судоходства на Мариинской системе состоялось 21 июля 1810 года.

Это было выдающееся событие в истории не только отечественной, но и мировой гидротехники.

В самом деле: к началу XIX века молодая столица России оказалась связанной с главной водной магистралью страны тремя искусственными водными системами (третья, Тихвинская, вступила в строй в 1811 году)! При остальной технике крепостнической России строителям Мариинки удалось всего за одиннадцать лет шлюзовать две реки и соединить их каналом.

Это было сделано на два десятилетия раньше, чем Москву и Петербург соединило шоссе, на четыре десятилетия раньше постройки железной дороги того же направления, на шесть десятилетий раньше сооружения железнодорожной линии от Бологого на Волгу. Это было сделано до победного шествия пара в технике, до применения паровых машин на транспорте. Это было осуществлено гораздо раньше, чем Фердинанд Лессепс впервые появился во дворце правителя Египта с проектом Суэцкого канала. Это было за сто с лишним лет до того, как строители прорыли канал на Панамском перешейке.

\* \* \*

Василий Иванович Королев согласился показать мне северный склон трассы Волго-Балта. Решили начать с водораздела и оттуда спуститься к Онежскому озеру вдоль будущей дороги кораблей.

От Петровского обелиска отправились к Матке-озеру, у которого Петр некогда велел рубить лес для постройки шлюзов. Теперь оно взбаламучено землесосами Волго-Балта. Неподалеку — второе озеро, уже целиком сотворенное гидромеханизаторами. Чайки кружат над мутной водой, толстые трубы на подпорках тянутся далеко в лес.

Небо хмурится, накрапывает дождь, пахнет тинной. Чтобы не ломать ноги в буреломе и не увязнуть в болоте, идем по скользким трубам. В них шумит пульпа. Трудно было бы представить, с какой скоростью мчится жижа, если бы не камни, попавшие вместе с песком и глиной: защелкало в сотне шагов, через несколько секунд гремит уже под ногами.

— От этих гостинцев трубы утончаются, становятся, как папиросная бумага, — качает головой Королев.

Дождь усиливается. В этих местах он частый гость. Балансируем на трубах над оврагом, выходим к бывшему болоту. Конец ему! За одно лето гидромеханизаторы похоронили его под таким слоем песка, какой реке не намыт и за сто лет.

Трубы привели нас в конце концов к виновникам всех этих геологических катастроф. Мы попали вовремя: два землесоса, прорывавших новый водораздельный канал навстречу друг другу, нацелили водяные "пушки" гидромониторов для "залпа" по последней перемычке. С опаской, не подходя к краям, мы прошли по ней. Корни березок уже торчали в воздухе над обрывом.

— Извините, товарищи, вы уж куда-нибудь в сторонку, — просят нас. — Струя ведь и убить может: восемь атмосфер, деревья ломает.

Через четверть часа под ударами водяных "пушек" перемычка осела, рухнула, расползлась жидкой грязью.

Я невольно сравнивал здешний водораздел с водоразделом Волго-Дона. Ну, право, вспомнишь тут Агафью Тихоновну, гоголевскую разборчивую невесту: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича..." В самом деле, если бы к переувлажненности волго-балтийского водораздела да прибавить кое-что от угнетающей сухости волго-донского, да прибавить бы к здешним болотам отличные степные дороги...

Если бы...

Водораздел, где упорно воюют с природой строители Волго-Балта, был тысячелетия назад основательно перепахан великими ледниками, ползущими с гор Скандинавии на равнины Европы. Ледники оставили после себя множество валунов и впадин, где по торфяникам над пышно разросшимися хвощами поднимаются хилые, вырождающиеся ели и березки.

Сюда хорошо ходить по малину и клюкву, но строить здесь трудно. Угнетает обилие воды, напитавшей почву, сочащейся отовсюду.

Мы долго пробирались через торфяники к руслу еще одного канала, по которому корабли пойдут с водораздела к первому шлюзу балтийского склона. Шагов не было слышно, идешь, словно по перине, лишь изредка хрустнет сухая ветка. Вел нас глуховатый звук водной струи, рвущей землю где-то поблизости.

Вышли. Но что это? Черная жижа с зелеными островками чуть не наполовину забила уже готовый участок канала.

— Десятки тысяч кубометров, — зло сказал Королев. — Придется вычерпывать, ничего не поделаешь.

Все это черно-зеленое месиво после сильных дождей сползло в русло со склона, напитанного водой, как губка. Болото мстило людям, потревожившим природу здешних мест.

Продвигаясь дальше мимо котлованов будущих шлюзов и плотин, мимо неистовствовавших водяных "пушек" и действовавших тихой сапой экскаваторов, мимо карьеров и подсобных заводов, мы всюду видели преобразование диковатого ландшафта, оставленного ледниковым периодом.

Ледник нагромоздил так называемый "оз", узкую гряду песка и гравия. Спасибо ему! Экскаваторы черпают ковшами дары ледника, самосвалы везут их к гравийно-сортировочной фабрике. А на другом склоне долины громада бетонного завода-автомата уже ждет эти дары. Пройдя через дробилки и грохоты, они значатся теперь в водовороте веществ, поглощаемых стройкой под скучноватым названием инертных материалов. И вот уже обломки древнего ледникового происхождения укладываются в стены шлюзов, в бетонные опоры плотин...

Так спускались мы вдоль будущих водных ступеней, пока не добрались до возведенных уже на изрядную высоту стен первого шлюза. Как раз привезли плиты-оболочки, и обслуживающий шлюз экскаватор Ивана Пузырного всю смену ни минуты не стоял без дела.

С Пузырным мы встретились для разговора только дня через три, в воскресенье.

Иван Васильевич на войне командовал отделением связи. После демобилизации потянуло строить. Поехал в Сталинград, окончил курсы экскаваторщиков, попал на Волго-Дон — копать так называемый сто третий канал.

— На водоразделе? Там, где рыл "большой шагающий"?

— Во, во! — обрадовался Пузырный. — Значит, тоже бывали там? Ну, да и то сказать, тогда корреспондентов на Волго-Доне было больше, чем экскаваторщиков. А вот сюда что-то не заглядывают, хотя канал и куда больше будет, чем тот... Так вот, на водоразделе и в аккурат за "большим шагающим" я своим "Воронежцем" откосы выравнивал.

Мне припомнилось даже, что я видел там однокубового "Воронежца" — ужасно жалким казался он рядом с гигантом. Кажется, даже фотографировали его для сопоставления, для масштаба.

— Открытия Волго-Дона не дождался, — продолжал мой собеседник. — Когда там ленточку разрезали, я под Вытегрой копался, на этом шлюзе.

Пузырный добавил, что здешняя стройка не взяла еще настоящего разгона. А это на всем отражается. Вот и с бытом неурядицы. Со школой, к примеру. Приходишь оттуда в двенадцать часов ночи...

— Ребята приходят? — уточняю я.

— Какие ребята? А-а! Нет, ребята нормально, это я о себе. В девятый перешел, книжку даже подарили за успехи. Очень математикой увлекаюсь.



Мне говорили о Пузырном как о лучшем экскаваторщике стройки. Работает на старой машине, и никогда из-за него никаких заминок не было. Действует и ковшом и кран заменяет. Работает с разными бригадами. У бригады — по сто пятьдесят — двести процентов выработки, Пузырному все равно считают сто. А ведь на земляных работах он и по триста процентов давал.

— Ведь невыгодно вам? — спрашиваю.

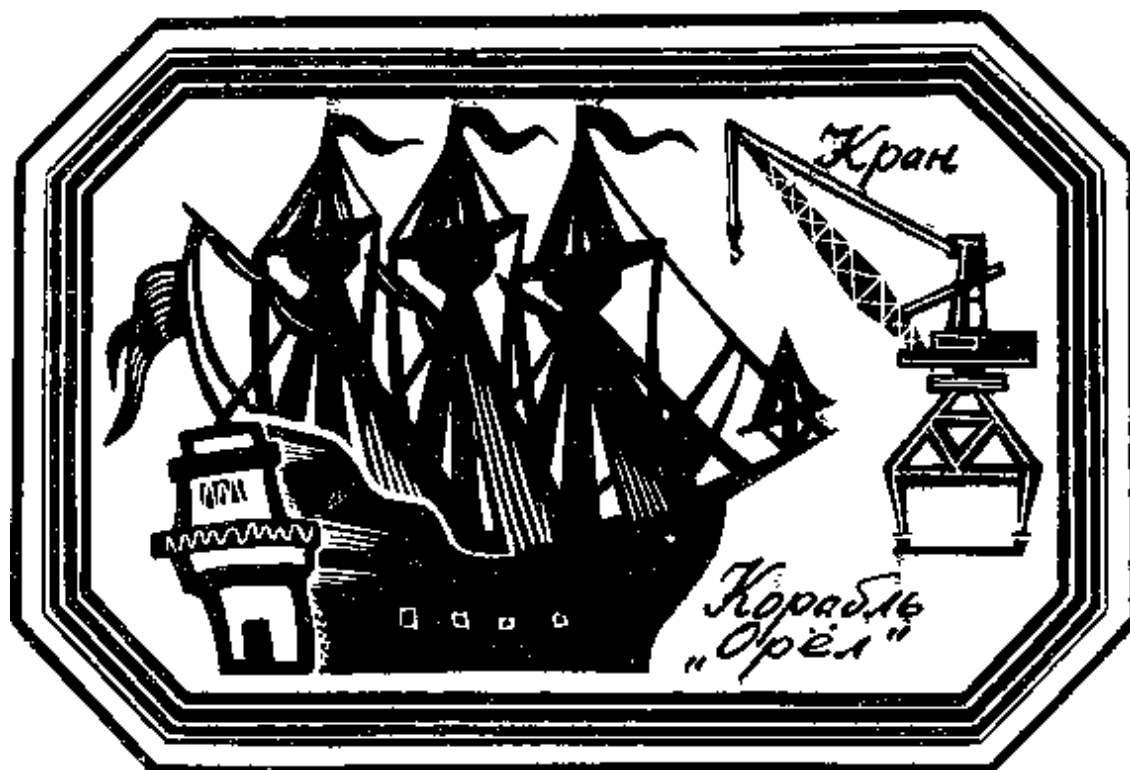
— Выходит, что так. Зато стройке выгодно. Должна же быть в рабочем человеке сознательность!

Я разговаривал потом о Пузырном с председателем постройкома.

— С коммунистической отдачей работает, — сказал тот. — И весь экипаж у него такой. Горит за план. С гордостью, совестью рабочий человек. Ведь столько людей от него зависят! Разве при таком положении пойдешь в холодок покурить? Папироска горькой покажется!

...Весной 1965, после того как Волго-Балт вступил в строй, я с радостью прочел в газетах Указ о присвоении Пузырному Ивану Васильевичу, машинисту экскаватора, звания Героя Социалистического Труда.

## Проспектом к Балтике



*Десять лет спустя. — Гибрид танкера и сухогруза. — Все, что осталось от Шексны. — За монастырской стеной. — Искусство древнее, вечное. — Многогранный Волго-Балт. — По лестнице Балтийского склона. — Беспокойная ночная вахта. — Три диплома одного капитана.*

И вот десять лет спустя я вновь в Череповецком заливе Рыбинского моря.

Конец сентября. Дивное утро, теплое и тихое, совсем не северное и не осеннее. Пахнет увядающими травами, хотя берега далеко.

Дымы разросшегося металлургического Череповца, густо заставленный знакомый рейд на перекрестке водных дорог. Не мелочь, не "голубчики", не катеришки, а волжские богатыри и если не морские, то уж во всяком

случае полуморские суда. И сколько кранов прибавилось! Еще бы: ключевой порт Волго-Балта!

За те годы, что я не был здесь, Северная Магнитка превратилась в мощнейшее металлургическое предприятие. Частенько на первых страницах газет Череповец сообщал о пуске новых прокатных станков, агломерационных и углеобогащительных фабрик, прокатных цехов, коксовых батарей. Именно здесь построили домну — гигант мирового класса, по количеству выплавляемого чугуна не имеющую себе равных. Череповецкий завод производит металла в несколько раз больше, чем вся царская Россия, и не только шлет его северо-западу и центру страны, но и экспортирует в четыре десятка стран.

Волго-Балт дал Северной Магнитке дешевую водную дорогу для доставки Кольской руды. Точнее, не руды, а обогащенного рудного концентрата: какой смысл возить издалека сырую руду?

Но порт металлургов в стороне, теплоход идет к прежней пристани, к горе, заросшей густым парком. Могучие лиственницы и березы закрывают деревянную голубую лестницу, спускающуюся к причалам. Заспанные люди стучат по ней к раннему "Метеору": крылатые суда носятся отсюда на Ярославль и Белозерск.

Мне кажется, что где-то неподалеку кричит павлин. Откуда бы взяться ему в Череповце?

Пристань теперь парадная, чувствуется большая водная дорога. Огромное панно: "Посетите памятники русского Севера", и на нем ласково улыбающееся незаходящее солнышко, северные хороводы на лугах, монастырские стены, ладьи землепроходцев, топором рубленные церковки. И еще панно: схема Волго-Балта и лаконичная надпись: "7 шлюзов вместо 38".

Опять кричит павлин.

— А это на горке, в зверинце, — поясняет парень, застывший над удочками.

Возле знакомого деревянного дома череповецких путейцев совсем не ко времени цветет шиповник: небывало теплая осень. А над махровыми розовыми соцветьями — тяжелые грозди спелой рябины.

У путейского дома пусто, только дворничиха собирает мусор в ведерко.

— Скажите, раньше здесь жил Николай Иванович Семенов...

— А как же, как же! Только он на улицу Маркса переехал, в новый дом. На пенсии, однако два месяца в году работает в техническом училище. И лекции читает. Бодрый такой, живой...

Пожалуй, в гости идти рановато: шесть часов. И потом: что за странное судно стоит на рейде? Русскими и латинскими буквами на борту написано: "Нефтерудовоз". В самом названии — несовместимость. Нефть всегда возили в наливных судах, руду — в сухогрузных. Надо бы взглянуть, что и как, а то вдруг снимется с якоря, пока я буду устраиваться в гостиницу и разыскивать своего старого знакомого.

Вблизи "Нефтерудовоз" еще внушительнее, чем издали. Настоящее морское судно, длина наверняка больше сотни метров. И парадный трап, как на морских лайнерах! Никогда не видел я на речных грузовых судах парадных трапов!

Капитан Виктор Федорович Донченко, гибкий, сухощавый южанин — родом он из кубанских казаков — повел по своему кораблю.

— Да, вот именно руда и нефть. Новые потребности — новое судно. Проектировали сормовичи, построили уральцы. Гибрид танкера и сухогруза. В середине, в центре судна — обычный трюм, как на сухогрузных судах. А по бокам, вдоль бортов — нефтеналивные танки. Хочешь — бери руду. Хочешь — нефтепродукты.

Можно часть того и часть другого. Рейсы порожняком почти исключены.

С капитанского мостика обзор, как с балкона пятого этажа. Капитан влюблен в свое судно. Ему доставляет удовольствие показать гостю, как все здорово устроено. Нажал кнопку — и тотчас мачта начинает покорно склоняться над палубой. Ниже, ниже... Снова нажал — мачта выпрямляется за считанные секунды.

— Допустим, надо положить якорь. Помните, наверное? Капитан: "Отдай якорь!". Матрос: "Есть отдать якорь!". Освобождает цепь. "Потрави немного!" — "Есть потравить немного!" А у нас — кнопка, вот эта. Нажал — якорь в воду. И слезу по счетчику в рубке, на столько метров вытравлена цепь. Дальше. Авторулевой. Сам положит руль и будет корректировать по заданному курсу. Кстати, руль переключается с борта на борт за десять секунд. Это вместо двадцатитридцати.

Капитан продолжает удивлять гостя. Вот стекло в рубке. Обычное? Ничуть! Оно никогда не обмерзает, у него особый подогрев. Сколько нужно времени, чтобы открыть все шестнадцать тяжелых крышек грузового трюма? Час? Полчаса? Всего двенадцать минут, они складываются, как гармошка. А с разгрузкой тысячи восьмисот тонн руды три крана справляются за четыре часа.

"Нефтерудовоз" — головное судно, следом за ним со стапелей пойдут и другие, еще более совершенные, на которых устранят мелкие недостатки, обнаруженные во время рейсов первенца. Рейсы эти не совсем обычны. Универсальное судно капитана Донченко побывало уже в Волгограде, в Беломорске, Петрозаводске, Кандалакше, Повенце, Рыбинске и во многих других портах. Оно доставляло железобетонные конструкции для строительства Мемориального центра в Ульяновске, мазут для волгоградских металлургов и рудный

концентрат для череповецких. В его танки наливали керосин и дизельное топливо, трюм загружали песком и гравием.

— Мы можем удлинить Волгу на многие сотни километров, — говорил капитан. — А почему бы и нет? На юге Махачкала, на севере — Хельсинки. Корпус рассчитан на штормовую волну высотой пять метров, но имеет запас прочности и для шестиметровой. Навигацию можем работать на Волге, часть зимы — на Черном море. И даже на Средиземном. Дальше: почему бы не возить бокситы в Новороссийск и Жданов? Или волжскую соль в Баку? Мы ведь можем десять суток идти без остановок, не заглядывая в порт. А скорость наша двадцать два километра в час. Вот и прикиньте.

Чтобы окончательно сразить меня, капитан показал каюты команды. Там была холодная и горячая вода, отопительный калорифер, нагретый воздух смягчался увлажнителями.

Я смотрел, слушал — и вспоминались мне "голубчики", узкие ленты плотов, ручные, с оглобельками, ворота на шлюзах Мариинки.

С тех пор прошло десять лет. Ровно десять. Всего десять.

Николая Ивановича Семенова я на этот раз так и не повидал: уехал с лекциями, скоро вернуться не обещал.

Не застал и другого старого знакомого — прежнего Череповца. Мне приходилось читать, что город растет рчень быстро, что по темпам прироста населения он вышел на одно из первых мест в стране. Но трудно было представить, чтобы настолько мог измениться его дух и облик.

Дело даже не в высотных домах, не в грохоте трамваев, не в новых проспектах и парках. Еще десять лет назад несколько застойный быт прежнего северного захолустья уживался здесь с новыми ритмами и

импульсами городской жизни, идущими от завода-исполина. Теперь завод победил окончательно, он определяет и сегодняшней, и завтрашний день города. Череповец готовится шагнуть за Шексну, которая, пожалуй, не уступит шириной Волге за Горьким, причем шагнуть по мосту, каких у нас еще не строили — с двумя пролетами, поддерживаемыми вантовыми тросами единственной исполинской опоры, поднятой в русле. За Шексной среди лесов и возникнет новый центр города.

За Шексной... Металл круто изменил уклад Череповца, Волго-Балт обещал столь же крутую "расправу" с прежней Шексной. Но в низовьях река оказалась упрямее города.

Прощаюсь с заставленным кораблями рейдом Череповца, — и узнаю прежние шекснинские берега с северными ельниками и броской желтизной осенних берез. Должно быть, потому, что осень выдалась сухой, теплой и Шексне давали мало воды с водораздела, подальше, где подпор вод Рыбинского моря чувствуется все меньше, видны прежние отмели, то светящиеся на солнце песком, то усеянные валунами. Судовой ход сузился, его ограждают линии красных и белых буев. Огромный встречный танкер "Волгонефть" проходит совсем рядом с нами, впритирку, борт к борту.

В рубке нашего судна — настороженное внимание. Вахтенный штурман смотрит в бинокль: впереди еще один танкер. Берет микрофон;

— Танкер шестьсот восемьдесят седьмой, прошу на связь.

— Я танкер шестьсот восемьдесят седьмой. Слушаю вас!

Поговорили о сигнальных буюх у неведомого мне Едомского мыса — и разошлись. Теперь вахтенный запрашивает начальника смены шлюза Череповецкого гидроузла. Он еще невидим. Но вот прорисовались

четыре серые башни. Они растут, разочаровывая тех, кто ждал эффектного зрелища.

Башни очень скромны, не то, что на канале имени Москвы или Волго-Доне. Серая облицовка, яркая суриковая цифра "7": счет шлюзов идет от Балтики, этот седьмой. И самая мощная гидростанция Волго-Балта ничем не заявляет, что она здесь, на Череповецком гидроузле: ее не видно вовсе, она упрятана в бетонное тело плотины. На необычной этой станции — необычные гидроагрегаты: не водный поток врывается в них, вращая турбину, а сами они находятся внутри водного потока.

Судно входит в тот самый шлюз, между двумя стенками которого когда-то дуло, как в аэродинамической трубе. Короткий гудок: мы готовы. И тотчас голос с башни:

— Внимание! Производим наполнение камеры, следите за швартовыми.

Через несколько минут с капитанского мостика видно синее, с барашками, Череповецкое водохранилище. Тут Шексне и конец, дальше по пути к водоразделу стерло ее с карт новое море, поглотило, затопило, залило.

Над спокойно разлившимися водами — деревни с широченными улицами и такими огромными деревянными домами, какие можно встретить только в лесном краю, где живут люди, привычные к тяжелой, долгой работе. Дом велик, а к нему еще сделаны пристройки, и все это вытягивается в глубь двора до самого огорода. У этих типичных северных деревень — одинаковые бетонные пристанские павильоны, напоминающие автовокзалы Черноморского побережья. Неуютно, наверное, смотреть на их стеклянные стены в зимние вьюжные дни. Но летом — хорошо!

Берега теперь населены здесь почти столь же густо, как волжские. Всюду стада черно-белых коров на



выгонах, вытащенные на пологий берег рыбацкие лодки. Вот сразу пять деревенок. Я помню их рассыпанными по высоким пригоркам, чтобы не достигали шекснинские разливы. Деревни остались на старом месте, но вода подошла к огородным плетням.

Водохранилище портят мертвые березовые леса. Торчат голые, белые, как скелеты, стволы, белые не в зелени и не в зимних снегах, а в сини живой, волнующейся воды. Очень это грустное зрелище — умерщвленный лес. Тянется он долго-долго, навевая уныние. И не на меня одного.

— Срубили бы уж... А то говорят о зеленом друге...

— Рубят. Зимой со льда. Не успели до затопления. Пристань Топорня, где я когда-то поджидал "голубчика". Нарядный пристанский павильон, бетонный причал, улицы двухэтажных домов там, где были шаткие мостики-тротуары над зеленоватой водой болота.

В Топорне от Волго-Балта ответвляется Северо-Двинская водная система. Но для туристов Топорня — это северное диво Кирилло-Белозерского монастыря, это Ферапонтово, чудесные фрески старых мастеров.

Небольшой городок Кириллов, где находится монастырь, сосед Топорни. Он стоит сразу на трех озерах — чего-чего, а воды в здешних местах хватает! Озеро, омывающее монастырские стены, назвали в честь новгородского губернатора Сиверса, праздновавшего здесь свой день рождения. Место Сиверсу понравилось, он велел составить проект планировки города, но, по меланхолическому замечанию историка, "город возник, как сам хотел, по своей фантазии, и скромно прилег к монастырю, в тени его громких и бесчетных воспоминаний".

Есть в истории этого монастыря черты типические для многих крупных монастырей на Руси, черты противоречивые, доказывающие, что тут неправомерна однозначная оценка.

Основал монастырь в XIV веке Кирилл Белозерский — личность вполне историческая. Родился он в Москве, рано постригся в монахи, был известен не только усердием в молитве, но и тем, что умел книги "добро писати". Возвели Кирилла в сан архимандрита, а этот князь церкви ушел на север от почестей и выкопал землянку на месте нынешнего монастыря. Религиозный фанатизм? Или стремление уединиться от церковных интриг и козней?

Вокруг землянки Кирилла поселилось несколько монахов, которые принялись под его началом прилежно переписывать священные книги.

Сохранились письма Кирилла к великому князю Василию и его братьям Андрею и Юрию. Умен был Кирилл! Вот он пишет Василию: "Ежели в корабле гребец ошибется, то малый вред принесет плавающим; ежели же кормчий, то всему кораблю причинит пагубу: так, если кто из бояр согрешит, повредит этим одному себе; ежели же сам князь, то повредит всем людям".

Любопытен и, увы, все еще достаточно злободневен его совет князю Андрею. "Чтобы корчмы в твоей вотчине не было, ибо это великая пагуба душам — христиане пропиваются, а души гибнут..."

Внутри часовенки, построенной еще при Кирилле, большой деревянный крест, вроде тех, какие ставят на могилах. Он весь изгрызен, вернее — обгрызен. Так лошади грызут коновязи возле чайной, где засиделись их хозяева. Но крест в часовенке грызли верующие: монахи распустили слух, что он избавляет от зубной боли.

Из рассадника грамотности монастырь постепенно становился питомником невежества. Уже при Кирилле на месте землянок появились каменные покои. Его преемники о книгах почти не думали, помыслы духовной знати завертелись вокруг земель и злата. Монастырь

стал владельцем вотчин и под Москвой, и под Угличем, и под Костромой, и во многих других местах.

Итак, монастырь-феодал. Но и монастырь-защитник. В XVI веке его окружили каменными стенами. В смутное время, когда на севере бродили шайки интервентов, отряд пана Песоцкого ринулся на приступ по льду озера. Ратники и монахи, недурно знавшие ратное дело, открыли пальбу. Нападающие падали в снег, а удачный выстрел с башни сразил самого Песоцкого.

Штурм встревожил монахов. Новые стены, почти вдвое превышавшие старые, окружили монастырь-крепость. Великолепные стены, трехъярусные, — памятник труда и фортификационного искусства мужиков окрестных деревень!

Однако новые стены эти, сохранившиеся до наших дней, так и не видели неприятеля: Русь окрепла, северные ее границы были надежно заперты. Колокола монастырских храмов, построенных лучшими народными зодчими и украшенных талантливейшими художниками-иконописцами, не захлебывались больше в тревожном набате. Монастырские фрески, написанные красками из растертых цветных камешков с берегов Бородаевского озера, не потускнели в дыму и копоти пожаров" как это бывало в других местах.

За последние годы об архитектуре и живописи монастыря написаны тысячи страниц. Искусствоведы обнаружили, что над Сиверским озером уцелело как бы связующее звено между не дошедшими до нас ансамблями Москвы XV века и строениями более поздних веков и что вообще речь должна идти о важном направлении в русском зодчестве, влияние которого прослеживается на всем нашем севере.

И уже умиляешься — вот ведь, религия религией, но побуждал же монастырь к творчеству, выявлял способных, давал им работу, собирал, хранил их творения за своими стенами — и мы, потомки,

благодарно смотрим на каменную тончайшую резьбу, на суровые лики святых, писанных дивной кистью мастера.

Однако что это за мрачные кельи в отдельном дворе? Да это, оказывается, и не кельи вовсе, а тюремные камеры. Вон там, говорят, был удушен герой обороны Пскова Иван Шуйский. В кельи-камеры церковь заточала своих врагов. После пыток — в каменный мешок "до скончания живота", то есть до смерти. Некоторых годами держали с деревянным кляпом во рту. Милосердные христиане, палачи в рясах, вынимали кляп только когда приносили узнику хлеб и воду; а чтобы тот не мог освободиться от него в другое время, руки приковывали к стене...

Волго-Балт сделал монастырь доступным для массового туристского паломничества (десять лет назад его посещали около четырехсот человек в год, я записал эту цифру, ее произносили тогда с гордостью). Тот же Волго-Балт заставил собрать за монастырские стены для музея под открытым небом чудесные деревянные церковки и мельницы на курьих ножках из затопляемых деревень.

И вообще Волго-Балт все обновил, все привел в движение, все подтянул вокруг себя, всему что-то прибавил. Он оставил после себя карьеры строительного камня, гравийные заводы — теперь они обслуживают местные нужды. Он дал выход лесным богатствам.

И он же с новой силой пробудил интерес к истории Севера, сделал заповедным Кирилло-Белозерский монастырь, привлек реставраторов в Горицкий монастырь и в Ферапонтово, заставил говорить о древностях Белозерска. Десятки тысяч людей благодаря ему получили возможность увидеть и оценить скрытые в медвежьих углах жемчужины народного творчества. Наверно, это по-своему не менее важно, чем снижение стоимости перевозок от Балтики к Волге, ибо

стремление глубже познать родную старину — признак зрелости общественного сознания.

\* \* \*

Мы шли к водоразделу ночью.

Два неподвижно закрепленных прожектора при поворотах русла, как фары, выхватывали из тьмы плоты, осоку, темную воду болот. Третий с капитанского мостика тревожно шарил лучом по сторонам. Путь к водоразделу запечатлелся у меня как бы несколькими моментальными снимками.

Низкий берег, очень близко от борта, с темными деревьями и медленно плывущим зеленым огнем маячка. Обрыв, сложенный природой из множества пластин плитняка. Крутые откосы глубокой выемки на бывшем водоразделе Ковжи и Вытегры, русло которых покоится на дне водохранилищ. Сползшая в воду огромная глыба, черная, с зеленым дерном по верху, и около нее землесос, желтые маслянистые огни, шум машин, откачивающих жижу из русла каналов: болота не успокоились, они и теперь напоминают о себе.

Новый путь еще "не устоялся", местами он лишен той геометрической правильности, надежности, стабильности, к которой мы привыкли на канале имени Москвы, где волны от судовых винтов бессильны против бетонных плит откосов.

На рассвете, миновав замыкающий водораздел шлюз Пахомовского гидроузла, мы вышли к Деветинам. С высоты Волго-Балта можно было взглянуть на остатки прежней Мариинки. Знаменитый Деветинский перекоп был заброшен. Заросшие склоны спускались к обсохнувшему руслу, в котором еще недавно стояли почти впритык друг к другу шлюзики и водосливы с журчащей, словно на мельничных колесах, водой.

— Эх, не сберегли. А многие интересуются, как, мол, тут раньше было.

Это Николай Ефимович Соловьев, с которым я познакомился еще вчера, один из бывших строителей Волго-Балта. Сердито надвинув тяжелую черную кепку едва не на глаза — чтобы не сорвало ветром, — он ворчит:

— Ну чего стоило сохранить? Так нет, порастащили почти все шлюзы на дрова, одна стенка осталась. А ведь был готовый музей старой техники! И "голубчиков" не осталось, никто и не поверит теперь, что тут такие суденышки плавали.

На остатки Мариинки мы смотрели сверху вовсе не в фигуральном, не в переносном смысле. Новая трасса действительно проходит гораздо выше, нежели старая водная дорога.

— Помните гравийно-сортировочную фабрику у Севастьяновского карьера? Еще у нее такие высокие эстакады были?

Смутно что-то такое припоминаю.

— Так вот же она! — торжествующе показывает Николай Ефимович на островок, торчащий посередине водохранилища. — Не сама она, над ней теперь теплоходы гудят, а гора пустой породы рядом с ней была, высокая такая, как пирамида. Помните? Ну, как же, должны бы помнить!

А мне не до пирамиды. Еще во время стройки эти вот места прозвали "Вытегорской Швейцарией". Холмы, подступившие здесь к голубой дороге, высоки и круты. Узкие заливы ответвляются по долинам, где прежде бурлили ручьи. И лес здесь красавец, не изрежен топором, не выродился на болотных топях.

Впереди три шлюза, три ступени Новинковского гидроузла. Все три видны одновременно. Двенадцать светлых башен. Каскад из трех водохранилищ, одно под

другим. И все это вписано в осенний северный пейзаж, в багрец и золото одетые леса.

Я видел все это десять лет назад, — правда, без осенней позолоты, и не в натуре, а на рисунках, на макете. Новый водный путь был детищем мощного Ленинградского филиала Гидропроекта. Приехав в Ленинград, я позвонил главному инженеру проекта Волго-Балта Георгию Алексеевичу Крылову.

— Жду, — коротко сказал он. — Обитаем на Конюшенной площади.

Часть длинного желто-белого здания бывшего Конюшенного ведомства, видимо, по преемственности занимала автоинспекция. Один из отделов Гидропроекта разместился там, где была когда-то домовая церковь.

Ее временные жильцы, проектировщики Волго-Балта, заняли бывшие хоры. Сверху было видно нагороженное из учрежденческих шкафов подобие комнат: никакие капитальные перестройки в здании не разрешены. В этой домовой церкви отпевали Пушкина. Отсюда же, из этого дома, глухой ночью, тайком, тело поэта кибитка с жандармским капитаном умчала в Псковскую губернию.

Когда открылось движение по Мариинской системе, мальчик Саша Пушкин еще не переступал порога Царскосельского лицея. Много позднее поэт, живо интересовавшийся личностью и делами Петра Первого, коснулся в своих записях истории водных путей между Волгой и Балтикой. В набросках он отметил, что в 1712 году Петр "послал осмотреть Мститские пороги, желая доставить судам возможность оные миновать; также реки Уверью и Вилью и места из Мологи к Мсте или Сяси, а после ехать на Вытегру и Шексну, и планы всему подать в Сенат (указ от 28 мая), дабы будущею весною зачать дело неотложно".

Здесь, в этом зале, где под сводами некогда гулко отдавалось панихидное пение, в сущности трудились

над завершением дела, которое два с половиной века назад так и не удалось "зачать неотложно". Гидропроект окончательно перекраивал все те же реки. На хорах, возле стола Георгия Алексеевича Крылова, были прикреплены белые листы ватмана с профилем Шексны и графики бетонирования вытегорских шлюзов.

У этого стола я провел тогда много часов, слушая рассказы главного инженера проекта. Георгий Алексеевич познакомил меня со своими помощниками и товарищами. Мы смотрели карты, чертежи, макеты, пояснительные записки. Постараюсь выбрать из наших разговоров главное, то, что не утратило значения и сегодня.

С давних пор русские люди стремились связать пять Морей — Белое, Балтийское, Каспийское, Черное, Азовское — внутренними водными путями: так ближе, надежнее, а в грозные годы и безопаснее. Рек у нас много, и в прошлые времена это делалось с помощью волоков, а потом и каналов. Но куда труднее проложить между морями глубоководные дороги для создания действительно единой транспортной системы в современном понимании.

Москва, например, имела выход на Волгу еще при Юрии Долгоруком — по Москве-реке и Оке. Но и в начале нашего века одна из газет писала: "От Москвы хоть три года скачи, ни до какого моря не доскачешь. Изредка проползет по Москве-реке злосчастный яхт-клубовский парходик... Да многие москвичи даже и речного парходика не удосужились видеть".

Связь морей водными магистралями началась с того, что Беломорско-Балтийский канал прорезал край гранита и озер. Потом Волгу стали превращать в глубоководную Большую Волгу. Вступил в строй канал имени Москвы. Затем Большую Волгу соединили с Доном. Волго-Балт, призванный заменить проселок Мариинки водным проспектом, венчал дело.



Первоначальный проект Волго-Балта был составлен до войны. Потом его основательно перестроили и обновили. Совершенствование продолжалось и в ходе стройки.

— Мы старались прежде всего как можно лучше использовать условия местности, — говорил Крылов, и его карандаш чертил легкие контуры на карте водораздела и северного склона. — Наши геологи обнаружили вот здесь древнюю продолину, я полагаю, что частица "пра" вам понятна: праотец, прадед... Так вот, продоли-на заполнена четвертичными отложениями, благоприятными для гидротехнического строительства.

Мы и постарались "привязать" к ней новую трассу.

Строители старой Мариинской системы преодолели подъем на водораздел и спуск с него почти четырем десятками небольших гидроузлов со шлюзами. Для Волго-Балта, общая длина которого 361 километр, на волжском склоне достаточно одного Череповецкого гидроузла. Потом судно почти 225 километров пойдет по его водохранилищу, глубокой выемкой минует водораздел и спустится к Балтике через четыре гидроузла: Пахомовский с одним шлюзом, Новинковский — с тремя, Белоусовский — с одним и Вытегорский — с одним. А дальше короткий канал выведет его на просторы Онежского озера, откуда до Ленинграда давно готов магистральный путь.

И вот что важно: основные водные ступеньки Волго-Балта запроектированы почти одинаковыми, в них много однотипного, отсюда — серийность деталей и большая экономия.

— Вот, посмотрите Новинковский гидроузел, — говорил Крылов, разглаживая свиток чертежа, — три одинаковых ступени.

...Теперь я вижу тот же чертеж, выполненный в бетоне, стали и грунте.

Путеводитель подсказывает: при строительстве Волго-Балта выполнено более 63 миллионов кубометров земляных работ — а я вспоминаю топи водораздела, сползающую на валуны жижу: кубометр кубометру рознь, здешний кое-где не грех бы считать за два. На стройке уложено 750 тысяч кубометров железобетона — и опять думаешь: летом здесь мешали дожди, осенью — распутица, какой не знают в южных широтах, зима здесь злая, кусачая, морозная, весна — поздняя, иногда с возвратом заморозков в конце мая.

Строить Волго-Балт было трудно. Но как ощутимы выгоды нового пути! Прежде грузовые суда добирались от Череповца до Ленинграда за две с лишним недели, теперь за три-четыре дня. Волго-Балт открыл дешевую дорогу апатитовому концентрату из Хибин в Баку, Ленинград может получать по воде донецкий уголь, Донбасс — беломорский крепежный лес, Калининград — волжскую соль. Путь от Балтики до Черного моря сократился вдвое по сравнению с морским вокруг Европы. Все перевозки упростились, удешевились и выросли в несколько раз. Волго-Балт быстро оработает то, что на него затрачено, в долгу не останется!

Лестница Новинковского гидроузла спускается по холмистому неровному склону, пересеченному глубокими долинами. Путь здесь огражден валами и дамбами. Не будь их — воды хлынули бы вниз. Но они собраны в русле трассы, они переливаются лишь из шлюза в шлюз, из одного этажа искусственных озер в другой. Заливы этих пришлюзовых водохранилищ, подчиняясь причудам запутанного рельефа, на разной высоте омыают один и тот же холм. Поистине симфония воды, леса и бетона! Притом симфония северная: осенние низкие тучи, свинцовый тусклый отлив вод, багряные пятна осинников, густо-синие хвойные леса на дальней гряде.

И хорошо, что нет башен с монументальными колоннами, с лепкой, с обилием скульптур. Они чужды скромной, неяркой природе, задумчивым березовым рощам, долинам, где студеные ручьи шумят среди валунов, нагроможденных ледником.

Но как же недостает всему этому завершающей детали, которая создавала бы поражающий воображение контрапункт! И ведь была эта деталь — деревянная церковь вытегорского погоста, лишь немногим уступавшая диву в Кижях. Пьяная сволочь забралась в нерадиво охраняемый храм. Выпили, закусили, бросили окурки — и сгорело чудо...

Но вот и Вытегра.

"Глушь началась за городком Вытегрой. Этот бревенчатый городок, позаросший муравой, был ключом Мариинской системы, всюду равномерно шумела вода, сливаясь с покрытых тиной плотин... Улицы пахли парным молоком".

Это Паустовский, впечатления поездки по Мариинке в 1932 году.

Волго-Балт пристроил к городку как бы вторую Вытегру на еще недавно пустом нагорье, положил асфальт на пыль и мураву улиц, поставил у окраины свой головной гидроузел, привел на вытегорский рейд морские корабли.

А от прежней Вытегры остался старинный собор, к которому перенесли часовенку с Беседной горы, где, по преданию, Петр Первый толковал с мужиками о реках и волоках, да еще единственный уцелевший шлюз Мариинки. Экскурсанты, насмотревшись гигантов Волго-Балта, теснились возле него.

От Вытегры до Онежского озера — полтора десятка километров по каналу, проложенному через заболоченные луговины.

Я прощался здесь с трассой.

В канале было тихо, чуть заметная рябь дробила зеркало. Озеро же, иссиня-черное, гнало крупные волны с белыми барашками. Нечего было и думать идти туда на катере. Буксировщик, приткнувшись у входа в канал, подбрасывало, потряхивало, он кланялся длинной черной трубой.

Оставив катерок в затишке, у домика бакенщика, пошли по чистейшему золотому песку, на котором с шипением гаснет волна. Повыше — грива с редкими соснами. На ней выбеленная ветрами и дождями сторожевая наблюдательная вышка: там, откуда бегут сейчас волны, в войну находился враг, и каждую минуту можно было ждать огневого шквала...

Вдоль гряды — оплывшие окопчики, остатки большой землянки, золотой песок струится в щели меж старых бревен.

— Командный пункт, — прокричал мой спутник.

Озеро ревело, заглушая речь.

Гуляли по нему в старину челны новгородские, по берегам пробирались дружины ратников. В войну на нем несли службу корабли нашей военной флотилии, среди которых были и вооруженные озерные буксировщики. Может быть, тот, что подпрыгивает у входа в канал, тоже ходил под бомбами.

В Вытегре меня забрал "Красногвардеец", большой пассажирский теплоход. Из камеры шлюза, где я познакомился когда-то с Иваном Пузырным, была видна вся Вытегра.

Кроме "Красногвардейца", в шлюз вошла крылатая "Комета". Она полетит к Петрозаводску, завернет по дороге в Кижы.

"Красногвардеец" идет в Ленинград последним рейсом. Редким пассажирам неуютно на пустой палубе.

— Двадцать один человек, вы двадцать второй, — сказала проводница. — Летом возим по триста шестьдесят.

Что до меня, то нет, по-моему, на пассажирском судне поры милее, чем осенняя, если выпадет несколько деньков бабьего лета. Вот когда почувствуешь и судно, и реку, и всю прелесть речного путешествия, потому что какая же радость, когда под твоим окном неумолчно гудят голоса, палуба содрогается от топота ног, а из салона доносится: "Жалобную книгу!"

В осенние рейсы и с речниками поговоришь всласть: не задерганы, да и отдых скоро, его предвкушение делает людей добрее.

Когда мы пересекли Онежское озеро и вошли в Свирь, было уже десять часов — начало ночной капитанской вахты. Конечно, капитан Грязнов "напряженно всматривался вдаль". Но это была лишь одна из его многочисленных обязанностей. Кстати, осенней безлунной ночью, когда набухшие тучи спустились к воде, даль очень укоротилась.

— В прошлом году шел вот здесь по Свири сухогруз-двухтысячник, а перед ним плотовод сбил красный бакен, — произносит капитан. — Ну и прихватил каменную грядку; их здесь немало. Пропорол днище. Подняли на слип, сто пятьдесят тысяч убытку. А задень он так днищем на Волге — прошуршал бы по песочку, только и всего.

По берегам заводы, сплавные рейды, верфи, поселки. Свирь вся в огнях. Каждый лишний огонь на реке — помеха капитану. Я с непривычки никак не могу определить в путанице этих десятков светлячков, как далеко берега и куда повернет Свирь вон от того маячка или красного бакена.

Капитана беспокоит плот. Он где-то впереди, близко, последнюю пристань прошел полтора часа назад. Вероятно, мы нагоним его в крутом колене. А ну, как там встречный?

— Внимание, я теплоход "Красногвардеец", подхожу к Услонке. Встречные суда прошу на связь.

Ответа нет. Река молчит. А плотовод — немой, это старый буксировщик, на нем нет радиотелефона.

Капитан то и дело подносит бинокль к глазам. Огоньки встречного. Раз не откликнулся, значит, маленькое суденышко. Вспышками, короткими и яркими, как блицы фоторепортеров, суда договариваются разойтись правыми бортами. Так и есть, маленький катерок.

Но где же плот? Чернильная река не дает ответа.

— А красный бакен? — тревожно спрашивает капитан себя и рулевого. — Где же он? Сбит?

Включаются прожектора. Из тьмы извлечен неожиданно близкий лес — березки, ели. Белесый каменистый островок, скорее гряда, острая, как нож, приподнимается над чернильной водой. А рядом — красный бакен, но без огня.

— Какой же это? — капитан склоняется над лоцией. — Ага, тридцать третий. Странно, почему не горит.

Огоньки встречного судна. Опять вспышки. Капитан берется за радиотелефон.

— Теплоход девяносто восемь, я "Красногвардеец", прошу на связь.

После короткой паузы глуховатый голос:

— Я девяносто восьмой.

— На повороте не горит красный тридцать третий. Будьте внимательны.

— Спасибо. Счастливого плавания.

А плота все нет.

Холодно. Сквозь открытое окно рубки хлещет осенний ночной ветер. Идем, должно быть, в лесистых берегах, вода сливается с безмолвной чернотой. Только красные и зеленые огоньки бакенов.

— Ага! Вот он!

Далеко — светлые точки. Это сигнальные огни на плоту.

— Внимание, я теплоход "Красногвардеец".  
Встречные суда прошу на связь.

Река безмолвствует. Встречных как будто нет, можно обгонять плот. Три гудка — вопрос плотоводу, как обгонять. Ответ вспышками: обгоняйте справа.

Река делает здесь кривун, но плавный. Плот слегка раскатывает, однако это нам даже на руку. Обходим мокрые бревна, слышно, как чмокает вода. Все! Обошли!

Сколько же времени прошло с тех пор, как мы отвалили от пристани? Часа полтора-два?

В рубке темно. На секунду включаю лампу на столе. Прошло двадцать пять минут шестичасовой ночной вахты капитана.

Ясно, что Свирь не даст нам сегодня поговорить. Вахта будет беспокойной, постороннему лучше уйти из рубки. Желаю капитану доброй ночи.

Уже пять лет капитан Станислав Александрович Грязнов ходит по этой трассе. Он показывал открытку с изображением "Красногвардейца". На обороте каллиграфическим почерком, каким пишут адреса юбилярам, было выведено: команда поздравляет своего товарища, Грязнова С. А., который провел первое пассажирское судно через первый шлюз при открытии Волго-Балта.

— Для сына берегу. Подрастет, поймет. Все-таки память, каналы ведь не каждый год открываем.

— Знаете, наверное, весь Волго-Балт наизусть? Каждый кустик на берегу, каждую причальную тумбу в шлюзе.

— Да, — подтвердил капитан. — К сожалению.

Вот те раз! Сколько помню разговоров с капитанами — а разговоры эти начались свыше трех десятков лет назад, когда две навигации довелось мне ходить на теплоходе по Енисею в составе команды, — сколько помню, всегда для капитана и штурмана высшей

похвалой было: знает не то что каждый мыс, а каждый камешек на том мысу. А тут — "к сожалению"!

— Будем откровенны, — продолжил капитан. — Темп жизни ускорился. Сейчас мне тридцать четыре. Капитаном я стал в тридцать лет. Это обычно, это заурядно. Прежде становились капитанами в сорок, сорок пять, даже позднее. Видимо, возраст имеет свои законы. Вот, запоминаешь кустики, к тридцати уже запомнил...

Я слушал капитана со смешанным чувством. С детства сидит во мне крайне уважительное отношение к капитанской профессии, так сказать, в традиционном ее понимании. Но, может, теперь уже не видят в капитанстве потолка речной жизни?

Хотел вставить что-то о перспективах работы на флоте. Что-нибудь вроде: "Сейчас — "Красногвардеец", потом новое судно, большее, новая техника". Но, черт возьми, "Красногвардеец" и так достаточно большой теплоход, на нем и эхолот, и радиолокатор, все как быть полагается.

— А не думаете продолжать образование? Перспектив больше.

— Да? Я тоже так полагаю. Поэтому и окончил институт инженеров водного транспорта. Заочно.

— Вот как! Так вы инженер-судоводитель?

— Инженер-экономист.

— Экономист?

— А почему вас это удивляет? Возьмите наших капитанов. Высшее образование теперь у многих. Инженеры-судоводители. В Северо-Западном речном пароходстве — подчеркиваю, речном! — есть ребята, получившие даже диплом морского капитана дальнего плавания. И все же... Капитан — это хорошо, но мало. Разве я единственный судоводитель с образованием экономиста? Из моих сверстников уже седьмой на диплом выходит. И тоже заочно. Возможности другие,



когда ты еще и экономист. Не подумайте, что хвастаюсь, но вымпел победителя в соревновании — у нас, на "Красногвардейце". Реформа требует большего, чем знание каждого кустика. Думаю, что совмещение в одном лице капитана и дипломированного экономиста не менее важно, чем распространенное теперь совмещение профессий капитана и механика. И в чем-то перспективнее. Институт дает знание экономики по довольно широкому профилю. Я инженер-экономист водного, следовательно, речного и морского транспорта. А для Волги морской транзит — сегодняшняя реальность. Прошлый год после конца волжской навигации пошел для практики в море на "Балтийском-27". Может, встречали? Это типа "река — море". Вот на таком и ходил. Правда, не капитаном, вторым штурманом.

— Ну да, у вас же практика: Ладога, Онежское... Близко к морской.

— Да... Но дело не в озерной практике. Я после института поступил в Ленинградское мореходное училище. Сдам государственные экзамены, буду дипломированным морским штурманом.

— А-а! Глядишь, через год-два и в заграничье, в чужие моря...

— Почему через год-два? Побывал на "Балтийском" в Италии, в Югославии. Какой коллизей в Пуле!

— А как с языковым барьером?

— С английским не пропадешь. Шекспира в подлиннике не читаю, но без переводчика обхожусь.

...Я провел на "Красногвардейце" три дня, постоял с капитаном Грязновым на ночных беспокойных вахтах. Думаете, он баловень судьбы? Мальчуганом перенес ленинградскую блокаду, пошел на флот, ходил первые годы на старых суденышках, где в топку бросали сырые поленья, недоедал, недосыпал, учился, стал вторым помощником капитана, капитаном. Мало ему! Диплом

инженера в кармане — мало! Вот-вот будет у него диплом штурмана дальнего плавания. Остановится на этом? Не уверен.

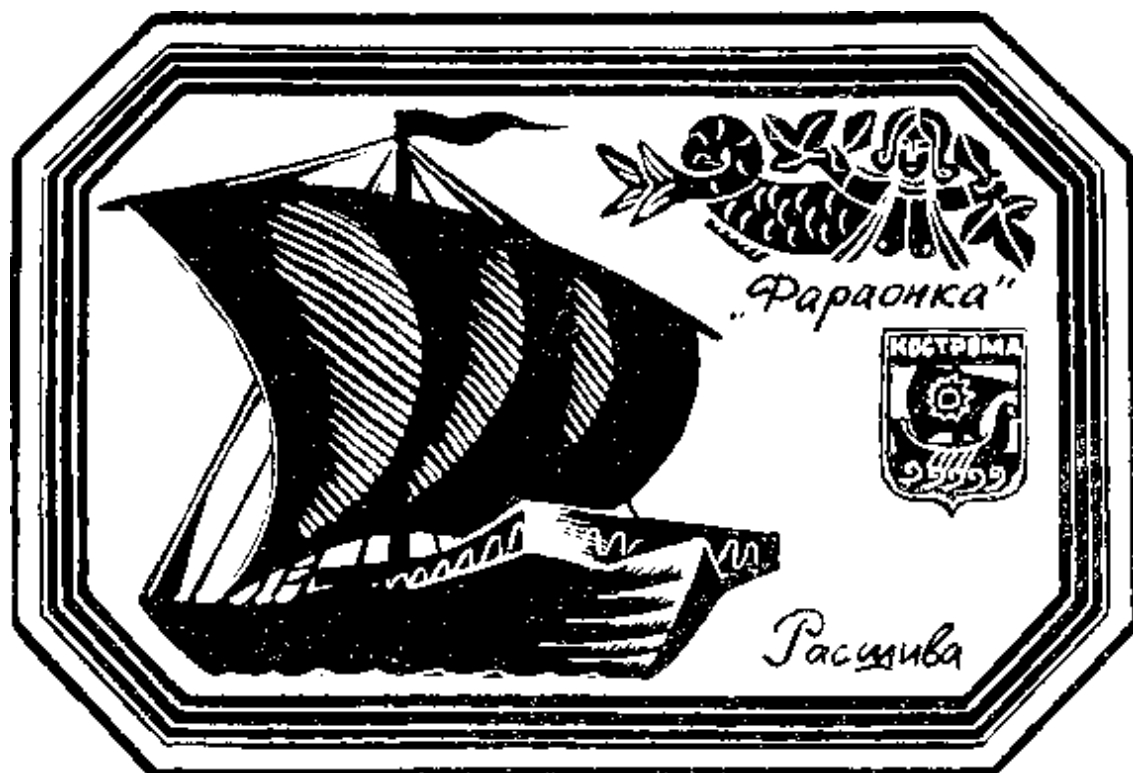
Что же осталось мне досказать о дороге с Волги на Балтику? Онежским озером, Свирью начались места хоженные, известные и от Волги достаточно далекие. Мы вышли в Ладогу. Пресноводное наше море как бы притаилось перед штормом. Густо-синие тучи висели над горизонтом, а вода приняла тот особый цвет, который позволяет военным кораблям сливаться с поверхностью северных морей.

Утром была Нева. На островке у невского истока поднимались развалины стен Петрокрепости. Царизм запятнал ее имя, сделав тюрьмой. В Отечественную войну небольшой гарнизон смыл это пятно. Отец капитана Грязнова был здесь командиром орудия. Выдержав шестнадцатимесячную осаду в стенах, разбитых бомбами и снарядами, храбрецы вернули крепости боевую славу, которая шла еще от защитников древнего Орешка, построенного на островке новгородцами.

Павильон речного вокзала "Петрокрепость" возле одетого в розовый гранит устья старых петровских каналов сверкал идеально прозрачными зеркальными стеклами, и вокруг была чистота военного порта, чуждая маленькой волжской пристани с некоторой ее домашней безалаберностью.

Нева крутила воронки. "Красногвардеец", подхваченный мощным течением, обрел юношескую резвость — и, промчавшись мимо памятного "Холма Славы" у Ивановских порогов, мы с разлета причалили к ленинградской земле неподалеку от Володарского моста, куда уже, кажется, доносится шум балтийской волны.

## На "золотом кольце" и возле него



*О "фараонках", резьбе, утраченных памятниках. — "Бурлацкая столица" и электроника. — Когда "Клермонт" шел первым рейсом... — Не только натура для "Ревизора"! — Ярославль-городок — Москвы уголок. — "Да, только здесь могу я быть поэтом!"*

Теперь с берегов Невы — снова к волжской столице.

Между Горьким и Рыбинским морем, откуда на запад уходит Волго-Балтийский путь, великая река пересекает древние русские земли. Здесь города ровесники Москвы, а есть и постарше. Подле их обомшелых стен в жестоких сечах звенели мечи былинных героев.

Врожденный вкус, одаренность, мастеровитость русского человека ярко выявились на берегах Верхней

Волги и в возведении храмов, и в дивной их росписи, и в народных художественных ремеслах.

...Когда возле Городца, первой большой пристани по дороге из Горького к Рыбинскому морю и к Москве, сооружалась гидростанция, мало кого интересовала деревянная городецкая резьба, "фараонки", пряничные доски. Стройка, которая должна была дать Волге третье море, заслоняла все остальное. Писали о водосливной плотине, о шлюзах, о заводах железобетонных плит, о миллионах кубометров грунта. Писали о Заволжье, новом городке гидростроителей на правом берегу реки. Лишь мимоходом в путеводителях упоминалось: миновав стройку Горьковской ГЭС, теплоход подходит к пристани Городца, одного из древнейших поселений Поволжья, где раньше занимались постройкой деревянных барж, а последнее время строят железобетонные дебаркадеры.

Теперь в Городец едут смотреть резьбу. Гидростанций у нас много. Горьковская не самая крупная из волжских, и уж, конечно, далеко ей до Братской или Красноярской. К гидростанциям, даже великим, мы привыкаем, если уже не привыкли. Создавая колоссы с техническим размахом и блеском века, одновременно сильнее ощущаем тягу к родной старине, все бережнее относимся к оставшимся ее бесценным памятникам.

Люди старшего поколения часто слышат:

— Ну как это могло случиться? Жечь иконы? Разрушать старинные церкви!

Справедливые упреки! Но вспомним, когда летели в печку иконы. Почти всегда это было ответом на чуждые и враждебные народу действия церкви. Так, мстя за зверства святой инквизиции, толпы простолюдинов разнесли в свое время множество католических церквей и монастырей Европы, уничтожив собранные в них сокровища искусства.

Когда патриарх всея Руси Тихон во время голода 1921 года поднял бунт против того, чтобы отдать народное народу, против того, чтобы часть церковных ценностей пошла на закупку хлеба, — легко ли было отделить в сознании икону древнего письма от попа, прячущего золотые чаши, кресты и серебряные иконные оклады в яму на огороде? В жестоком ответном запале, в остервенении, иногда, может, от желания "выместить злобу", многое было тогда зря разрушено и уничтожено. Сожалея об утраченных памятниках вместе с искусствоведом, читающим лекцию о русском церковном зодчестве, не будем забывать о крутых поворотах истории.

Увы, некоторые памятники стали позднее жертвой невежества деяг, людей, не знавших и не понимавших отечественной истории, примитивно полагавших, что, сокрушая купола древних церквей и списывая иконы на дрова, они борются с религией...

А теперь в Городец.

Зеленый высокий яр прорезан оврагами, но не безобразно расползающимися, а давно остановленными, обсаженными деревьями. По этим оврагам — живописные съезды к Волге. Поднимешься от пристани — ну что за прелесть наверху! Пряничные, сказочно узорчатые домики не упрятаны в заповедник, а просто стоят себе на улицах. Глаза разбегаются!

Резные наличники, карнизы, причелины и прочие "архитектурные излишества" не просто украшают жилье. Они как бы подтягивают весь облик улицы. Старая часть города нарядна и радостна. Красота плохо уживается с грязью. Нельзя, наверное, любовно украшать дом белым деревянным кружевом наличников и не мести улицу, мириться с покосившимся забором, с лужей под окнами.

Городец — не только дерево. Здесь и железо удивительное, есть старинные крыльца с витыми

железными колоннами, с замысловатыми узорами.

Истоки резьбы и литья — в городецкой древности.

Машинально читаешь на перекрестках: "ул. А. Невского", "ул. А. Рублева"... Пойдите, так ведь Александр Невский не раз наезжал в Городец и встретил свой смертный час за оградой здешнего Федоровского монастыря! Рублев же, великий Андрей Рублев, вот как помянут в записи о живописцах собора Благовещения в Московском Кремле: "А мастера бяху Феофан иконик Гречин да Прохор старец с Городца да чернец Андрей Рублев". Названный после Феофана Грека городецкий старец Прохор был учителем, а позднее помощником Рублева. "Успение" и "Вознесение" в кремлевском соборе — его работа.

Федоровский монастырь, где умер Невский и писал иконы старец Прохор, к сожалению, не уберегли. Осталось кое-что, но так мало, что и реставрировать в сущности нечего.

Изображение же монастыря сохранилось. Писано оно псаломщиком села Лисья Поляна Вуколом Федоровским. В городецкой округе художниками были не только псаломщики, но и крепостные крестьяне, бурлаки, плотники. Городецкий житель Токарев-Казарин зарабатывал на хлеб сапожным ремеслом, а по ночам мастерил резную горку; ее берегут теперь, как сокровище искусства.

— Здесь исстари умели украшать быт, состязались у кого дом наряднее, привлекательнее. Не просто пекли пряники, но делали формы для теста столь диковинные, с такой буйной фантазией, что стал городецкий пряник ходким приманчивым товаром, купцы развозили его с Нижегородской ярмарки по всей матушке-Руси, закупали для Тегерана и Стамбула. Были пряничные доски-формы с вырезанными парходами, у которых из всех труб дым валит, и волны вокруг; а на других — колесницы,

павлины, паровозы и еще надписи: "Дарю Зине", "Дарю Мане".

Ну, ладно, пряники — дело торговое. Но вот обыкновенный валёк, каким до изобретения стиральных досок и стиральных машин прачки колотили мокрое белье. Вещь бытовая, не напоказ. И все же Городецкий умелец покрыл верхнюю его сторону резьбой, резьбу раскрасил, а ручку сделал в виде человеческой руки с пальцами, сжатыми в кулак. Ткацкие станки тоже покрыты резьбой. О дугах и говорить нечего — вещь заметная, как можно не изукрасить ее всю и росписью и резьбой: пусть добрые люди любят!

Городецкая глухая резьба — трудоемкое искусство деревянного барельефа. Сюжеты резчики брали разные. Часто изображалась, например, "фараонка" — фантастическая полуженщина-полурыба, речное божество с чешуйчатым туловищем и причудливо закрученным хвостом. Но фризы с "фараонкой" теперь редкость. Глухая резьба с годами была заменена прорезной, когда рисунок выпиливался по трафарету на гладкой доске. Это проще, быстрее.

Роспись в Городце своеобразная, не похожая, скажем, на хохломскую: другие краски, другой орнамент. Одно время дело это совсем замерло, захирело, потом здешние мастера снова взялись за кисти. Особенную известность получила городецкая роспись после международной выставки в Монреале. Понадобились восторги в Канаде, чтобы подтолкнуть кое-кого на Волге.

Расписанные Городецкими мастерами изделия стали модным товаром в магазинах сувениров. В местном музее жалуются:

— Мы просили для экспозиций. Дали остатки, что поплоче. Лучшее все пошло за границу. Спрос, говорят, очень большой.

Так-то вот!

Но кажется мне, что возрождена роспись не без утрат. Сейчас пишут ярко, декоративно, броско, однако все же скучновато в сравнении со старыми работами. Вон прежний мастер Игнатий Мазин изобразил пролетку с неким усатым господином в фуражке с кокардой, весьма грудастую особу, да еще с собаченцией — и все, включая пса, так наивно, уморительно важны... А кони! Грива — как борода ассирийского царя. Я бы сказал, что у Мазина — чудесное простодушие Пиросманашвили, которого не заметишь в нынешней городецкой росписи. В ней больше профессионализма, но, насколько можно судить, дело до сюжета теперь доходит редко, обходятся обычно орнаментом.

В музее Городца выставлены колодки: деревянные коньки с железным полозом. Они привязывались к сапогам или валенкам. Я катался в детстве на таких и был уверен, что их изобрели у нас в послереволюционные годы от бедности. Потом прочитал "Серебряные коньки": нет, и в Голландии были колодки. Недавно побывав в Амстердаме, видел там целую коллекцию "деревяшек".

Дорого дали бы голландские коллекционеры за Городецкие коньки! Их железный полоз загнут высоко вверх, завит спиралью и заканчивается чем-то вроде четырехрогого якоря. На деревянной части недреманное синее око, нарисованное впереди, должно, наверное, замечать все трещины на льду...

Меня поразило в городецких коллекциях изображение Куликовской битвы. На желтоватом пергаментном поле — множество фигур в стиле старинной миниатюры. А ниже — текст, славянская вязь, повествование о жестокой битве. Тысячи и тысячи букв от руки.

Но чья это работа? Какого века?

Внизу было выведено: "Сия картина и текст писаны крестьянином деревни Будашихи Иваном Гавриловым



Блиновым".

Блинов оказался нашим современником. Он умер во время войны. Крестьянин из Будашихи, увлекшись чтением рукописных книг, перенял искусство древних писцов и миниатюристов: он научился писать так называемым полууставом. Блинов был последним книжным писцом в век линотипов и ротаций.

В Городце у волжского берега — ров и защитный мощный вал. Строители, приехав соорудить гидростанцию, привычно пересчитали его на кубометры: четверть миллиона, не меньше. Насыпали же вал в XII веке. Землю носили в деревянных бадейках, а то и в шапках да бабьих подолах.

Ровесник Москвы, Городец знал беспощадность полчищ Батая, разъедающую междоусобицу удельных князей, его не раз разоряли до нитки и выжигали дотла. Но сильные, цепкие люди возвращались на пепелища, отстраивались, засевали пашни, ладили струги, а позднее расшивы. И уже тогда дивилась Волга, как затейливо украшали в Городце свои суденышки, пользуясь лишь топором и долотом.

Я был на городецком валу в ветреный, хмурый день. Сосны с узловатыми ветвями, вцепившиеся в непрочный песок крутых склонов, шумели глухо и сердито. Волгу кудрявили белые барашки. Грузовой теплоход торопился к шлюзу. Он шел на Ярославль той же дорогой, что служила Городецким торговым людям для связи с волжскими верховьями.

\* \* \*

Городец остался за пределами "золотого кольца", которому в ближайшие годы суждено стать, вероятно, одним из самых любимых историко-патриотических туристских маршрутов страны. Это маршрут по

заповедникам живой русской старины, сохранившим чудесные памятники архитектуры, по местам исконных народных промыслов.

"Золотое кольцо" проложено там, где с незапамятных времен пыльные дороги связывали города древней Руси: Загорск, Переславль-Залесский, Ростов, Владимир, Суздаль.

На севере "золотое кольцо" выходит к Волге. Здесь в нем две жемчужины первой величины, Ярославль и Кострома, возведенные в ранг "центров туризма", и ряд жемчужин поменьше: Углич, Мышкин, Тутаев, Рыбинск, Плес...

Под Ярославлем, под Костромой на волжских берегах Русь густо селилась издавна. Едва ли найдешь излучину без городов или деревень. Часто село смотрит через реку на село. И застраивались по берегам не просто деревни или купеческие посадки, но и поселки, где предприимчивые ярославцы, сверх ремесел и торговли, замахивались на фабрички, на заводы.

Пахарь становился рабочим. Шел в Норское, где почти девять десятилетий назад построили фарфоровый завод, шел на мануфактуру, действовавшую с 1858 года, занимался в Константиновское на нефтеперегонное предприятие, одно из старейших в стране.

Села своими пятиглавыми церквями и столповыми колокольнями как бы хотели сказать: "И мы Ярославлю родня, ярославские мы, древние, исконные". Впрочем, и нефтеперерабатывающий завод в Константиновском тоже в родстве с Ярославлем. Правда, на этот раз старшинство не за городом. Химия как бы пришла в Ярославль со старого константиновского завода, помнящего еще седую львиную гриву Дмитрия Ивановича Менделеева: великий ученый ставил там важные опыты.

Рыбинск, Ярославль, Кострома — три верхневолжских города-соседа. Загляните в

справочники: рост индустриальной продукции по сравнению с дореволюционной где в десятки, а где и в сотни раз. Скачок не только количественный, но и качественный, другая структура населения, новая слава.

Вот три неполных справки, вряд ли нуждающиеся в подробных пояснениях.

Ярославль, бывший "маслобой и текстильщик". Здесь получен первый в мире промышленный синтетический каучук. В городе работают крупнейший в Европе шинный завод, самый крупный в стране завод дизельных агрегатов, гигантский нефтеперерабатывающий завод. Другие предприятия выпускают резино-технические изделия, электровибраторы, холодильные машины, технические ткани, машины для предприятий большой химии и многое другое.

Кострома в прошлом славилась полотнами да кожами. Теперь здесь крупнейший в мире по количеству веретен льнопрядильный комбинат, несколько других комбинатов и фабрик текстильной промышленности, заводы, оснащенные оборудованием ткацкие и прядильные фабрики страны, выпускающие экскаваторы, шаровые мельницы, дробилки и т. д. А неподалеку от Костромы — крупнейшая в мире тепловая электростанция.

Рыбинск, бывшая "бурлацкая столица". Здесь была создана первая советская печатная машина, а недавно впервые в стране собраны на плаву из двух частей огромные теплоходы типа "река — море". Рыбинский судостроительный завод спускает со стапелей также танкеры, плавучие краны и толкачи для работы в шлюзах: теперь в орбите Большой Волги их так много, что без специального флота не обойтись. Рыбинский завод полиграфического машиностроения дает не только нашей стране, но и другим странам гигантские газетные агрегаты, удостоенные золотой медали на всемирной выставке. На местный знаменитый

моторостроительный завод съезжаются отовсюду, чтобы изучать опыт научной организации труда. В бывшей "бурлацкой столице" работают кабельный завод, заводы гидромеханизации, дорожных машин, пластмасс, электротехнический, выпускающий, в частности детали для электронно-вычислительных машин.

Как же не гордиться всем этим!

Однако не все нынешние заводы выросли на пустом месте. Ярославский комбинат "Красный Перекоп" куда старше "Красного Сормова": он пошел от петровских времен, от Большой Ярославской мануфактуры. Костромскому льноткачеству больше двух столетий, и здесь выделяли лучшую для своего времени ткань. За границей она ценилась так высоко, что некоторые иностранные фирмы ставили на свои полотна фальшивое русское клеймо. Сохранилось и такое свидетельство: англичане скупали на верхневолжских мануфактурах "знатное количество столового белья" и перепродавали его гораздо дороже под видом английского не только в городах Европы, но также в Москве и Петербурге.

Рисую картины жизни приволжского губернского, а тем более уездного города, скажем, в середине прошлого столетия, мы невольно соотносим их с тем, что видим в этом городе сегодня.

Сегодня — мощнейшие заводы, благоустроенные микрорайоны, проспекты, асфальт, дворцы культуры, широкоэкранные кинотеатры, институты. В прошлом — кустарные заводики, темнота, провинциальное мещанство, лужи у присутственных мест, тряская булыжная мостовая на главной, Дворянской или Воскресенской улице, тусклые керосиновые фонари и вообще черт знает что.

Но не утрачивается ли при подобных сравнениях подлинное ощущение истории?

Керосиновые фонари и лужи были в Париже и Лондоне. У Диккенса в его "Американских записках" есть описание Нью-Йорка сороковых годов прошлого века. Он говорит о свиньях на Бродвее: за экипажем бегут две дородные хавроньи, а избранная компания, с полдюжины хряков, только что завернула за угол. Вот, наверное, подходящие мерки при оценке культуры, благоустройства, благолепия Ярославля или Костромы сто — сто пятьдесят лет назад.

И окажется, что вовсе не столь захолустным был приволжский провинциальный город, что есть в нем разумная, со вкусом и размахом планировка, что жили в нем коллекционеры картин и мудрые педагоги, что среди местных церквей были великолепнейшие образцы архитектуры, что в ином провинциальном листке гражданственности было больше, чем в заполненном рекламой, сплетнями и описанием сенсационных преступлений сегодняшней бульварной газете на Западе.

Трудно без улыбки читать рассказы о том, как по Волге пошли первые неуклюжие пароходы. Дым, валивший из их труб, пугал бурлаков и крестьян приволжских деревень. Поползли слухи, будто "чертовы расшивы" движет нечистая сила, которая сидит там внутри и, должно быть, тоже устает с натуги, потому что "дышит очень сильно, не по-людски, да и не по-воловыи, а как-то по-своему, больно громко и через трубу". Кое-где служили молебны с водосвятием, чтобы очистить опоганенную дьявольскими судами волжскую водицу. В одной деревне жители, завидев "посудину с печкой", в страхе покинули дома и попрятались на гумнах.

Дичь, невежество? Да, разумеется.

Но как было с Робертом Фультоном?

Когда его "Клермонт" отправился в первый рейс из Нью-Йорка в Олбани, то, несмотря на рекламу, в

огромном городе не нашлось ни одного смельчака, который отважился бы стать пассажиром "огненной лодки". Ни одного! А на встречных парусных судах, как писали нью-йоркские газеты, матросы бросали руль, и команда вместе с капитаном в ужасе пряталась под палубу. Некоторые на коленях умоляли всевышнего защитить их от огненного дракона. Были случаи, когда люди, напуганные искрами, летевшими из трубы "Клермонта", прыгали с лодок в воду, ища там спасения.

Это происходило в Америке, причем в годы просвещенного президента Томаса Джефферсона, автора Декларации независимости, врага рабства, сторонника отделения церкви от государства! И не заставляет ли поведение американцев во время плавания "Клермонта" иными глазами, более снисходительно, с большим пониманием исторической обстановки взглянуть на волжских суеверных бурлаков и неграмотных крестьян? Кстати, один из первых волжских пароходов бесстрашно и успешно водил крепостной Николай Беспалов...

Когда в Костроме впервые ставили "Грозу" Островского, актеры гримировались под хорошо известных зрителям местных купцов Клыковых: события, развертывавшиеся на сцене, были схожи с трагедией, произошедшей в этой семье.

Кострома дала натуру для съемок фильма "Ревизор": старая монастырская трапезная была снята как богоугодное заведение Земляники, деревянный дом прошлого века отлично сошел за особняк городничего.

В костромском Ипатьевском монастыре — палаты бояр Романовых, ведущих начало от боярина Андрея Кобылы, и там на печных изразцах изображен винный бочонок с изречением, особенно нравившимся владельцам: "Был бы ром, а то что толку в нем".

Однако определяют ли подобные штрихи облик Костромы давних лет? Они, конечно, колоритны, легко

зацепляются в памяти. Но ведь старая Кострома — это и подвиг Сусанина. Это первые революционные выступления рабочих фабрики Михина: они произошли почти век назад. Кроме трапезной, пригодной для съемок "Ревизора", Кострома сохранила великолепные архитектурные ансамбли: знатоки относят их к сокровищам русского зодчества.

Более того — та же Кострома, вернее, весь ее центр, представляет образец разумной планировки. Ее целью было, как говорят архитекторы, "раскрытие" города к Волге. Эту планировку, при которой главная ось веерообразной уличной сети проектировалась перпендикулярно волжской набережной, задумали еще в 1775 году! Задумали — и осуществили.

Наверное, и сегодня приезжий, впервые увидев Кострому, согласится с Островским, сделавшим сто двадцать лет назад запись в дневнике: "Площадь, на которой находится гостиница, где мы остановились, великолепна... Прямо — широкий съезд на Волгу, по сторонам площади — прекрасно устроенный гостиный двор и потом во все направления прямые улицы. Подле собора общественный сад, продолжение которого составляет узенький бульвар, далеко протянутый к Волге по нарочно устроенной для того насыпи. На конце этого бульвара сделана беседка. Вид из этой беседки вниз и вверх по Волге такой, какого мы еще не видели до сих пор".

Беседка на прежнем месте — ее называют теперь беседкой Островского. Уцелели и сад, и гостиный двор, и гостиница, где останавливался писатель, и бульвар, и великолепная площадь. Ничто не испорчено неумелыми переделками.

Каждый раз, бывая в Костроме, я обхожу этот удивительно своеобразный ансамбль, который можно назвать исполненным в камне гимном русскому классицизму. Пожарная каланча — на что уж, казалось

бы, скучное прозаическое сооружение, но в Костроме ее стройный восьмигранник по-настоящему украшает площадь. Здесь гауптвахта стала памятником архитектуры не только потому, что ей около полутора столетия лет, но и потому, что ее колоннада, лепной декор и кованые железные фонари делают здание привлекательным, нарядным, совершенным.

Гостиный двор — Красные торговые ряды, Пряничные, Мучные, Табачные, Квасные, Рыбные, Масляные ряды, целый продовольственный универсам начала прошлого века, построены по хорошо продуманному плану. Их каменные корпуса, галереи с интересными аркадами и сегодня смотрятся куда лучше, нежели пестрая, хаотичная застройка некоторых торговых площадей, оформившихся по крайней мере веком позже, где каждый из кое-как сляпанных ларьков и павильончиков — сам по себе.

Завершают ансамбль нынешней площади Революции "Дом Борщева" и так называемое здание присутственных мест. Разве все эти образчики высокой строительной культуры не заставляют внести общие поправки в представление о провинциальном русском городе, которое мы в журналистском азарте иногда создаем в качестве более контрастного фона при сравнении с современностью?

В 1955 году я впервые увидел Скансен, знаменитый стокгольмский музей под открытым небом. С шумных улиц столицы попадаешь в шведскую деревню прошлого века, где ветряная мельница размахнула крылья над пригорком, ветхий сарай, словно конфузясь своей бедностью, спрятался в тень бука, а возле странных ульев, сделанных из соломы, жужжат пчелы. Тут же сельская колокольня, хижины лесорубов и смолокуров, барская усадьба, чум кочевника — саами с крайнего севера Швеции...



Подобный музей народного зодчества хотели создать и у нас еще в первые послереволюционные годы, при жизни Владимира Ильича Ленина. Для музея даже отвели место — бывшее имение великого князя в Стрельне. Известный географ Бениамин Петрович Семенов-Тянь-Шанский собрал первые экспонаты. Потом гражданская война, голод, разруха надолго заглушили полезное дело.

Сегодня в Костроме — один из многих наших Скансенов. Пусть он не столь богат, как существующий уже много десятилетий и давно получивший мировую известность музей шведской столицы. Первый деревенский дом появился во дворе Ипатьевского монастыря всего полтора десятка лет назад. Сам монастырь, его стены и башни, его соборы, расписанные чудесными фресками, уже заслуживает того, чтобы только ради них посетить Кострому. А тут еще встречи с прошлым нашей северной деревни!

В Скансене интересное, но чужое. Здесь — свое, российское. Когда я зашел в бревенчатый, с маленькими оконцами дом крестьян Ершовых, увидел деревянную ступу, плетенные из лыка пестерки, самопряку, огромную русскую печь, туеса из бересты, просторные полаты на балках-воронцах, на меня будто пахнуло духом старой, смутно памятной сибирской деревни. Наверное, в Сибирь все это пришло еще с первыми землепроходцами, осевшими на берегах студеных рек, бросивших зерна на отвоеванную у тайги пашню.

И уверяю вас, сельская церковь Собора Богородицы, построенная еще при Иване Грозном, как раз в год падения Казанского ханства, могла бы стать жемчужиной того же Скансена, а бани на сваях или мельница-толчея не менее интересные памятники северного деревянного зодчества, чем, скажем, конюшни возле церкви на берегу шведского озера Сильян, куда возят иностранных туристов.

Я прочел давно, не помню уже, где именно, поразившую меня фразу: памятниками истории и искусства Ярославль почти столь же богат, как Флоренция. Подумал, что автор все же хватил через край в порыве местного патриотизма. Может быть, сравнение показалось мне несколько притянутым потому, что я знавал Ярославль еще в ту пору, когда надписи о том, что такой-то памятник охраняется государством, в иных случаях лишь спасали его от окончательного разрушения, начатого пожаром и снарядами во время белогвардейского мятежа. В трудные годы восстанавливали самое необходимое. Настоящей, широкой реставрации помешала война. Потом в строительных лесах оказалась почти вся старая часть Ярославля, и постепенно он стал почти таким же магнитом для туристов, как Суздаль или Владимир.

Наверное, десятки раз я видел город с Волги, с палубы парохода, и обычно приезжал, сюда либо весной, либо в чудесное время, когда и набережная, и бульвары, и улицы Ярославля пахнут цветущей повсюду липой. А тут случилось по-другому: поезд и осень.

Была прохладная ночь. Город уже засыпал понемногу. После дорожного шума и фантастических огней исполинских заводов, которые полыхали за окном вагона на подходе к Ярославлю, улицы казались подачному тихими и уютными. Столетние липы набережной шелестели уже огрубевшей листвой. Тесно прижавшись, парочки сидели на холодных скамейках. В приречную часть не доносился гул трамваев и автобусов. Силуэты древних церквей смутно рисовались в звездном небе. И на Волге не было уже летнего оживления, одинокий грузовой теплоход, минуя Ярославль, направлялся к Рыбинскому морю.

Дебаркадер, превращенный в плавучую гостиницу, почти пустовал. Мне дали запасное одеяло: бюро

прогнозов предупредило ярославцев, что на почве возможны заморозки.

Я проснулся от мягкого толчка: к дебаркадеру причалил туристский трехпалубный "Л. Доватор", идущий одним из последних рейсов сезона. Тотчас на берег повалила толпа. Зеленый не по-осеннему, не выжженный за лето северным солнцем склон набережной блестел каплями росы или, быть может, растаявшими кристалликами инея. День обещал быть прозрачным и солнечным.

Если бы всегда можно было встречаться с городом впервые, либо после разлуки в такие вот дни. Вспомните, как не повезло Чехову, через Ярославль ехавшему на Сахалин: "В Ярославле лупил такой дождь, что пришлось облечься в кожаный хитон. Первое впечатление от Волги было отравлено дождем, заплаканными окнами каюты и мокрым носом Гурлянда, который вышел на вокзал встретить меня. Во время дождя Ярославль кажется похожим на Звенигород, а его церкви напоминают о Перервинском монастыре; много безграмотных вывесок, грязно, по мостовой ходят галки с большими головами".

Я пошел к церкви Ильи Пророка, но не напрямик, а зигзагами, из улицы в улицу, потому что каждая из них зазывала то абрисом древнего храма, то удивительно пропорциональным зданием, оставленным, как и в Костроме, давними годами русского классицизма, то воротами необыкновенной формы, то старым жилым домом с башенкой и длинными, узкими окнами первого этажа.

И в Ярославле планировка раскрыла веер улиц от приволжских площадей. В уличные просветы виднелись Знаменская надвратная башня, колокольня, белая стена Спасского монастыря с Углицкой башней. Пройдешь на соседнюю — и снова башня, а в другом конце купола собора или аркада торговых рядов. С Октябрьской, с

Кирова, с Делегатской виден Илья Пророк. Не было ни одной улицы банальной, серой, невыразительной, такой, чтобы на ней вовсе не оказалось интересных зданий. Все это в чудесное осеннее утро создавало ощущение праздничного подъема от встречи с действительно прекрасным, достойным долгой жизни.

Шестнадцатый и семнадцатый века то и дело напоминали о себе, о том, что уже тогда жили в Ярославле люди с тонким вкусом художников. Восемнадцатый век сложил планировку, придал Ярославлю облик русского губернского города присутственными местами, большими площадями. Деятнадцатый завершил его внешнюю отделку, оставив после себя уже не только дворянские хоромы, но и купеческие особняки, торговые заведения.

Сегодняшний Ярославль — мощный индустриальный центр Верхней Волги. Кококольные церкви покажутся вросшими в землю рядом с трубами его промышленных исполинов. Но как благодарны мы тем, кто сберег нам среди кварталов современного большого города живую память о прошлом!

Ярославль-городок — Москвы уголок.

Давно сложили эту поговорку. У наших прапрадедов могла появиться и другая, о Москве — уголке Ярославле: город на Волге старше столицы.

В Ярославле действительно что ни шаг — история. Шагать лучше всего от знаменитой Стрелки, где Волга принимала Которосль.

Отсюда пошел город.

И сразу легенда: возле соседнего оврага было селение угро-финского племени меря. Ярослав Мудрый, княживший в Ростове Великом, покорила язычников. Но когда задумал крестить их, те выпустили на князя псов и "лютого зверя из клетки". Князь прикончил зверя ударом секиры и велел на этом месте заложить город.

Но почему на городском гербе медведь с секирой? Не пораженный секирой, а, напротив, шагающий с нею на плече. Правда, мирно шагающий, как косарь с косой или каменщик с лопатой.

Тут, возможно, не в подвиге Ярослава дело. Культ медведя на Верхней Волге насчитывает не одно тысячелетие. Медведь изображен уже на каменном топоре нашего верхневолжского пращура.

В "Большой Государственной книге" — это 1672 год — медведь на гербе града Ярославля какой-то странный, согбенный, ссутулившийся, он опирается на нечто, больше напоминающее копье, нежели секиру. А в 1777 году, на гербе Ярославского наместничества, косолапый уже выпрямился и взял секиру.

С Ярославом Мудрым тоже некоторые неувязки. Есть Ярослав, изваянный Антокольским, — этот, веришь, сразит медведя. Широкие плечи, пронизательные глаза, лицо человека властного, может быть, даже жестокого. Создавая своего Ярослава, скульптор шел от легенд.

И есть Ярослав знаменитого нашего антрополога и скульптора Герасимова, восстановившего облик князя по его черепу. Объективная реальность подточила легенду. Герасимовский Ярослав скуласт, худ, может быть, даже хил. Разве такому посильны богатырские подвиги? Может, хитростью взял зверя — ведь недаром был прозван Мудрым?

Оба Ярослава — соседи, только один в залах Ярославского художественного музея, тогда как другой — в музейном отделе истории. Легенде нужен Ярослав Антокольского. Историческая достоверность — у Герасимова.

Под обрывом Стрелки — искусственно намытые пляжи, пустующие в осеннюю пору, и острова водного парка. А за Которослью приподнимается Тугова гора, где в жаркой сече многие ярославцы, первыми на Руси открыто поднявшиеся против монголо-татар, сложили

буйные головы. "Туга" на языке наших предков означала: скорбь, печаль. Битва на Туговой горе — это 1257 год. Через два года поднимется на захватчиков Новгород, через пять — Ростов, Владимир, Суздаль и снова Ярославль.

От Стрелки — две набережные, вдоль Волги и вдоль Которосли. На Которосль выходит стена древнего Спасского монастыря, среди старопечатных книг и рукописей которого был найден единственный список до той поры неизвестного шедевра древнерусской литературы — "Слово о полку Игореве". Над воротами, забранными толстой железной решеткой, — сторожевая башня. Ее набатный колокол сзывал горожан под защиту монастырских стен при очередном набеге польских интервентов. А вскоре здесь же, под монастырем, остановилось, накапливая силы, ополчение Минина и Пожарского. В Ярославле собрался "Совет всея земли", и город на некоторое время, до освобождения от интервентов Москвы, стал временной столицей государства. Ярославль-городок — Москвы уголок...

За мостом, за дамбой через Которосль, кирпичные корпуса Большой Ярославской мануфактуры — ордена Ленина комбината "Красный Перекоп", работница которого Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-космонавтом.

Что ни шаг — история. А если шагать от Стрелки по Волжской набережной, то и тут исторические воспоминания нахлынут на вас отовсюду. Белый массив Волжской башни почти навис над водой — не ее ли видим мы уже на старинной гравюре, где она как бы охраняет вход в город со стороны Волги?

Подле набережной древняя церковь Николая Надеина, иконостас которой сделан по рисунку Федора Волкова. Летом 1750 года полутемный амбар для хранения кож, где Волков дал представление драмы "Эсфирь", стал местом рождения первого русского

публичного театра. И как не сказать попутно, что и первый в России провинциальный журнал отпечатаала ярославская типография.

"Здесь помещался Ярославский Совет рабочих и солдатских депутатов..." — напоминает доска на одном из домов. Этот Совет взял власть в свои руки спустя всего два дня после победы Октября в Петрограде.

И наконец у той же набережной — памятник Некрасову. Поэт смотрит на Волгу. Осуществилась его мечта об углубленных наукой водах, о судах-гигантах, несчетной толпой бегущих по гладкой их равнине.

Был Московский тракт, теперь стал широчайший Московский проспект. Я не заметил, где он превратился в Московское шоссе. Полоса асфальта, прочерченная белым пунктиром, поднималась местами выше прежних улиц, и дома, отделенные где невысокой решеткой, где газоном, где кустарничком, робко поглядывали на нее из низины. За автовокзалом, немного в стороне от шоссе, — корпуса технологического института, уступившего свои здания в центре города молодому университету.

Дальше шоссе отделяло оставшуюся по левой стороне сельщину не просто от большой, но даже от огромной химии. Циклопические сооружения поднимались, сколько хватал глаз. И уже выкрикнул кондуктор "Четвертая проходная нефтеперегонного!", а завод все не кончался, и, казалось, он должен был поглотить и Карабиху.

Нет, немного не дотянулся, не поглотил. На ультрамариновом придорожном щите поворота русскими и латинскими буквами выведено название некрасовской усадьбы, Посередине деревенского квартала, где в палисадниках буйно цветут осенние "золотые шары", — ворота. Минуешь их — и большая химия тотчас утрачивает реальность.

На заросшем ряской пруду с зеленоватой водой женщина полощет белье и по-старинке колотит полотенца деревянным вальком. Тысячи грачей кружатся в странном воздушном танце над сжатым полем, похожие на подхваченные воздушными потоками хлопья сажи. Я не знаю частную жизнь птиц, быть может, это репетиция перед перелетом на юг, к теплу. Во всяком случае в этом кружении — предчувствие первых заморозков, ледка на лужах, голых мокрых ветвей... Предчувствие дней, в которые родились такие простые, памятные с детства некрасовские строки о поздней осени, улетевших грачах и несжатой полосе...

Странно, что я не замечал прежде в стороне от главных ворот усадьбы обелиска розоватого гранита. А на нем: "Потомственный дворянин Федор Алексеевич Некрасов, родился 28 февраля 1827 года, скончался 8 августа 1913 года". Брат поэта, почти на четыре десятилетия переживший его.

В усадьбе Некрасовых мне не дано было испытать того чувства волнения, того ощущения близости с ушедшим, какое охватывает, например, в последней квартире Пушкина.

А ведь во флигеле почти все так, как было при Некрасове. На стенах — его охотничьи ружья. Камин украшают чучела убитых им птиц. Стол привезен из петербургской квартиры поэта. Здесь кресло, в котором он сидел. Даже обои в гостиной такие же, как были при нем, и их история — отражение народной любви к поэту. Хранитель музея С. И. Великанова в свое время затратила массу времени и энергии, чтобы выяснить, какой они были расцветки. Потом начались поиски старых печатных форм. Наконец, работники Минской обойной фабрики из сэкономленного сырья напечатали эти уникальные для наших дней обои во внеурочное время, написав, что заказ оплате не подлежит, а



"является маленьким вкладом коллектива в восстановление музея славного певца земли русской".

Может быть, нет этого ощущения близости с прошлым потому, что барская усадьба екатерининских времен внутренне чужда музею поэта? Недостает чего-то очень некрасовского, и только некрасовского. Возможно, это некрасовское ушло в те времена, когда Карабиху постигла судьба многих усадеб, и прежде, чем стать музеем, чем только она не была: совхозом, детским домом, санаторием, домом отдыха...

Неуважение к памяти великого поэта? Не совсем так. Скорее обстоятельства, сделавшие Карабиху в канун революции заурядной помещичьей усадьбой, в которой почти выветрилась память о певце народного горя.

Но сначала об одной встрече.

На скамейке подле входа в музей — старичок с совершенно некрасовской бородкой. Реденькие волосы, худ, щеки впали, и если бы не загар, ну хоть сейчас пиши с него больного Некрасова времен "Последних песен". Уж не дальний ли родственник, какой-нибудь правнучатый племянник? Но неудобно спросить прямо...

— Скажите, пожалуйста, а не сохранилось ли место, именуемое, если не ошибаюсь, "бельвью"?

— А как же! Мимо флигеля по тропочке, там увидите огромную лиственницу, подле нее стенка кирпичная обрывается, скамейка поставлена. В том самом месте поставлена, где Николай Алексеевич сживать любил Вид оттуда превосходнейший.

Дальше — больше, слово за слово. Старичок — ходячая энциклопедия здешних мест. Все знает, все помнит. Тут кричат ему в открытое окно из музейной канцелярии:

— Виктор Михайлович, к телефону вас!

Осенний день тих, разговор слышен и на дворе. Старичка приглашают выступить в одной из ярославских школ.

— Не могу я в пятницу, дорогие мои. Уж обещал. Вот разве в понедельник.

Так кто же он? Рискую спросить прямо.

Виктор Михайлович Ковалев из тех, кто с 1947 года трудился над восстановлением музея. Нет, он не литературовед, не искусствовед.

— Вот эти камни своими руками укладывал. Деревья сажал. Одних берез около тысячи посадили, чтобы все было как при Николае Алексеевиче.

— Об этом и рассказываете ребятам?

— Нет, об этом мало. Ребята больше интересуются революцией.

Виктор Михайлович — ему 75 годков минуло — до революции работал токарем в Питере, на Охтенском пороховом заводе. В апреле 1917 года рабочие пошли встречать Ленина на Финляндский вокзал. Шли пешком, было далеко, опоздали. На следующий день ходили к дворцу Кшесинской. Потом молодой рабочий воевал против Юденича. Демобилизовавшись, поехал к отцу на Ярославщину. В 1924 году после смерти Владимира Ильича по ленинскому призыву вступил в партию. Был с тех пор на разных работах, а когда вышло решение восстанавливать музей, переехал в Карабиху, и с тех пор здесь, в маленьком домике под старой липой. Сейчас — персональный пенсионер.

— Куда же я отсюда? Как можно?

Вот от него-то я и услышал вещи, в общем, давно известные, но на этот раз окрашенные личным отношением.

— Почему, спрашивается, усадьбу с первых дней революции не взяли под охрану? Да потому, что тут от Николая Алексеевича уже не оставалось почти ничего вовсе. Еще Николай Алексеевич жив был, когда все имение перевел на брата. А тот — мужик хозяйственный, оборотистый. Портреты, может, видели? В музее висят рядышком, как раз в день передачи имения брата

обменялись ими — два, говорю, брата, а сходства даже в выражении лиц мало. Федор-то сразу шуровать начал, все перестраивать. Что не выгодно, деньгу не дает — долой! Винокурением очень интересовался, скот разводил. Копил, приумножал. Главный дом занял, Николай Алексеевич, приезжая, жил во флигеле. Когда в тринадцатом году Федор умер, говорят, семь миллионов у него было. Может, и прибавляют. А сын его Борис и вовсе помещиком стал. Ну, конечно, после революции реквизировали имение.

Может, в подробностях рассказа преувеличение, даже искажение. Но верно главное, объясняющее, почему Карабиха, во многом перестав быть некрасовской Карабихой, сразу после революции не попала под охрану государства, не стала предметом народного благоговения. И лишь с большим трудом ей почти возвращен прежний, давний облик, освобожденный от следов предпринимательства брата Федора.

Но разве некрасовские места — только Карабиха и ее окрестности? По меньшей мере это вся Ярославщина — Волга, негустые леса, заливные луга, песчаные косы бурлацкого бечевника, проселки, монастыри, охотничьи, излюбленные перелетной птицей болота...

"Всему начало здесь, в краю моем родном!.." И многие забывают, что родился Некрасов далеко от Волги, в бывшей Подольской губернии. С трех лет, с первых неясных воспоминаний — ярославская деревня Грешнево на бойкой дороге, по которой из Ярославля в Кострому катили тарантасы и помещичьи рыдваны, шли плотницкие артели, коробейники, странники, бродячая, нестроенная горемычная Русь. Потом Ярославль, гимназия, первые стихи, а летом снова Грешнево — лакеи, музыканты, борзые, самодур-отец и дырка в садовой ограде, через которую можно было убежать к деревенским ребятам.

Исследователи попытались сделать географическую привязку поэмы "Кому на Руси жить хорошо" к бывшей Ярославской губернии. Литературовед А. Попов пешком прошел возможные маршруты и обнаружил, что большинство мест, описанных в поэме, действительно существовало и существует. Нашлась деревня Босово, где "Яким Нагой живет...", нашлось Наготино, а в списке населенных мест Российской империи были обнаружены Горелово, Заплатино, Дырино, Несытово...

Оказалось, что в поэме названы фамилии местных помещиков и отражены некоторые действительные события, оставившие след в памяти ярославцев. Понятно, что опора на живые наблюдения в пределах края, где поэт провел тридцать один год из пятидесяти шести, позволила ему дать картину, типичную и для России.

Общеизвестно, что Карабиха, усадьба бывшего ярославского губернатора князя Голицына, была куплена Некрасовым не столько ради того, чтобы иметь место для отдыха и охоты, сколько из потребности хотя бы часть времени находиться в местах, питавших его поэзию. Он приезжал сюда из Петербурга каждое лето, именно здесь, в Карабихе, написаны "Мороз, Красный нос", "Русские женщины", "Дедушка", первая часть "Современников", "Орина, мать солдатская", "Каллистрат", "Возвращение"...

В сегодняшней Карабихе впечатляют не вещи, собранные в притемненных гардинами комнатах, а, скорее, история того, как удалось их разыскать и вернуть музею. В 1918 году из усадьбы наследников Федора Некрасова растеклись они по деревням, и сколько же времени отнимали у бессменного директора музея Анатолия Федоровича Тарасова поиски какого-нибудь стула, сколько людей бескорыстно и увлеченно помогали ему в таких поисках!

И особенно волнуют в Карабихе некрасовские строки. Известные строки, обретающие здесь новую силу. Строки из писем, в том числе из тех, которые брат Федор, опасаясь обыска, связал и забросил в необитаемое подполье дома — их нашли лишь много лет спустя. Это письма тяжело больного Некрасова. "Я крайне плох. Надежды жить нет. Могу протянуть несколько, а не то так и скоро..." Письма сестры Анны: "...он вскрикивает буквально через каждые двадцать минут, боль продолжается не долго, но за то нет ему покоя ни днем, ни ночью".

Это также строки о любимой реке, которую поэт не покинул, и, укрываясь здесь, возвращался в столицу "с запасом сил — и ворохом стихов". Строки о родной стороне с ее зеленой летней благодатью, где душа поэзией полна: "Да, только здесь могу я быть поэтом!" Строки из "Последних песен":

Усни, страдалец терпеливый!  
Свободной, гордой и счастливой  
Увидишь родину свою...

Уступит свету мрак упрямый,  
Услышишь песенку свою  
Над Волгой, над Окой, над Камой.

По неведению в парке был спилен старый кедр, под которым поэт когда-то прочел в кругу близких только что законченную поэму "Русские женщины". Сквозь старый пенёк, расщепив его, проросла молодая, сильная березка. А рядом — крохотный кедрик, заботливо огороженный: слишком еще мал, могут не заметить, сломать.

Кедры растут медленно. Лишь внуки и правнуки наши увидят его таким, что он будет казаться "тем

самым". Но подлинно "теми самими" есть, были и останутся выстраданные некрасовские строки.

## Казанские сказания



*Династии волгарей. — Там, где родилась легенда о Китеже. — Скоростная стройка времен Ивана Грозного. — Казань без Волги. — Казань с Волгой. — Соловьиная ночь. — С пометками цензора... — За строками хроники. — Осенью восемьдесят восьмого... — Встреча в мечети. — И еще хроника.*

От волжской столицы уходит к Каспию стародавняя водная дорога, к которой, может быть, особенно применимы поэтические строки Элизе Реклю о том, что реки, могучие работницы, несут в своих волнах не только воду и наносы, но также историю и жизнь народов.

...За Горьким вниз по реке — последняя волжская классика. Правый берег взметнулся было ввысь, продолжая размах гряды, на которой поставлен кремль. Потом уступил ненадолго место поросшей тальниками

низине и снова придвинулся к реке возвышенностью с красными глинистыми гребнями, с глубоко размытыми оврагами.

Из здешних прибрежных сел, из Безводного, Кадниц и Работков с бурлацких времен молодые парни шли не на пашню, а на Волгу. Именно здесь корни многих известных когда-то на всю реку капитанских и лоцманских династий. Речное дело было тогда потомственным, сын капитана мечтал о капитанском мостике, а не о теоретической физике.

Летописцы Волги проследили историю наиболее известных капитанских семейств. Отобрали только такие, в которых на реке трудились три-четыре поколения. Вот эти династии — они заслужили благодарную память, не худо бы знать о них всем, кто любит Волгу: Арефьевы, Белодворцевы, Бобылевы, Беловы, Бочкаревы, Вахтуровы, Глазуновы, Груздевы, Колесовы, Котовы, Кучкины, Лезины, Митрофановы, Мореходовы, Морозовы, Мошкины, Неверовы, Седовы, Сергеевы, Сутырины, Фомины... Длиннен список, но и Волга длинна!

Это не только кадницкие или работковские династии. Исконными капитанскими селами считались, например, Вершинино и Константиновка, а Чернопенье — неподалеку от Костромы — славилось лоцманами. В одном из музеев есть фотография чернопеньевских лоцманов. Снялись только самые заслуженные, у которых за плечами было от 57 до 74 лоцманских навигаций. А какие кряжи позировали фотографу! Рослые, плечистые, бороды во всю грудь, а глаза остро поглядывают из-под лакированных козырьков лоцманского картуза.

Размылись далью Кадницы, и песчаный косогор манит нагретой мягкой благодатью, в которой тонет нога. По его вершине — сосны, почти черные, рядом со



сверкающими — да, именно сверкающими! — песчаными разливами.

Широколиственные дубравы облюбовали пологие увалы, поднялись над рыбацкими отмелями, над палатками в тальнике, над ступеньками в илистом грунте от постепенной водяной убыли, над устьем ленивой речонки.

Пока не дотянулось сюда Чебоксарское море, Волга сохранила здесь свой прежний облик. В межень далеко высовываются желтые языки кос. Теплоход не вздымает, а тянет за собой крутой, стоячий вал. Он сердито обрушивается на отмели, дробится, вот уже совсем измельчал в рябь и все не хочет успокоиться.

Мелко в здешних плесах, фарватер узок, перекаты часты. Их углубляют уже не прежние землечерпалки, не скрежещущие "грязнухи". Землесосы выглядят как корабли, только сзади извивается хвост труб, по которым гонят с волжского дна взбаламученную пульпу.

Здесь, где еще нет широких разливов, особенно чувствуешь, как густо идет волжский флот. Сидишь в каюте у окна, читаешь — нарастает гул моторов, проносится мимо грузовой теплоход. Прочитал полстраницы — шумит "Ракета". Прошумела — и опять какой-то встречный слышен за окном. А как не взглянуть, ведь в каждом, даже однотипном судне есть что-то свое, своя жизнь. Промелькнет и исчезнет.

Вот "Плоешти" толкает нефтеналивную баржу, а за ним — "Констанца", и тоже с баржой, налитой горючим до краев, борта почти вровень с волной. Трехпалубный теплоход вертится меж бакенов, с трудом вписывая в изгибы фарватера свое массивное тело, сбавляет ход, пропуская встречного "пятитысячника".

Но пассажира мало огорчает трудный фарватер. Он радуется берегам, сохранившим природную естественность. Ничто не затоплено, не подтоплено, не передвинуто, не переселено. И как в недавние годы

волновали нас новизной волжские моря, так теперь влечет прелесть мало тронутой человеком природы.

Прорисовываются купола и стены Макарьевского монастыря, неподалеку от которого Керженец, река лесная, выносит на Волгу плот за плотом. И снова — какое нагромождение исторических событий, страстей, воспоминаний вокруг едва отмеченного на картах кружочка и синей речной жилки, тянущейся к Волге!

Ведь это в Макарьеве шумела некогда ярмарка, которую потом перевели в Нижний Новгород, где она долго сохраняла прежнее свое название:

...перед ним

Макарьев суетно хлопочет,—

писал Пушкин о странствиях Онегина, попавшего в Нижний.

Макарьев долго упрямялся, не хотел расставаться со своими привилегиями. Но те, кому выгоден был перевод, поступили радикально: осенней ночью спалили дотла все ярмарочные павильоны Макарьева, а к весне того же 1817 года построили новые на стрелке в Нижнем. Купцы и потянулись туда с товарами.

Сам же Керженец, что впадает у Макарьева, "речка быстрая, омутистая", на лесистых берегах своих, в чащобах, таила раскольничьи скиты. Когда власти выслеживали "вероотступников", фанатики запирались в деревянных кельях и сжигали себя. Из керженского края пошла легенда о граде Китеже, скрывшемся на дне лесного глубокого озера Светлояр, где в тихие летние ночи чуть доносится из-под воды перезвон колоколов.

Теперь на месте таинственных скитов — леспромхозы, дно Светлояра исследуют экспедиции аквалангистов, а сам Макарьев в плену у лесников. Под

монастырскими стенами плоты, бревнотаски, трубы лесозаводов.

Выходит судно на середину Волги — и открываются по гребням нивы, села со старенькими церквушками и большими белыми школами. Вот уже и скрылись поминутно менявшие очертания увалы, а ты все оглядываешься, думаешь: откуда во всем этом притягательная сила?

Внизу, у воды, голубоватые осокори то собираются рощицей, то разбегаются по одиночке и стоят, стройные, гордые; выше по склонам березки да яблоньки. Режет зеленую воду остроносая лодка, белые платки низко надвинуты на женские лица от жгущего, неистового солнца. И опять осокори-богатыри, один к одному, будто выхоженные садовниками, заняли песчаную луговину, задавили, весь подлесок, оставили на заливной косе лишь местечко для покладистых, неприхотливых тальников.

Волга словно хочет показать, как противно ей однообразие, что нет на ней совершенно схожих мест, — и у воды появляется нагромождение исполинских верблюжьих горбов. Даже цвет подходящий! За горбами — Бармино, ровно тысяча километров от Москвы, дома с мезонинами, яблоневого сады по косогорам, под осень — наливной, сочный анис ведрами на пристани.

Но где настоящее засилье садов — в Васильсурске. Подходишь к нему затемно, и кажется, будто не город это, а светлячки затаились в густой зеленой листве.

Горы за Васильсурском — Малые Жигули. Это не название, а прозвище. И верно — похожи. Может быть, даже больше похожи на прежние Жигули, чем сами нынешние Жигули. Эти, Малые, менее тронуты человеком, не так заселены.

Земля марийцев, в которую вступает далее река, — лесная земля, особенно по левобережью. До строительства волжских плотин на подходах к

Козьмодемьянску можно было видеть целый речной городок, который выносила на водный простор сплавная Ветлуга, третий по длине, после Камы и Оки, волжский приток. Казалось, будто добрая половина волжского русла целиком закрыта бревнами настолько плотно, что настил выдерживает дома с вышками. Это тесно друг к другу стояли плоты, ожидавшие буксировщиков.

По узким проходам на лесном рейде шныряли моторки, развозя команды. Над рекой упоительно пахло мокрой сосной, бревна блестели на солнце. Вот над одним домиком подняли флаг, яркий, огненный, не выцветший, задымил буксировщик, натянулся стальной трос, чуть дрогнула махина. Пошел! Плотогоны рады, что, наконец, покидают поднадоевший рейд, орут на всю Волгу от избытка силы...

Козьмодемьянский лесной рейд действует и сегодня, но через шлюзы нельзя пропускать без расчалки прежние плоты-великаны, что растягивались лентой едва не на километр.

И дальше под Казанью Волга не таит свои красоты, да и историческими воспоминаниями не обделена. Здесь она пошире, море дает себя знать, но все же не настолько, чтобы отдалить берега до неопределенной лиловато-серой каймы по горизонту.

Посередине разлива на малом островке — городок Свяжск. С белыми колоколенками древних храмов издалика кажется он всплывшим из глубин градом Китежем — зря его искали в Светлояре.

Построили Свяжск при Иване Грозном в лесах под Угличем, разобрали по бревнышку, каждое особо пометив, сплотили бревна в плоты, посадили на них стрельцов с работными людьми и скрытно, без шума, спустили по Волге, Облюбовав холм возле устья реки Свяги, причалили к нему и, ни мало не мешкая, принялись "складывать" город.

Под боком у враждебного казанского хана, собрали с быстротой необыкновенной изрядную крепость: восемнадцать башен, семь ворот, добрые стены. Скоростная стройка XVI века!

Дав заглянуть в свои старые годы, Волга тотчас возвращает вас к современности, предлагая в качестве наглядного пособия по экономической географии индустриальный треугольник: на правом берегу чувашский город Козловка с домостроительным комбинатом, на левом — марийский Волжск, поставщик бумаги и целлюлозы, и в качестве третьей вершины — татарский Зеленодольск.

Судно идет здесь фарватером, по сторонам от которого волжская гладь заштрихована сотнями лодок. Не было этого прежде и быть не могло — уйти так далеко от дома можно только на мощном моторе. И лодки щегольские, разноцветные. Кто вышел на лов? Казанцы? Козловцы? Зеленодольцы?

Народ приохотился к вольному житью на реке. Каждые сто метров берега — рыболов, каждые триста — палатка. Два выходных позволяют людям наслаждаться Волгой по-настоящему.

"Подходим к Казани, вернее, к ее пристани. Город отсюда далеко, семь километров. Когда-то, говорят, Волга омывала стены казанского кремля".

Это из "Огонька" за 1946 год. Ни слова о том, что Волгу когда-нибудь вернут кремлю. Об этом в первый послевоенный год и не мечталось.

Река ушла от Казани, причем ушла коварно, так, чтобы казанцы не могли дотянуться до беглянки: в половодье заливала отделявшую центр от пристани низину, не давая ее застраивать.

В одну из первых моих поездок по Волге на подходе к Казани нас захватил шторм. Он налетел сразу. В пыльном вихре закружились бумажки. С грохотом упало

на палубу плетеное кресло, зазвенело разбитое стекло. Волга в минуту стала грязно-серой, с каким-то коричневым оттенком.

Волны становились все крупнее и злее. Катер, тянувший к берегу две небольшие баржи, сносило ветром. Тревожно завывала сирена. С барж, груженных тюками прессованного сена, полетели клочья. Буксирный пароход поспешил на выручку. Вдвоем они, едва осилив ветер, потянули баржи к пристани. Стена ливня скрыла реку. А когда он пронесся, выглянуло солнце, высветило под радугой башни, белую и красную, и стены на холме, декоративно-праздничные на фоне уходящих туч.

Потом казанский кремль исчез, и пароход довольно долго тащился к цепочке дебаркадеров, поставленных возле скучнейшего берега. На самом большом — вывеска: "Казань". Но где же Казань? Вокруг даже строений сколько-нибудь порядочных не было: так, склады, какие-то лабазы, "забегаловки", ларьки с казанскими туфлями, украшенными узорами из цветной кожи, продмаги, пропахшие рыбой.

Трамвай тащился от пристани по дамбе вдоль заваленной бревнами луговины, потом громыхал в пыльных улочках. Прошел без малого час, пока я оказался перед воротами белой Спасской башни. Потом поднялся на семярусную Сююмбекину башню — так вот она, настоящая-то Казань!

Русский строгий классицизм соседствовал с минаретами. Сады и парки зеленели среди камня. Обильные заводские дымы по горизонту с плакатной прямотой иллюстрировали тот факт, что Казань промышленная по сравнению с дореволюционной несомненно выросла во много раз.

Волга лишь угадывалась вдали, но в гуще кварталов светились зеркала озер. Извиваясь по заливным лугам,

чуть не к подножью башни прибегала мелководная речка Казанка...

Чтобы лучше почувствовать новую морскую Казань, я в последний приезд поселился в гостинице водного вокзала. В шесть утра меня будил громовой голос, извещающий граждан пассажиров, что в такой-то кассе открыта продажа билетов на "Метеор", следующий рейсом до Горького, и что в здании вокзала курить и сорить воспрещается.

Голос не умолкал до ночи. К нему привыкаешь, как к стуку вагонных колес.

Редкий час у причалов не появлялось новое судно. Приставали теплоходы с бледнолицыми из Москвы и с меднолицыми из Астрахани и Ростова. Я встречал знакомых капитанов. Рядом в грузовом порту, одном из самых крупных в стране, разгружались и принимали грузы десятков судов.

К центру сегодняшней Казани из порта ведет магистральная улица Татарстан. Из сквера, с высокого постамента, взирает на людские потоки Габдулла Тукай, народный поэт, незадолго до революции умерший от чахотки в дешевых казанских "номерах". У памятника устраиваются теперь праздники поэзии. Тукай верил в свой народ, полный "страсти и таланта"; ему принадлежит точная строка интернационалиста: "К единой цели мы идем, свободной мы хотим России".

Татары составляют около половины населения республики — почти столько же, сколько русские. В троллейбусе, бесшумно катящем из порта в центр, слышатся русская и татарская речь, на уличных табличках — "Свердлов ур" и "Улица Свердлова", над речным вокзалом неоновые буквы "Казань" и "Казан".

В селах Татарии родители выбирают язык, на котором будут учиться их дети. Сабантуй, веселый татарский праздник окончания весенних полевых работ,

когда самые ловкие и сильные соревнуются в борьбе, в скачках, давно уже привлекает и жителей русских сел.

В конце восьмидесятых годов прошлого века одна казанская газета сделала неожиданное для себя открытие: "Татарское население по отношению собственно к русской грамоте считается самым безграмотным, но зато по отношению к татарской грамоте оно является самым грамотным". В одной из волостей, населенных татарами, умела читать и писать по-татарски почти четверть жителей. Вопреки политике царского самодержавия татарские просветители во главе с Каюмом Насыровым, последователем Ушинского, сделали немало для того, чтобы приобщить народ к знаниям.

Великодержавные сановники запрещали некогда татарам вход в казанский кремль. Теперь на самом почетном месте у ворот Спасской башни, где стоял памятник Александру II, изваян в бронзе татарин, известный всему миру, поэт-герой Муса Джалиль.

Время от времени возникали споры по поводу того, кто создал украшение кремля, семярусную башню Сююмбеки — татары или русские, Названа она именем татарской царицы, с которой связаны трогательные легенды, но некоторые особенности архитектуры башни заставляют предполагать, что к ней приложили руку русские каменных дел мастера. Мне эти споры всегда казались довольно бесплодными. И татарское, и русское национальное зодчество, как говорится, не одной Сююмбекиной башней славны. А если есть в ней признаки, следы двух национальных начал, то и отлично!

Казань неподалеку от своего другого старого "высотника", башенной кирпичной колокольни церкви Богоявления, возвела современную многоэтажную гостиницу. Подле кремля, но так, чтобы не испортить его ансамбля, построены стадион и Дворец спорта, а



также цирк, напоминающий, пожалуй, огромный эллипсоид, положенный на подставку. Во внешнем облике подобных зданий трудно искать национальный стиль. Однако в оформлении улиц всюду найдешь татарский народный орнамент.

При перестройке Казани сохраняется все, связанное с именами дорогих нам людей, русских и татар. Студенты знаменитого Казанского университета получают новые тринадцатипятиэтажный и восемнадцатипятиэтажный учебные корпуса, но старое университетское здание с белой колоннадой по фасаду останется без малейших изменений.

К профессору Казанского университета Рафику Измайловичу Нафигову я прошел из актового зала, под сводами которого бушевала когда-то знаменитая сходка. Профессор Нафигов возглавляет кафедру истории партии. Выступая на Ленинских чтениях в Москве, в Политехническом музее, он говорил о том, что роль Владимира Ульянова в студенческих волнениях была значительнее, чем представлялось ранее. Теперь, как мне сказали, профессор установил новые интересные факты.

— Да, мы все более убеждаемся в правоте своих утверждений, — сказал Рафик Измайлович. — Сначала кажется странным: как мог новичок, первокурсник, едва освоившийся с новой для него средой, столь быстро выдвинуться в число вожаков? Нам говорят: не переносите ли вы черты, свойственные Владимиру Ульянову в более зрелом возрасте, на семнадцатилетнего юношу? Нет, говорим мы. Наша опора — факты. Теперь мы знаем, например, что казанские власти вовсе не бездействовали накануне сходки. Второго и третьего декабря были сделаны налеты на квартиры некоторых студентов, в том числе и близких к Ульянову Сергея Полянского, Алексея Тургеневского-Захарова, Иосифа Зегржды. Ни тогда, ни

позднее, на допросах после сходки, никто не назвал имен авторов листовки и петиции. Однако анализ этих документов убеждает нас, что в их составлении участвовал и Владимир Ульянов. Да, он был молод, но студенты постарше видели в нем брата казненного героя Александра Ульянова. Добавьте к этому рано проявившиеся, по общему признанию, личные качества, могучий интеллект, поднимавший Владимира Ульянова над сверстниками. Через землячество он и Николай Мотовилов связались с членами группы Павла Точисского, профессионального революционера-марксиста. Вот откуда, вероятнее всего, противоправительственные идеи в студенческой петиции.

Дорожа временем профессора, я заранее заготовил вопросы. Был среди них и такой: известно, что за 113 лет дореволюционного существования Казанского университета его окончило всего лишь несколько татар. А как сейчас?

Но я не задал этот вопрос. Передо мною сидел профессор-татарин, и это было столь же обыденно сегодня, как было невероятно для дореволюционных лет, когда Фатых Амирхан написал фантастический рассказ о татарском клубе, где встречаются татарские ученые, писатели, композиторы.

Потом я навел справку: в университете учится свыше трех тысяч татарских юношей и девушек. И еще справка: примерно четвертая часть научно-педагогических работников университета — татары.

\* \* \*

Давно ушли последние экскурсионные автобусы. Опустела площадка перед воротами. Под вечер прошумел дождь, потом стихло, только капли падали с

деревьев. В речке Ушне, подпертой плотиной и разлившейся прудом, неистовствовали квакуши. Рыболов, горбившийся в жестком дождевике, собрал удочки и, чавкая сапогами, поплелся домой.

По дороге за речкой бежали машины, на пригорке работали тракторы. Если бы не эти звуки нашего шумного века, то было бы, наверное, почти так, как в давние кокушкинские вечера.

Стало темнеть. Прорвался приемник или телевизор, включенный сразу на полный звук, и тут же конфузливо и неясно забормотал.

Но вот защелкал первый соловей. Вступил второй. Пошла переключка летней соловьиной ночи. Соловьи пели в саду бывшей усадьбы доктора Бланка" После заката, когда садовая калитка закрывается за последним экскурсантом, это в Кокушкине самое тихое, спокойное место. Ближе к полуночи небо разъяснило, и тихо шелестевшему саду недоставало лишь спокойной луны, чтобы посеребрила она пруд перед плотиной и влажные травы...

Я приехал в Кокушкино-Ленино первым рейсовым автобусом — в 4.50 утра он уходил от казанского автовокзала: хотелось застать в полях покой раннего летнего утра.

Казань оборвала многоэтажье окраин сразу — и в розовом тумане открылась всхолмленная распаханная равнина, сохранившая островки мелколесья, кое-где разлинованная лесными полосами. Вдоль шоссе тянулись деревня за деревней, большие, славно обстроенные. Наличники, броско окрашенные синей и белой красками, ворота с накладной, крашенной же резьбой говорили о достатке и досуге, о том, что здесь "живут справно".

Оглянулся с высокого холма: Казань как на ладони — трубы, дымы, башни, морская гладь.

На дорожных указателях замелькали названия татарских деревень. Старухи татарки, вышедшие по утренней прохладе кого-то встречать, стояли у дороги, укутанные в оренбургские пуховые платки поверх черных плюшевых жакеток.

Строго говоря, в природе давно не существует того, что было когда-то кокушкинским имением доктора Александра Дмитриевича Бланка. Большой дом — так его называли, хотя он вовсе не был большим барским домом, какой рисуется при слове "имение", — сгорел еще в 1902 году. Время не пощадило и флигель, где жили дети Ульяновых. Нынешний дом-музей воссоздан по рассказам и описаниям.

В еще пустых комнатах флигеля пахло свежeweмытыми полами, протертые уборщицей листья фикуса в комнате Владимира Ульянова отливали тусклым восковым глянцем, в приоткрытое окно тянуло запахом росистых трав. Когда-то в эти часы на балконе шумел самовар, семья собиралась к утреннему чаю, все было так, как во множестве других мелких имений, разбросанных в Поволжье. После чая бывший студент Ульянов забирал книги и шел в парк...

Воспоминаний о Кокушкино очень много — и что можно добавить к свидетельствам самых близких и дорогих Ленину людей? Однако ведь не было же Кокушкино маленьким изолированным мирком! Бубенцы почтовых троек заливались на тракте. Во флигель усадьбы, где жил сосланный Владимир Ульянов, хоть и с опозданием, приходили новости из дальних и ближних мест.

Архивариусы и журналисты по старым газетам довольно полно восстановили к юбилею хронику года, в котором родился Ленин. Но, может, не менее важно обратиться к более позднему времени? Какими были мир, Россия, Поволжье в конце 1887 года? Что волновало обитателей волжских берегов в 1888 году, в пору

кокушкинской ссылки Ленина, в пору его обостренного зрелого интереса к окружающей действительности?

Основные события этого времени не трудно найти даже в школьном учебнике истории. Но помимо фактов достопамятных, река жизни несет множество мелких, второстепенных и тем не менее очень характерных; сегодняшнюю злобу дня, которая завтра безвозвратно канула бы в неизвестность, если случайно не попала бы на перо хроникера.

...В письме, отправленном в начале 1888 года, Анна Ильинична Ульянова сообщала подруге, что в Кокушкино выписали "Русскую мысль", "Неделю" и еще "казанскую ежедневную газету".

Вероятно, то был "Волжский вестник", ежедневная газета либерального направления, которую редактировал Загоскин, профессор истории русского права Казанского университета. Газета имела корреспондентов во многих поволжских городах, и даже в самом ее названии чувствовалось стремление выйти за круг местных казанских тем, охватить жизнь всего Поволжья.

Отдел редких книг и рукописей университетской библиотеки хранит уникальный комплект "Волжского вестника". Комплект, который в свое время видели лишь очень немногие: экземпляры с пометками цензора. В них не только то, что могли прочесть читатели, но и то, что считалось полезным от них скрыть.

В тишине хранилища за железной дверью, куда можно проникнуть по особому разрешению, взволнованный уже самой необычностью обстановки, я бережно касался больших листов плотной, совсем не газетной бумаги. Широкие поля. Перечеркнутые крест-накрест красными чернилами абзацы, а то и целые статьи. Круглая, с двуглавым орлом в центре, печать "отдельного цензора в Казани" на каждом оттиске номера.

Не нам судить определенно, какие именно известия на страницах газет, приходивших летом в Кокушкино, особенно интересовали сосланного. Но вряд ли в семье могли остаться без внимания новости, относящиеся к Казанскому университету и ко всему, что было связано с тщетными попытками Владимира Ульянова вернуться в его стены: заметка о том, что на 1 августа в университет поступило 135 заявлений о приеме, причем больше всего — на юридический и медицинский факультеты, сообщения о торжественном молебне перед началом учебного года, о дополнительных осенних экзаменах, о начале занятий на юридическом факультете с 25 августа...

Цензорский экземпляр "Волжского вестника" помогает понять, почему именно 31 августа, на этот раз уже Мария Александровна обратилась к министру народного просвещения Делянову с просьбой: если тот найдет неудобным позволить сыну вновь поступить в Казанский университет, то разрешить ему поступление в один из российских университетов. Слухи о поездке министра по городам Поволжья носились давно, и газета заблаговременно назвала срок его возможного приезда в Казань: середина августа. Но цензор снял затем две заметки, относящиеся к этому визиту. Вторая из них, так и не увидевшая света, описывала, как его высокопревосходительство, прибыв в Казань 26 августа, на следующий день посетил университет, "который и был осмотрен им до мельчайших подробностей".

Известие о приезде Делянова, хотя и не попавшее в печать, наверняка быстро распространилось по городу. Прошение Марии Александровны, датированное 31 августа, по всей вероятности, было подано с расчетом, что Делянов прочтет его в Казани.

Так и получилось. Пометка министра о том, что ничего не может быть сделано в пользу Ульянова, датирована 1 сентября. В это время Делянов был в

Казани. Но читатели газеты узнали о пребывании видного сановника позднее: запрет цензора на сообщения о визите министра продолжался до его отъезда. Лишь тогда было сказано, что после девяти дней пребывания в городе Делянов отправляется из Казани в Нижний Новгород.

В самом описании проводов цензорский карандаш вычеркнул иронические фразы о том, что его высокопревосходительство "посылал воспитанникам учебных заведений воздушные поцелуи" и что "огорченные отъездом г. министра некоторые профессора и другие чины учебного ведомства более двух часов оставались еще на стоявшем тут же пароходе "Астрахань", уничтожая с горя коньяк..."

Пока в кокушкинском уединении Владимир Ульянов собирал сведения о крестьянской жизни, о сельском хозяйстве, с увлечением читал обзоры иностранной жизни, написанные Чернышевским, российский обыватель познавал окружающий мир, довольствуясь столбцами газетной хроники.

Он, обыватель, летом 1888 года обсуждал слухи о предстоящих приездах в Петербург сербской королевы и шведского короля, а также подробности дуэли на шпагах между генералом Буланже и Шарлем Флоке, председателем Совета министров Франции. Обыватель завистливо охал, прочитав о наградах германского канцлера Бисмарка: подумайте, 53 ордена! Обыватель узнавал, что в мире насчитывается уже 700 миллионеров, причем наибольший доход имеет Джей Гульд, король американских железных дорог, что американец Эдисон внес усовершенствования в изобретенный им фонограф и теперь чудесный прибор довольно похоже воспроизводит человеческий голос, что в Париже инженер Эйфель строит железную башню неслыханной высоты.

Хроника российских газет обычно замалчивала стачки, которые в тот год прокатились по многим губерниям страны. В столбцах газетных известий терялись сообщения об основании нижегородского кружка любителей физики и астрономии, о научной экспедиции Обручева, об основании Томского университета, о решении начать изыскания для постройки железной дороги в Сибирь. Хроникальный калейдоскоп при всей его пестроте не баловал известиями о событиях крупномасштабных, выдающихся.

Телеграмма: к высочайшему обеденному столу в Елизаветграде приглашены предводитель дворянства и городской голова, вечером их императорские высочества смотрели из окон на иллюминацию и фейерверк. На нижегородской ярмарке гостят египетские принцы. В Киеве созывается съезд винокуренных заводчиков. В Воронеже открыт "дом трудолюбия" для калек и "расслабленных лиц". В Саратове на берегу Волги обнаружен труп бурлака Ивана Резвых, в карманах которого оказалась 1 копейка и пачка табака. В Самаре заложен памятник в бозе почившему императору Александру II. В Петербурге "настроение хлебного рынка тихое".

Страницы "Волжского вестника" отражают черточки быта Казани и Казанской губернии. Сам городской голова признал в отчете, что летом над городом висит "целый густой туман пыли", зимой "масса снега наводняет улицы и тротуары, мешая проходу и проезду, образуя ухабы", а осенью всюду "глубочайшая грязь и слякоть". Тут же меланхолическая заметка: "Московская почта вчера снова не получена в нашем городе и вряд ли благодаря ненастному времени будет получена и сегодня". Рядом судебная хроника совершенно в духе бессмертной гоголевской комедии: "В камере мирового судьи рассмотрено дело по обвинению священника отца



Краковского "в допущении принадлежащих ему свиней бродить по городу". На беспокойный нрав свиней отца Краковского неоднократно делались заявления. Отец возразил, что "свинья — не канарейка, в клетке ее не удержишь". Суд приговорил отца Краковского "за допущение свиней ходить по улицам к штрафу в размере 30 коп."

Газета сетует на то, что в городе "встречается масса нищих, назойливо выпрашивающих у прохожих подаяние". Печатает три строки о самоубийстве проститутки "в заведении Беляевой" (цензор снял слова о том, что подобные случаи "приобретают положительно хронический характер"). Сообщает, что в Забулачье и Суконной слободе "объявился сыпной тиф" (цензор вычеркнул фразу, где говорилось, что часть больных положена в больницу, а о том, сколько людей, быть может, умерло по домам, "никто не знает").

Известия официальные отмечают назначение околоточного надзирателя Шевникова помощником пристава, приезд начальника главного тюремного управления, тайного советника Галкина-Врасского для осмотра мест заключения, возвращение из отпуска губернатора Андреевского, воспоследование высочайшего помилования 16 чуваш, приговоренных Казанским военно-окружным судом к смертной казни через повешение "за сопротивление властям".

...Казань к лету 1888 года была еще не достаточно обжита Ульяновыми. Им ближе недавно покинутый Симбирск, родное гнездо, живой интерес к которому так естествен и человечен. И как раз в это лето там произошло событие, взволновавшее Поволжье. "Волжский вестник" вышел с тревожной телеграммой: "Симбирск, 29 июня, И часов 30 минут ночи. Симбирск горит. Выгорела почти вся северная половина города от Ярмарочной площади к казармам. Пожар, начавшийся в час дня, продолжается".

Специально посланный на место происшествия корреспондент в нескольких номерах рассказал затем о бедствии, постигшем город. Выгорело одиннадцать улиц, много людей осталось без крова. Если бы цензорский карандаш не прошелся по столбцам газеты, читатели узнали бы, "что пожарные трубы были в частных руках, что общественные средства пошли не для борьбы с общим несчастьем, а для защиты крупных частных собственности", что городской голова "был где-то тут, на пожаре — да голову-то потерял, или второпях забыл в канцелярии..."

Корреспондент печалился о судьбах тех, кто после пожара остался в одной рубахе. "Еще раньше сотни семейств не имели здесь никакого пристанища, а зиму и лето жили в землянках — ямах около Кирпичных сараев. Куда же теперь денутся новые, еще большие массы таких бедняков?"

Потом пожар постепенно забылся. Из Симбирска пошли корреспонденции о пустующем театре, где заезжий артист Ратмиров-Бушенко читал "Записки сумасшедшего" и скабрзные стихотворения, причем в том и другом "оказался одинаково скверным"; об открытии ночлежного приюта; о керосиновой монополии купца Воронкова, пользующегося тем, что Симбирск "в продолжении 7-8 месяцев от ближайшего города — Казани отделен двумястами верст снежных сугробов и непролазной грязи"; о плачевном состоянии Карамзинской библиотеки, единственной в городе: отпускаемых денег едва хватает на оплату служащих, новые книги не на что покупать.

Конечно, это и не полное, и не вполне объективное отражение действительной жизни приволжского города. Желчный корреспондент находит повод для сарказма даже в том, что симбирский изобретатель слесарь Максимов, который два года назад получил на казанской

выставке "медаль за устроенный им пароход", совершил полет на самодельном воздушном шаре..

И все же, проглядывая доходившие в Кокушкино известия из города, который покинули Ульяновы, мы снова и снова думаем: какими же нравственными силами обладала эта семья.

В атмосфере провинциального Симбирска сформировался в ней заметный во всероссийском масштабе педагог-организатор, герой, поднявший руку на всемогущего самодержца, юноша, после казни брата бесстрашно шагнувший в революцию; в этой семье все видели смысл и цель жизни в беззаветном служении народу!

...Музей в Кокушкино еще не в полной мере обрел исторически достоверный облик. Мешают выпирающие на первый план приметы современности — бетон и железо ограды, привычные для городских улиц фонарные столбы, слишком тщательно разделанные дорожки, плохо вяжущиеся с представлением о сельской глуши.

А само старое Кокушкино? Сохранились ли его следы?

От усадьбы доктора Бланка до деревеньки, где стояло полтора десятка изб, было всего восемнадцать сажень. Теперь в той стороне за музейной оградой в ложбине доживали век последние, давно покинутые избенки. Крыши обветшали, срубы осели, покосились.

Это было все, что осталось здесь от прошлого Кокушкино, жители которого давно перебрались на новое место в хорошие дома. Не того Кокушкино, по улице которого ходил ссыльный студент Ульянов, — с той поры деревенька, наверное, не раз горела и строилась. Но это, вероятно, были последние избы того Кокушкино, откуда в декабре 1922 года крестьяне написали трогательное письмо своему бывшему односельчанину Ленину: "Дорогой наш товарищ

Владимир Ильич! Первым долгом шлем тебе привет от старожилков, хорошо помнящих и знающих тебя по играм с нами в бабки, горелки и по ночевкам в лесу с лошадьми". В этом письме кокушкинцы просили Ильича "поберегать свое здоровье, так как ты у нас единственный на всю Россию".

...На следующий день я возвращался из Кокушкино. Нашлось свободное место в автобусе казанского детского сада № 131. Ребята нагулялись по парку, загорели, проголодались. Им разделили несколько румяных булок. Ребята следом за своей воспитательницей с большим азартом пели "Тачанку". Воспитательница казалась девочкой. Когда мы проезжали татарское село Шигалеево, она, прервав пение, показала рукой:

— А вот это моя школа, я тут училась.

Но ребята, увлеченные пением, не очень на это откликнулись, и только русоволосая простушка Наташа затынула:

— Школа? Где школа? Где? Вон та? Где, а?

Вскоре мы подкатили к детскому саду на окраине Казани, и ребята трижды прокричали:

— Спа-си-бо дя-де во-ди-те-лю!

\* \* \*

Вернувшись в Казань из Кокушкино осенью 1888 года, Владимир Ульянов вступил в один из марксистских кружков, организованных Николаем Федосеевым. И снова задумываешься о ранней зрелости людей, отдавших себя делу революции. Сколько лет было в ту пору Федосееву?

Метрических записей о его рождении не обнаружено. Долгое время считалось, что Федосеев родился в 1871 году. Эта дата, однако, возбуждала

сомнения. Недавно казанские историки нашли другую в формулярном списке его отца: 27 апреля 1869 года. Следовательно, Федосееву не было еще и двадцати лет, когда он стал опытным профессиональным революционером.

Его отец — потомственный дворянин, получивший в должности судебного следователя чин надворного советника. Юный Николай Федосеев уже в школьные годы организует тайный кружок и библиотеку с нелегальщиной, Он идет против класса, к которому принадлежит по рождению. Его исключают из гимназии. Семья отрекается от него. Часто голодный, по существу бездомный, зарабатывающий гроши случайными уроками, он организует тайные кружки, вовлекая в них не только учащуюся молодежь, но и рабочих казанских пороховых заводов, ткачей с фабрики Алафузова.

Жандармы берут его и близких ему кружковцев в тот момент, когда те разбирают шрифты в подпольной типографии. За Федосеевым захлопывается дверь тюремной камеры — и с этого дня до конца своей жизни ему удастся пробыть на свободе немногим более семи месяцев. Остальное время — печально-знаменитая тюрьма "Кресты", одиночки в Казани и Владимире, "Бутырки", ссылка сначала в Сольвычегодск, потом в Сибирь, в Верхоленск.

Однажды во дворе "Бутырок" — это произошло уже в 1897 году, когда за спиной Федосеева было несколько лет скитаний по тюрьмам и этапам, — сидевший там же Глеб Максимилианович Кржижановский пожаловался Федосееву на тяжесть тюремного бытия. Федосеев ответил негодующим возгласом:

— Как, неужели и вы не отдаете себе отчета, что в тех муках, которые мы испытываем ради нашего большого дела, — наше великое счастье?!

Общеизвестно: если бы семья Ульяновых весной 1889 года не переехала из Казани в Самарскую губернию, в

Алакаевку, то весьма вероятно, что Владимир Ильич разделит бы судьбу тех, кто был схвачен вместе с Федосеевым при налете на подпольную типографию.

Владимиру Ильичу было восемнадцать, когда он углубил свои связи с казанскими марксистами. В восемнадцать лет бывший студент, веселый, жизнерадостный юноша, не фанатический подвижник, ясно представляя, что его ждет, выбирает тернистый путь чернорабочего революции — он еще не знает и не может знать, что станет ее вождем.

При этом ничто, свойственное возрасту, не было чуждо ему. Он любил петь дуэтом с сестрой Ольгой "Нелюдимо наше море", увлекался шахматами.

Поселившись осенью 1888 года в кухоньке двухэтажного дома на улице Первой горы, Владимир Ульянов окунулся в атмосферу городской жизни, которой был лишен уже довольно долго.

Казанская хроника осенних месяцев отметила появление первых телефонов, проезд торжественно встреченного великого путешественника Пржевальского, подготовку ко Всемирной выставке в Париже, куда казанцы намеревались отправить, в числе прочего, карту развития школьного дела в одном из уездов.

Казань не знала обычного провинциального застоя, само скопление студентов трех высших учебных заведений омолаживало город. Крупные ученые, работавшие здесь, благотворно влияли на местное общество. Лучшие актеры России охотно ехали на гастроли в Казань, зная, что их ждет чуткий, благодарный зритель.

В зимний сезон 1888/89 года на сцене чередовались оперные и драматические спектакли. Интерес казанцев к театру был так велик, что возле касс, где молодежь простаивала долгие часы, случались даже кулачные побоища.

Одним из любимцев публики был певец Ю. Ф. Закржевский. Первое представление оперы "Дочь кардинала" с его участием состоялось 24 октября, и, по словам рецензента "Волжского вестника", зрительный зал весь вечер "положительно дрожал от неистовых рукоплесканий", а исполнителям не удавалось отдохнуть, так как бесконечные вызовы длились в продолжение всех антрактов. Закржевского считали лучшим среди русских певцов исполнителем партии Елеазара.

В феврале 1901 года Владимир Ильич, рассказывая матери в письме из Мюнхена, что на днях он слушал с великим наслаждением оперу "Дочь кардинала", добавил: "Я слышал ее раз в Казани (когда пел Закржевский) лет, должно быть, 13 тому назад, но некоторые мотивы остались в памяти".

Спектакль в казанском театре хорошо запомнился и Дмитрию Ильичу. Братья сидели где-то высоко на галерее. Весь вечер Владимир Ильич был в чрезвычайно приподнятом настроении. Из театра возвращались пешком, и под впечатлением музыки Галеви Владимир Ильич напевал понравившиеся ему арии.

В какой именно вечер братья слушали оперу — сказать трудно. Вероятно, братья Ульяновы побывали на одном из спектаклей до Нового года: вспомним любовь Владимира Ильича к музыке, представим состояние человека, вернувшегося в город после ссыльного бытия в крохотной деревеньке — и мы поймем, что вряд ли первое посещение театра откладывалось надолго.

...Уходил в прошлое 1888 год. Казань веселилась на святках. Начались семейно-танцевальные вечера то в пользу сирот, то в пользу "вспомогательного общества приказчиков", то в пользу "земледельческих колоний для исправления малолетних преступников". И, наконец, новогодний вечер в театре, маскарад, шествие "Пять частей света", мундиры, фраки, бальные платья...

Наверное, сквозь морозные узоры светились огоньки керосиновых ламп и в деревянном доме на Первой горе, где семья собралась в гостиной, и маятник на темных резных часах отстукивал последние минуты уходящего года. Года первой ссылки Владимира Ульянова. Года упорнейшего труда: Маркс, Чернышевский, Добролюбов. Года первых марксистских кружков. Года растущей день ото дня революционной закалки.

Вокруг башни носятся стрижи.

Казань с птичьего полета по-прежнему прекрасна. Пышнее разрослись ее сады, выше поднялись дома. Неизменен, кажется, только сам кремль: тут ни убавишь, ни прибавишь!

Город защищен от моря плотинами. Их пояс тянется почти на три десятка километров. Казанка уже не речка, а река со своей набережной. Над ней перекинуты мосты. Через один из них — дорога в Ленинский район. Широкая транспортная дамба оживленнее городских улиц.

Район возник на месте бывшей Козьей слободы, запущенного городского предместья. "Ленинский район, — прочтем мы сегодня в описании города, — это строители самолетов и моторов, химзавод имени Куйбышева, известный своею любительской кинофотопленкой; фотожелатиновое предприятие, построенное по последнему слову техники; взметнувшиеся ввысь эстакады завода органического синтеза. Ленинский район — это широкие, озелененные проспекты с многоэтажными домами, ресторанами, кафе, кинотеатрами, клубами".

"Казанская неделя" сообщала репертуар кинотеатров. Оказалось, что в городе около сорока экранов. Театр оперы и балета давал на закрытие сезона "Жизель". В гостях у казанцев на гастролях был Башкирский академический театр драмы и Крымский драматический театр, началась предварительная



продажа билетов на спектакли Удмуртского музыкально-драматического театра, Дом ученых и студентов объявлял о встрече с Героем Советского Союза Сорокиным, повторившим подвиг Мересьева. Казанцы приглашались на выставку художника Барабанова, отмечавшего семидесятилетие со дня рождения. А ведь была середина лета, время отпусков и туристских походов, когда люди торопятся прочь из города.

По большому озеру Кабан, кресе Казани, носились гоночные лодки. Весла вспыхивали на закатном солнце и гасли в воде.

Молодые лиственницы отделяли бульвар от гремющей улицы Татарстан. На склоны к воде бросали длинные тени мощнейшие ветлы — казанские баобабы.

По берегам озера поднимались минареты. Белую мечеть окружала высокая каменная стена с изображением полумесяца на столбах-башенках. В ней было некоторое сходство с православными храмами, какие воздвигали от своих щедрот волжские купцы. "Мечеть Марджани" — памятник архитектуры второй половины XVIII века, построенная в стиле барокко", — сообщала табличка.

Разговорившись во дворе с пожилым татаринном, как видно местным религиозным деятелем, я упомянул, что видел мечети Каира, Дамаска, Багдада. Он посмотрел на меня с интересом и заметил, что в Марокко и Саудовской Аравии тоже много интересных мечетей.

— Так вы были в Мекке? Вы хаджи?

Он подтвердил. Однако на голове его не было тюбана, которым гордится каждый мусульманин, совершивший паломничество к главным святыням.

Сняв башмаки, я прошел по пустой в этот час, сплошь устланной коврами мечети. По углам старцы, углубленные в молитву, припадали к полу; другие шевелили губами, склонившись над кораном.

Когда я вышел, шофер стоявшей во дворе "Волги" спросил, о чем я беседовал с главным муллой мечети. Так вот кем был хаджи! Шофер сказал, что Хабиб-Рахман Яруллин тридцать лет проработал на производстве, одновременно занимаясь религиозными делами. Когда ушел на пенсию, его упросили стать муллой. Упрашивали долго.

— Где муллу взять? Академики в Казани есть, инженеров навалом, а вот найди-ка главного муллу, — простодушно и почтительно произнес парень. — Верующие беспременно хотели своего, казанского. А товарищ Яруллин очень ученый человек, лучше его коран знает только один старик, но ему уже восемьдесят лет. Верующие довольны. По праздникам собираются до трех тысяч, стоят во дворе. Конечно, больше старики.

Пока мы разговаривали, в воротах появились три робеющие фигуры, явно иностранцы. Войти или не войти? Наконец один, долговязый, решился, сделал шаг, вопросительно поглядывая на нас.

— Что вы хотите, сэр?

Мистер Иван — так было по-русски написано у него на визитной карточке-табличке, приколотой к рубашке, — сказал, что он и его друзья хотели бы узнать что-либо о мечети. Они — американцы, приехали на симпозиум в университет. Вот эта дама — мистер Иван показал на женщину в шортах — его жена, а вот эта мисс говорит немного по-русски.

Я сказал, что бывал в Нью-Йорке, жил на 42-й улице. Они оживились, посыпались восклицания и вопросы. Ах, мистер приезжал на сессию Генеральной Асамблеи ООН!

Американцы после симпозиума поедут по Волге. Пока не очень довольны: музеи, потом школа... Не могу ли я порекомендовать им ресторан, где подают настоящие национальные блюда?

Да, могу. Дом татарской кухни — лучший ресторан в городе. Они увидят там медный рельефный орнамент на деревянных панелях, исполненный по мотивам татарского эпоса. Там девушки в мини-юбках и кофтах с национальной вышивкой или молодые официанты в национальных же, на одной пуговице, оливковых длинных казакинах примут у гостей заказ на кулламу (это тушеное мясо с вареными ракушками из теста), на губадию (это сдобный пирог, в нем мясо с изюмом), на татарский плов. Если же у гостей денег мало, они могут заказать чак-чак, вкусное лакомство, и всего 29 копеек порция.

Американцы поблагодарили, подтвердив, что денег у них действительно мало, а им хочется купить изделия из овечьих шкур: они слышали, что в Казани есть очень хороший завод, выделяющий меха.

— Мы бы хотели также осмотреть мечеть. Если это музей, мы можем заплатить за вход.

Я сказал, что это действующий мусульманский храм, платить за вход не надо и с разрешения священнослужителя можно пройти внутрь.

Мулла разрешил.

На прощание мы обменялись с американцами значками. Я дал значок со старым гербом Казани, где был изображен легендарный змей Зилант, они мне — синий диск со странным, по-русски написанным текстом: "Корпус по обмену гражданами". На фоне земного шара были изображены две голубые стрелки, одна под другой: дескать, вы — к нам, мы — к вам.

Сегодня прилетели — и в незнакомом городе тотчас к мечети. Хотелось верить, что это просто туристская страсть к экзотике. Надеюсь, что молодые американцы не последуют примеру французского востоковеда Монтея, который, объехав мечети многих городов, написал о "насильственном отторжении" мусульман от ислама, о том, что мусульмане "не чувствуют себя

целиком советскими людьми" и что в нашей стране вообще "ничего не знают об исламе"...

\* \* \*

Летом 1970 года Татария отпраздновала пятидесятилетие. Республику наградили орденом Октябрьской Революции. Из казанской ежедневной газеты "Советская Татария" я выбрал кое-какую праздничную хронику.

За годы Советской власти промышленное производство Татарии выросло в 337 раз.

Татария производит в день больше, чем Казанская губерния за год. И это не мыло и свечи прежних казанских предприятий, а пассажирские самолеты и вертолеты, промышленное оборудование, тончайшие измерительные приборы, изделия радиоэлектроники и современной химии.

Продукция татарской индустрии идет более чем в шестьдесят стран.

Первая промышленная нефть была получена в республике четверть века назад. С тех пор Татария стала нашей главной нефтяной кладовой. Из ее недр извлечен почти миллиард тонн нефти, и нефть эта — самая дешевая в стране. В Татарии, неподалеку от города Альметьевска, начинается "Дружба", самый длинный нефтепровод планеты, вдвое превосходящий американский "Большой дюйм".

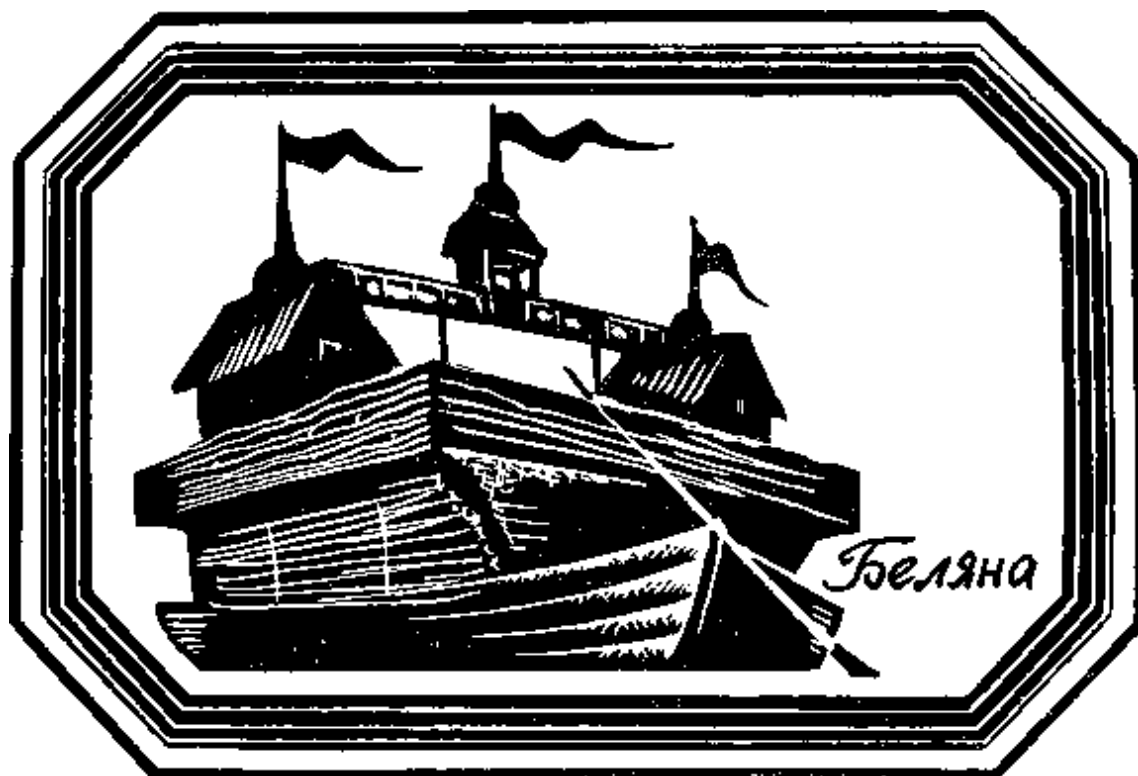
В Татарии, где живет немногим более 3 миллионов человек, больше студентов, чем в Турции с ее 34 миллионами жителей.

В республике переведены на татарский язык книги почти тысячи авторов с шестидесяти пяти языков народов нашей страны, а свыше семисот пятидесяти книг татарских писателей переведены на десятки

других языков и изданы тиражом в десять с лишним миллионов экземпляров.

И еще одна хорошая новость: в районе татарского города Набережные Челны, там, где уже действует крупная теплоцентраль и мощный нефтехимический комбинат, началось сооружение автомобильного гиганта, который будет выпускать грузовые машины большой грузоподъемности и целые автопоезда. А закончила Татария восьмую пятилетку небывалым рекордом годовой добычи нефти: сто миллионов тонн!

## Перекресток времен



*Человек-легенда. — Кадры старой киноленты. — Завещание Ивана Яковлева. — Про лапти. — Университетский город Чебоксары. — Великие Болгары, средневековье. — Среди развалин мертвого города. — Почему султан Египта ел конину и не говорил по-арабски.*

Крылатые корабли изменили старые волжские понятия "далеко" и "близко". До Свяжска, занявшего островок под Казанью, было, например, далеко: туда ходили только обычные тихоходные катера. Рейс занимал больше времени, чем поездка в Чебоксары: до столицы соседней Чувашии носилась "Ракета" № 118.

Крылатое судно успевало обернуться за день не один раз. В рейс "Ракету" водили помощник и капитан.

В отличие от большинства щеголеватых молодых судоводителей — золотые шевроны на рукавах, золото

на фуражке, — капитан Девятаев пришел на смену в темно-синем летнем пальто, с непокрытой головой. В руках портфель. По виду советский служащий, "зам", а может, и "зав".

С капитаном был худощавый юноша в очках.

— Это мой Леша, старший.

Я хотел их сфотографировать вместе, но Леша заторопился, замахал руками:

— Нет, нет! Я не фотогеничен. Вы уж отца снимайте.

Леша, как и Саша, младший сын капитана, — студент-медик.

Подошла "Сто восемнадцатая", одни пассажиры вышли, другие заняли места. Несколько цыган и цыганок с ребятишками, обвешанные пакетами фирменного магазина "Синтетика", покрутились возле своих мягких кресел в салоне, потом решительно двинулись на корму и, нахохлившись, сели там в кружок на открытом воздухе.

Помощник, перебросившись несколькими словами с капитаном, спрыгнул на причал.

— Граждане пассажиры! "Ракета" номер сто восемнадцать отправляется в рейс до Чебоксар!

Спрашиваю капитана, ездил ли он в Мордовию, видел ли на сцене театра в Саранске пьесу о себе и своих товарищах?

— Представьте, никак не выберусь: навигация. Вот разве зимой... Те, кто видел, говорят, ничего, смотреть можно.

— После "Побега из ада" работали над новой книгой?

— Да, было дело. Вместе с писателем Анатолием Хорунжим, бывшим фронтовым корреспондентом. Документальная повесть, называется "Побег с острова Узедом". Слышал, заинтересовались за границей, перевели на английский.

Капитан "Ракеты" № 118 Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев был летчиком-истребителем,

три года сбивал фашистов, потом сбили его. Попал в лагерь смерти. Вместе с подпольной группой заключенных захватил "хейнкель-111", на глазах гитлеровцев поднял самолет в воздух, перелетел с девятью пленниками к своим. Сам Геринг приезжал на место невероятного побега, лично вел следствие.

Теперь остров Узедом — часть территории Германской Демократической Республики. Михаил Петрович с женой Фаузией Хайруловной ездили туда как почетные гости. В честь подвига девятаевцев там поставлен монумент. А сам человек-легенда вот уже несколько лет водит "Ракету" между Казанью и Чебоксарами.

За эти несколько лет в плесе между столицами двух соседних республик начали строить Чебоксарскую гидростанцию и успели возвести город Новочебоксарск с весьма большим химическим комбинатом. Когда Андриян Николаев, Космонавт Три, вскоре после полета приезжал в родное чувашское село Шоршелы, рядом застраивались лишь первые улицы будущего города. Когда он отправился в космос вторично, в Новочебоксарске было уже свыше сорока тысяч жителей.

Молодой город вышел к Волге между Чебоксарами и Мариинским Посадом, где Андриян учился в хорошо заметном с реки кирпичном доме лесотехнического техникума. "Ракета" пристает в новом порту. Новочебоксарск прижал к Волге последние домишки тихой приволжской деревеньки: вот, мол, дорогие товарищи пассажиры, день нынешний и день вчерашний...

Несколько лет назад с режиссером Анатолием Колошиным мы работали над документальным фильмом о Волге. Роясь в фильмотеке, нашли старые ленты, снятые операторами в первые годы Советской власти. В



числе прочих там были железные коробки, хранящие киножурналы 1924 года.

Изрядно поцарапанная лента с подергивающимися людьми — это особенность всех старых фильмов, она объясняется иной, отличной от современной съемочной и демонстрационной техникой — перенесла нас на Волгу, и знакомую, и чужую.

Кино тогда было немым, и, наверное, ленту показывали под звуки фортепьяно, на котором из сеанса в сеанс привычно брэнчал тапер.

На экране появилась река, удивительно пустынная, с неторопливо ползущими за буксировщиком баржами — "мокрицами". Чехов при виде таких караванов говорил когда-то: похоже на то, будто молодой, изящный интеллигент хочет бежать, а его за фалды держат жена-кувалда, теща, свояченица и бабушка жены.

Кроме барж, увидели мы несомые ленивым течением огромные беляны, груженные досками и бревнами, с разрисованными дощатыми каютками — "казенками", с помостом, по которому разгуливал бородатый лоцман. Теперь разве только волгари-пенсионеры помнят эти диковинно-громоздкие суда, которые делали всего один рейс в низовья: там их разбирали на дрова.

Сменялись кадры. Вереницы ломовых извозчиков на спуске у нижегородского кремля, грузчики с "подушками" на спинах, в широких латаных шароварах. Оборванный бакенщик выгребает против течения на широкий волжский плёс. Берег Волги, женщины носилками грузят дрова на пароход. Толпа крестьян окружила бородача, пашущего плугом: плуг — новинка, здесь еще не расстались с сохой.

Базар в Чебоксарах. Пояснительная надпись: в городе, где сейчас уже около восьми тысяч жителей, открыт педагогический техникум, развивается мочальное и мебельное производство. Базарная толпа. Двое мужичков, как видно, подговоренных оператором,

суетливо торгуются, картинно хлопают друг друга по рукам. Остальные напряженно смотрят не на них, а в аппарат. Женщина испуганно прячет от "дурного глаза" кинооператора мальчонку в напяленном на уши большом картузе. Одеты люди в домотканое, многие в лаптях и онучах.

Оператор снял также воскресник на пристани. Парни с носилками, груженными битым кирпичом, замерли перед киноаппаратом. Попал в объектив восстановленный полукустарный мыловаренный заводик, кооперативный магазин водников, открытый рядом с лавкой нэпмана, работницы возле детских яслей.

В год, когда снимался фильм, ушел от нас Ленин. Его портрет с траурной лентой висел в комнате, где за столами были сняты демобилизованные красноармейцы, парень в кожанке, несколько девушек в косынках, старательно выводившие в тетрадях слова диктанта.

Фильм показал ростки нового на Волге, которыми тогда гордились. Это были последние годы навсегда уходящей "лапотной" России, годы залечивания ран гражданской войны, интервенции, разрухи. Это была молодость нашей страны, бедная и героическая.

Мы решили пойти кое-где по следам давней кинохроники. Сделали фотоотпечатки кинокадров и взяли их с собой на Волгу. Нам казалось, что неназванная в фильме пристань, где оператор снял воскресник, была чебоксарской.

Но асфальтированные въезды и парадная лестница, ведущая в Чебоксарах к вершине горы, где в зелени сквера — памятник классику чувашской литературы Константину Иванову, решительно ничем не напоминали изображение, запечатленное в кинокадре.

Неудача постигла нас и с другими кадрами. Прохожие на улицах, у газетных киосков, у театральной кассы, рассматривая наши снимки, пожимали плечами:

"А где это снято? Чебоксары?!" — "Пожалуй, похоже на бывшую Троицкую улицу". — "Вы в музей сходите, может, там кто знает".

Разумеется, мы не искали упомянутого в старой ленте "мочального производства". Его место заняли завод электроисполнительных механизмов, завод электроизмерительных приборов, завод электроаппаратуры. Лицо чебоксарской индустрии определяла электроника. Чуваши, которым, по убеждению царских сатрапов, было доступно одно лишь "искусство плетения лаптей великое", изготавливали приборы для новых линий метро, выполняли заказы Индии и Южной Америки.

О заводе электроаппаратуры и его людях мы и рассказали в нашем фильме. Протянуть же ниточку в современность от старых кинокадров так и не удалось. Казалось, что прошли не десятилетия, а сменилась эпоха...

На этот раз мне хотелось пойти в Чебоксарах по следам Ивана Яковлевича Яковлева. Замечательный чувашский просветитель жил и работал не в Чебоксарах, и основные "яковлевские" места, если понимать их лишь в узком смысле, не здесь. Но сам характер деятельности просветителя, бросающего, как говаривали раньше, семена знаний на ниву народную, чрезвычайно расширяет, углубляет представление о том, что оставлено им после себя, каков его след в людской памяти.

Яковлев начинал в Симбирске, именно там было и его любимое детище — учительская семинария. Каменные кирпичные здания сумрачного казенного облика до сих пор стоят в Ульяновске на берегу Свяги возле скрипучего деревянного моста. На стене одного из них почитателями сделан мозаичный портрет молодого Яковлева — такого, каким его навещали в семинарии Илья Николаевич и Владимир Ильич Ульяновы. Мне

показали комнату, где жил учитель-чуваши Охотников, которого Владимир Ильич готовил к поступлению в университет. В маленьком музее я читал завещание Яковлева, написанное в 1921 году, и обращение к его соотечественникам-чувашиам: "Русский народ выстрадал свою правду, и, нет сомнения, правдой этой он поделится и с вами. Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью".

Не только семинарию, но и первую начальную школу для чувашей Яковлев открыл также в Симбирске. Почему же не в Чебоксарах? Ведь уже и тогда этот город, пусть не без иронии, называли "чувашской столицей", добавляя при этом: деготь есть, веревка есть, калачами объедайся — чего же еще надо?

Дело было скорее всего в общественном климате Чебоксар. Шевченко поразило в свое время обилие церквей в этом ничтожном, но картинном городке. "Для кого и для чего они построены? — спрашивал поэт. — Для чувашей? Нет, для православия".

По весу церковных колоколов бедный, запущенный городок мог тягаться с Парижем и Лондоном, а на содержание единственной своей библиотеки отпускал 75 рублей в год, и читатели ездили за книгами для чтения в соседний поселок Мариинский Посад. Церковники считали просвещение чувашей делом не только ненужным, но даже вредным.

Я нашел в старой газете корреспонденцию из Чебоксар, рассказывающую, как местный городской голова, невежественный самодур Астраханцев, производил "выборы" гласных в управу: созвал нужных ему людей в трактир и объявил их избранными...

В Симбирске же Яковлев буквально с первых шагов был поддержан Ильей Николаевичем Ульяновым. Позднее их связала дружба. Илья Николаевич содействовал открытию сельских школ для чувашских детей и помогал Яковлеву стать тем, кем он стал —

лишенным националистической ограниченности просветителем своего народа, старавшимся, чтобы в чувашских селах могли читать на родном языке и давние чувашские легенды, и стихи Пушкина, и повести Гоголя.

Памятник Яковлеву — на главной улице Чебоксар.

Чебоксарский музей хранит сегодня личные вещи просветителя: шкатулку из орехового дерева, сделанную в форме стопки книг, подсвечник, коробку для бумаг. И с каким же серьезным, благоговейным вниманием разглядывали их ребята, которых привел в музей немолодой уже учитель.

— Иван Яковлевич составил для вас первый букварь, — говорил он. — Взгляните, вон под стеклом эта великая книга. Великая, потому что она первая, от нее пошли другие. Теперь везде у нас в Чебоксарах вывески: "Кенекесем", "Книги". А прежде была поговорка: "Чувашскую книгу корова сжевала".

В знакомом городе ищешь перемен. Та приволжская часть Чебоксар, где стоит музей, пока не богата ими. В этом повинно очередное волжское море, которое скоро подойдет к городу. Оно образует залив в низине вдоль речки Чебоксарки. Часть нынешней городской территории уйдет под воду, там, естественно, ничего не строят. Строить станут позднее вдоль новой набережной залива.

Центр сегодняшних Чебоксар подальше от Волги, в глубине, где поднимаются в гору полосой асфальта в щедром обрамлении лип и белых лепестков светильников улица Маркса и проспект Ленина, где сооружен Дом Советов и бронзовый Чапай, слитый со вздыбленным конем, заносит шашку на высоком монолите.

Я не буду оригинальным, напомнив, что от угла сквера, где скачет Чапаев, начинается улица Андрияна Николаева. Их слава разделена пятью неполными десятилетиями. Сабельная атака — и полеты в космос.

Автобус привез к памятнику экскурсантов. Они торопились. Экскурсовод скороговоркой перечислял:

— Химический комбинат. Хлопчатобумажный, крупнейший в стране, я говорил вам о нем. А тракторный завод будет вот там. Есть вопросы?

Слушали экскурсовода вяло. Заводы, комбинаты? Чего же тут удивляться? Так и должно быть, это везде есть.

В книжке о Волге, изданной в 1914 году, о Чебоксарах было написано: "Живут чувашаи в деревнях, в город же приезжают главным образом для сбыта яиц, так как куроводство является тут одним из видных местных промыслов". Когда полвека назад Чувашия получила автономию, в Чебоксары пришло правительственное задание: поставить для нужд Красной Армии два миллиона пар лаптей, поскольку в царское время именно отсюда лапти, лыко и рогожи расходились по ярмаркам всей России.

Сегодня республика поставляет стране разнообразные средства автоматизации, магнитные станции, сложнейшие механизмы для современных предприятий, красители для искусственных волокон. Что же касается лаптей, то их все же можно найти в магазинах сувениров. Правда, маленькие, меньше мизинца, но сплетенные весьма искусно.

В центре Чебоксары, пожалуй, современнее Казани. Казани от прошлого осталось довольно много, Чебоксарам — разве что старые храмы. По сравнению с первыми годами Советской власти чебоксарцев стало больше в двадцать пять раз. Ясно, что город поставлен заново, что он давным-давно вобрал в себя окрестные деревни и разбежался далеко за бывшие их околицы. Но и в еще недостроенных кварталах уже насажены деревья, причем не быстрорастущие, неприхотливые тополя, а нежные березки.

К университету троллейбус шел из центра по улице Гузовского. Бронислав Гузовский был лесничим. Четверть века он отдал разведению дуба. В музее я видел его портрет: чеховское пенсне, закрученные усы, борода и очень строгие глаза очень доброго человека.

В наших городах, вероятно, не так много улиц, названных именами лесничих. Но чуваша лесопоклонники. Они любят и берегут лес. Это народная черта, поэтическая и прекрасная.

Университетские корпуса стояли посередине перекопанного поля. Рядом с перелесками виднелись заброшенные карьеры.

В книжном киоске я спросил издания трудов университета.

— Не успели еще напечатать, — развела руками киоскерша. — Открыток с университетом тоже нет. Ребята очень интересуются, хочется им послать домой: вот, значит, где учимся. А у меня нет. Не знаю, кому жаловаться.

Университет, совсем еще молодой, стал четвертым высшим учебным заведением Чебоксар. Подбирая для него преподавателей, выяснили: среди советских ученых не менее 670 уроженцев Чувашии, причем многие из них начинали со студенческой скамьи в первых чувашских институтах. Кликнули клич по всей стране — и получили больше откликов, чем ожидали. Об этом мне рассказал председатель Верховного Совета республики Михаил Яковлевич Сироткин.

— Мы, чуваша, домоседы. Услышали люди про университет — и потянулись на родину из Горького, из Казани, из Иванова.

Сам Михаил Яковлевич родом из чувашской деревеньки, которую поглотил разросшийся Новочебоксарск. Учителем в начальной сельской школе, потом — институт. Теперь профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук.

Михаил Яковлевич напомнил, что первый камень университета был заложен в Чебоксарах вскоре после революции, когда чувашаи целую неделю праздновали образование своей автономной области, позднее ставшей республикой.

Не в фигуральном смысле заложен, а так, как полагается при закладках. Камень залили цементным раствором, оркестр исполнил "Интернационал". Правда, кое-кто говорил тогда, что для начала лучше бы открыть институт, педагогический или сельскохозяйственный. Большинство было, однако, за университет. Понимали, конечно, что это не сегодня и не завтра. Но пусть хоть в мечтах будет свой чувашский университет.

Михаил Яковлевич вырос в семье лесничего, и я спросил его о Гузовском.

— Он был влюблен в свое дело, его опыт до сих пор считается классическим. Да, весьма почитаемый человек, весьма. Вы ведь бывали в чувашских деревнях? Весной идешь, деревни не видишь, думаешь — лес. Прежде у нас каждый взрослый должен был посадить за свою жизнь никак не меньше пятнадцати-двадцати деревьев. Родился ребенок — посади "его" деревцо. На выгонах сажали ветлы, и считалось, что тот, кто посадил, тот им и хозяин. Жаль, что сейчас сажают меньше. Дерево растет долго, когда сажаешь, хочешь верить, что своими глазами увидишь его взрослым, пышным. А теперь люди — в движении, едут на стройки, на новые заводы.

Михаил Яковлевич посоветовал встретиться с доктором исторических наук Василием Дмитриевичем Дмитриевым. Он преподает в университете и возглавляет республиканский научно-исследовательский институт, занятый, в частности, проблемами языка, литературы и истории Чувашии.

Василий Дмитриевич сказал, что университет на одном из первых мест в стране по учебной площади и



площади общежитий, приходящейся на каждого студента.

— Тут мы превосходим, например, Ростовский более чем втрое. Нам помогает вся республика. И Москва не забывает. Строим здания медицинского факультета, химического. Следом — главный корпус, корпус историко-филологического, библиотеки. В перспективе до пятнадцати тысяч студентов.

Василий Дмитриевич сын крестьянина-чуваша. Два курса пединститута окончил до войны. Потом воевал "с перерывом на ранение", войну окончил гвардии лейтенантом под Кенигсбергом. Вернувшись, поступил на третий курс. Кандидатскую диссертацию защищал в Москве, докторскую — в Ленинграде.

В университете больше половины студентов — чуваша, много русских, немало татар и марийцев, есть армяне и грузины. Среди докторов наук и профессоров университета две трети — чуваша.

...Начало же этому — в комнате сироты Ивана Яковлева, бывшего поводыря слепых из глухой чувашской деревни, с настойчивостью Ломоносова пробившего дорогу к знаниям. Он, тогда еще гимназист, собрал однажды четырех подростков-чувашей у себя и посадил их за книги. Сначала — всего четверых. А ему виделись классы большой чувашской школы...

Рвение и способности юноши Яковлева были так велики, что ему удалось поступить в Казанский университет. Приезжая в Симбирск на каникулы, он трогательно заботился о своих питомцах. Знакомство с Ульяновым окрылило его. Илья Николаевич стал брать Яковлева с собой в поездки по губернии, опекал первую чувашскую школу в Симбирске, вместе с Яковлевым открывал чувашские школы в селах. И, наконец, с помощью и при поддержке Ильи Николаевича симбирская школа со временем превратилась в учительскую семинарию...

"Имени И. Я. Яковлева" — написано на вывеске Чебоксарского педагогического института.

"Имени И. Н. Ульянова" — читаем мы на зданиях университета столицы Чувашии.

\* \* \*

Много лет назад на книжном развале я купил потрепанный томик. То было сочинение Павла Свиньина "Картины России", изданное санктпетербургской типографией Греча в 1839 году. В нем есть такие строки: "Можно ли равнодушно смотреть на могилу обширной столицы народа, некогда богатого, могущественного? Можно ли без чувств, без размышления видеть сии немые, скудные свидетельства его существования? Несколько уединенных башен, разбросанных по пустыне, изрытой буграми, несколько распавшихся стен, поросших кустарником, — вот все, что осталось от знаменитого города, от великолепных зданий, от пышных, роскошных гаремов! Скоро, может быть, плуг поселянина изгладит с лица земли последние их остатки, а ветер полночный разнесет и самую пыль их!"

О какой части России идет здесь речь? Пустыня, уединенные башни, гаремы... Крымские степи? Уголок Дагестана? Местности, пограничные с ханствами Средней Азии?

Нет. Свиньин описывает поездку по Волге. Он рассказывает о древнем городе, который в разные времена называли Великим Болгаром, Великими Булгарами, Великими Болгарами.

Ветер полночный не разнес пыль развалин.

По-прежнему над раздольным лугом заливаются жаворонки, возле тополей кружат грачи, и в этот русский пейзаж чужеродно врезаны странные,

загадочные строения. Не первый раз я вижу их, но неизменно испытываю чувства, близкие так поэтично выраженным в старинной книге.

А до ее автора разве не волновали они многих?

Петр Первый, побывав здесь, велел оковать железными обручами башню Большого минарета, распорядился собрать могильные плиты с таинственными надписями, приказал казанскому губернатору Салтыкову послать каменщиков для исправления поврежденных зданий с тем, чтобы и впредь беречь их от разрушения.

Бывали здесь многие российские академики. Екатерина Вторая написала о своем посещении Великих Булгар пространное письмо Вольтеру. Свыше ста лет сюда наведываются археологи.

Развалины, о которых идет речь, — лишь один из многих памятников культуры волжских булгар. Совсем недавно найден большой булгарский клад... на улице Чернышевского в Чебоксарах. Но Великие Булгары, безусловно, самый впечатляющий и наиболее сохранившийся памятник культуры народа, когда-то много значившего в Поволжье. Развалины, интерес к которым все растет, находятся в Татарии, возле городка Куйбышева-Татарского. На этой небольшой пристани вместе со мной сошли с парохода местной линии молодые архитекторы из Таллина, ленинградский художник и экскурсанты-школьники из Набережных Челнов.

От Волги город отделен сосновым бором. Тропинки прихотливо вились меж стволов, пахло нагретой хвоей, слышались всплески волн. Приход Куйбышевского моря передвинул районный город, поднял его повыше, расширил его улицы, но не отнял те удобства жизни небольших поселений, которые особенно ценят люди на возрасте, трудно, суматошно, беспокойно прожившие жизнь в кочевьях со стройки на стройку.

Главная улица начиналась у белого обелиска, поставленного на могиле героев, павших в годы гражданской войны. Она тянулась через весь город и выходила в чистое поле, к дороге, пересекавшей что-то вроде заброшенной железнодорожной насыпи. Но это были остатки некогда высокого вала, окружавшего Великие Булгары. За этим валом начинается Прошлое.

Еще и сегодня мы далеко не все знаем о древних обитателях берегов Средней Волги и низовьев Камы. Видимо, в VIII веке к поселениям местных племен прихлынули пришельцы с юга. То были кочевники булгары. Под натиском хозар часть их из родного Приазовья ушла на Дунай, где позднее вместе со славянами образовала существующее и поныне государство дунайских болгар, а часть осела на Волге.

Волжская Булгария стала одним из ранних феодальных государственных образований нашей страны. В X веке она обменивалась посольствами с далеким Багдадом, с владениями среднеазиатских ханов, с Киевской Русью. Арабские послы доносили, что булгары народ земледельческий, сеют ячмень, просо, пшеницу и торгуют хлебом с соседями. На ярмарках торговые гости видели дамасскую сталь, иранские и армянские ковры, русские мечи, прибалтийский янтарь.

Связи со среднеазиатскими центрами ислама и Арабским Востоком принесли в Булгарию мусульманскую религию. Над Суваром, Биляром, Булгаром, тремя городами, попеременно оспаривавшими честь называться болгарской столицей, поднялись многочисленные минареты.

Отношения булгар с крепнущей Русью складывались не просто. Тут было далековато до прочного мира и соседской идиллии. Хотя в болгарских городах русские купцы имели даже свои посады, случалось и так, что болгарские и русские дружины схватывались в жестоких сечах. Владимиро-Суздальский князь Андрей

Боголюбский был женат на болгарской царевне, и он же трижды "ходи на Булгары". Путь к Каспию был поводом для стычек и раздоров.

Потом русские и болгары испытали печальную общность судьбы, принесшую им, однако, столетие взаимного мира. После победы над русско-половецкими войсками на реке Калке монголы хлынули и на Болгарию. Здесь их передовые отряды встретили сильный отпор, и лишь несколько лет спустя огромная монгольская армия, предводительствуемая Батыем, по свидетельству русского летописца, "взяша славный Великий город Болгарский и избиша оружием от старца и до уного и до сущаго младенца..."

Опасаясь непокорства болгар, Батый разместил свою ставку в окрестностях разоренного Великого Булгара и лишь позднее основал в низовьях Волги город Сарай, ставший центром Золотой Орды.

После монгольского нашествия часть болгарских городов пришла в полный упадок. Но Великий Булгар, напротив, став центром подчиненной Золотой Орде Болгарии, превратился в крупный процветающий город. В нем жило до пятидесяти тысяч человек. XIII–XIV века были временем его расцвета. А затем началось постепенное угасание, завершившееся в XV веке окончательным разрушением некогда богатого и славного города.

Забытый, он лежал в развалинах. Вокруг них застроилось село Успенское, которое, однако, по старой привычке чаще называли Булгарами или Болгарами. Сюда влекло многих ученых, которым доводилось побывать на Волге. Археологи не забывают дорогу к развалинам.

Перейдя оплывший крепостной вал, я направился к изгороди, защищавшей остатки средневекового города от набегов хищных орд любителей сувениров. Толкнул калитку. Незаперта. Возле развалин ни души. Может,

археологи уехали копать куда-либо по соседству, ведь памятников Булгарского царства в Татарии много. Но этак, пожалуй, иной турист может захватить с собой на память кусочек обливной керамики: отковырвет от стены и поминай как звали...

— Вам кого?

Буквально из-под земли, из глубокого рва раскопа, поднялся паренек лет шестнадцати. Он смотрел строго, я бы сказал — с подозрением, будто прочел мои крамольные мысли.

— Мне бы Алексея Петровича.

— Один тут я на охране памятников, все ушли на воскресник, В прошлую субботу ураган был, повалил забор у краеведа Королева, вот и чинят.

— И Алексей Петрович там?

— А как же.

Собеседника моего зовут Сафа, он учится в местной школе и, как многие ученики, уже не первый год работает на раскопках.

— Интересно?

— А то нет?

Я стал расспрашивать Сафу, что это за развалины. Сафа не поверил, будто я не слышал о Великих Булгарах — откуда же тогда мне известно имя-отчество профессора Смирнова?

Но, увидев блокнот, посерьезнел, насупился и довольно толково рассказал историю мертвого города. При этом он говорил "мы", "наш", "наши предки".

Для некоторых нынешних народов Поволжья, прежде всего для татар и чувашей, Булгария — частица родной истории. Многие выходцы из Булгарии осели позднее в Казанском ханстве.

Сафа на полуслове прервал рассказ почтительным шепотом:

— Алексей Петрович...

Профессор Смирнов, возвращаясь с воскресника, заметил чужого в своих владениях и направился к нам.

— Вот товарищ из Москвы интересуется, — виновато сказал Сафа.

Профессор вздохнул. Возможно, он подумал, что лучше уделить мне все же часть воскресного дня, чем откладывать это на завтра, когда у него и без меня будет много дел.

Примерно полтора десятка лет назад я побывал в Великих Булгарах, но, к сожалению, после полевого сезона археологов. В осенний день, под дождем, торопливо пробежал по пустому мертвому городу. Запомнился лишь Малый минарет, каменным столбом поднятый над полем. У меня было ощущение, что теперь строений стало гораздо больше и выглядели они куда внушительнее.

— Да, с тех пор многое реставрировано, — сказал профессор. — Но еще больше предстоит сделать. Пройдемте для начала в Красную палату.

Собственно, никакой палаты не было, а был фундамент с уцелевшей кое-где каменной кладкой. Я шагнул было напрямик, но Алексей Петрович остановил меня:

— Нет, нет, мы с вами все же цивилизованные люди! Войдем в двери. Пожалуйста, сюда.

И он показал, где именно полагалось перешагнуть полужаросшие травой кирпичи.

— Вы слышали, конечно, что Красная палата названа по цвету штукатурки, покрывавшей ее стены. Она величественна, как палата, но это всего лишь баня. Красная палата была чем-то вроде Сандуновских бань в Москве: стояла в центре, на бойком месте, имела бассейны с холодной и горячей водой. Под полом проходили дымоходы, нагревавшие плиты. А вот здесь был фонтан, красивая каменная розетка с двенадцатью лепестками. Тут проводили много часов, беседуя, играя

в шахматы, оговаривая торговые сделки, а может, слушая стихи поэтов. Теперь, пожалуйста, в центр города.

Мы зашагали к берегу, где возле старинного православного храма располагались строения, сложенные из каменных глыб.

Перед поездкой в Булгары я провел немало времени в казанских музеях. Там собраны репродукции с рисунков, сделанных еще в то время, когда был цел Большой минарет, баня Белая палата и некоторые другие строения мертвого города. Их успели зарисовать с натуры Паллас и Чернецов.

Музеи хранят камни с резным орнаментом, украшавшие мечети и дворцы Великого Булгара. В витринах собраны изящные изделия булгарских ремесленников. На медном замке, изготовленном в XII веке, мастер оставил о себе памятную надпись, которую я списал дословно: "Работа Абу-Бекра, сына Ахмеда. Вечная слава и мирный успех и счастье всеобнимающее, и величие и благосостояние да будет владельцу сего замка". Уж если простой ремесленник был способен написать столь поэтично, то надо думать, что поэзия вообще почиталась в булгарских городах.

— Кстати, известно ли вам, — повернулся ко мне профессор, — что Красную палату открыли случайно в тридцать восьмом году, когда все остальные памятники были хорошо изучены? Местные жители давно пережигают известняк на известь. И вот кто-то мне рассказал про старика, который в молодости добывал известняк на раскопках. Этот старик наткнулся на каменную ванну, стал ее подкапывать, она сорвалась, ему сломала ногу, а напарника раздавила. Погибшего похоронили, ванну, причину несчастья, засыпали. Я разыскал этого старика, он показал, где все произошло. Место это засыпано песком, можно было ходить мимо каждый день и ничего не заметить.



— Но сколько же лет вы в Булгарах? — поинтересовался я. — Вот вы упомянули про тридцать восьмой...

— Ну, в тридцать восьмом я тут был уже своим человеком! А вообще-то сначала занимался археологией финно-угров. Доказывал, что у древних удмуртов существовали феодальные отношения. Это на самом деле не так, но когда-то был убежден в своей правоте. И вот археолог Спицин, Александр Андреевич, как-то мне и говорит: "Ну что вы спорите? Поезжайте в Булгары, посмотрите настоящий средневековый город и сами убедитесь, что ваши удмурты были лишь на грани феодальных отношений". Я поехал. Это было в тридцать третьем. И вот в сущности с тех пор... Правда, с некоторыми перерывами. Был в московском ополчении, воевал. Некоторое время перед пуском волжских гидроэлектростанций работал в зоне затопления. Тут брали широко! Нашли тогда на Средней Волге стоянки древнего каменного века, раскопали много стоянок и курганов эпохи бронзы. Ну и, конечно, здесь, в Булгарах, поработали не зря. Открыли и изучили кварталы ремесленников, нашли сыродутые горны девятого века, едва ли не древнейшие в Европе литейные печи для выплавки чугуна.

— Но ведь Великие Булгары не в зоне затопления? Вон как тут высоко!

Мы вышли к береговому яру. Внизу простиралось Куйбышевское море. Зеленые островки поднимались над его дремотными водами.

— Там тоже был город, — Алексей Петрович в ответ жестом ограничил едва не полморя. — Нижняя часть Великих Булгар. Внизу текла речка Меленка, доступная для легких стругов. По ней и поднимались к этому яру от Волги, до которой было семь километров. В нижней части города жили ремесленники. Была там и русская

слобода. Оттуда, снизу, любовались вот этими величественными сооружениями.

Алексей Петрович видел то, чего не видел я. Нам, простым смертным, иногда изменяет чувство исторической перспективы. Видя сооружения древних, мы подчас оцениваем их масштабы глазами людей второй половины двадцатого века. Археологи обладают способностью увидеть, например, минарет четырнадцатого столетия глазами средневекового дервиша, странствующего мусульманского монаха.

Я видел всего лишь несколько полуразвалившихся и частично реставрированных построек, грубовато сложенных из каменных плит и глыб. Самая высокая из них едва ли могла дотянуться до крыши современного трехэтажного дома. Отдельно поднималась колонна с капителью, основательно подновленная. Местами каменные плиты образовывали что-то вроде мостовой, или, быть может, пола несуществующего здания. Вот и все, что видел я.

Алексей Петрович смотрел на развалины другими глазами:

— Взгляните на эту великолепную Черную Палату! Внизу — куб, далее восьмиугольник, и над ним — полусферический купол. Это, вероятно, мечеть. Не главная, заметьте! От главной остались развалины, но мы можем судить о ее поистине грандиозных размерах — не меньше, чем сорок на сорок метров. Массивные башни по углам, великолепный портал главного входа... И колонны — вы видите одну из них, а их было двадцать! Перекрытия такого же типа, как у мечети Амру в Каире. Рядом с главной мечетью, по преданию, находился ханский дворец. Ищем его не один год, пока, к сожалению, не нашли. Вот это сооружение — так называемое дюрбе — мавзолеей знати, возможно, даже местных ханов. Мы с вами в центре большого города четырнадцатого века.

— А более ранние времена? Они не оставили следов?

— Если говорить о самом древнем поселении, то оно существовало очень давно: здесь найдены римские монеты. Когда возник вопрос о превращении памятников Великих Булгар в заповедник и начались реставрационные работы, нужно было точно датировать каждое сооружение. Непременно! Без этого невозможна подлинно научная реставрация. А датировать не просто. В восемнадцатом веке на развалинах Булгар был создан православный монастырь, над дюрбе водрузили крест, мавзолей превратили в храм святого Николая. Но давайте посмотрим поближе церковь Успения.

Церковь, довольно громоздкая в сравнении с постройками средневекового города, стояла как раз посреди них. Мне она не показалась интересной, таких у нас сохранилось достаточно.

— Восемнадцатый век среди четырнадцатого, — сказал Алексей Петрович и зачем-то повел меня вокруг храма. — Но, я вижу, вы ничего не замечаете?

Я посмотрел на стены, на колокольню.

— Глядите в корень, — рассмеялся Алексей Петрович. — Вот!

И он показал глазами на фундамент. По плитам, из которых он был сложен, тут и там бежала причудливая арабская вязь. Я не обратил внимание на траншеи, окружавшие храм. Думал — просто ремонт. А их, оказывается, нарочно прорыли, чтобы были видны надписи.

Монахи пустили древние плиты в дело. Хорошо еще, что клали целиком, не дробя, не разбивая.

— Так вот, — продолжал Алексей Петрович, — мы должны были датировать каждое сооружение. Реставраторам нужна твердая опора: время возникновения, время гибели, для того чтобы достоверно восстановить архитектурные детали, элементы декора, свойственные именно этому периоду.

После работы, занявшей не один год, мы можем сказать с полнейшей уверенностью: все эти здания начали строить сразу после монгольского погрома, после нашествия Батыя.

Алексей Петрович рассказал, как именно удалось уточнить датировку.

— При раскопках мы обнаружили домонгольский культурный слой. Прошли монголы — на него лёг слой пожара, слой битвы: уголь сгоревших зданий, обломки оружия. Мы натыкались на следы страшной расправы: обезглавленные, на части разрубленные туловища. Но они находились, как у нас принято говорить, в анатомическом порядке: были похоронены в общих могилах. Это могли сделать вернувшиеся на пепелища жители и никто больше. Они и начали постройку новых зданий, в частности соборной мечети. Тогда делали так называемые ленточные котлованы для фундаментов, то есть рыли землю только там, где клали камни опоры. Естественно, что выбрасываемая земля должна была ложиться на слой пожара. Именно это мы и обнаружили. По-видимому, экономические затруднения задержали стройку, растянули ее на много лет. Почему мы так думаем? Потому что выброс земли возле завершающих здание угловых башен лёг уже не на слой пожара, а на новый культурный слой, накопившийся примерно за сто лет. Подле соборной мечети вся площадь была замощена, засыпана слоем битого кирпича и щебня. В этом слое мы нашли монету 1330 года Четырнадцатый век.

Алексей Петрович посоветовал мне еще походить по Великим Булгарам без спешки (и без него: увы, дела!). Он тут же набросал в блокноте маленькую схему, и мы расстались, условившись, что перед отъездом я еще загляну в сельскую школу, где разместились археологи.

После того как прошлое перестало быть для тебя чужим, наверное, действительно надо с ним побыть

наедине, собраться с мыслями, попытаться ощутить ставшую близкой даль столетий. Я пошел вдоль городского вала, туда, где был въезд в город. Ворота не сохранились, но о ширине их можно было судить по разрыву вала, который, как определили раскопки, был укреплен бревенчатой стеной с башнями. Башни стояли часто, так, чтобы в пространстве между ними стрелы могли поражать противника.

Потом я вернулся к берегу. Колонии торговых гостей Великих Булгар находились внизу, под обрывом, где текла Меленка. Не там ли жили русы, о которых рассказал побывавший на Волге с посольством багдадского халифа арабский путешественник Ахмед Ибн-Фадлан?

Он встретил их на пристани для иноземных купцов и нашел, что стройностью они подобны пальмам, румяны и красивы. Араб стал свидетелем похорон вождя русов. Собрали всех его родных, его свиту и спросили: "Кто хочет умереть вместе с ним?" Вперед выступила девушка.

Корабль умершего вытащили на берег и в палатку посередине судна посадили, подперев подушками, мертвеца. Рядом положили оружие и пищу, умертвили собаку, двух лошадей, двух коров, чтобы умерший ни в чем не нуждался по дороге в загробный мир. Девушка поднялась в палатку, взяла кубок и запела последнюю свою песнь. Зловещая старуха проскользнула следом за ней. Воины били деревяшками о щиты, чтобы заглушить крики убиваемой.

Когда в палатке все стихло, запылали дрова, заранее уложенные под кораблем смерти. Не прошло часа, как и судно, и вождь, и принесящая себя в жертву девушка превратились в угли. Потом русы насыпали круглый холм, водрузили на нем ствол белого тополя с именем умершего и разошлись.

О давних связях обитателей волжских берегов с арабским миром мне приходилось много слышать на Ближнем Востоке.

Моим добрым спутником в путешествиях по Египту и Сирии был арабист Малюта Фазлеевич Гатауллин, кандидат наук, человек, влюбленный в арабские древности. Родом он был из татарской деревни, в школу бегал за четыре километра. Выучился на тракториста, а там — война. Сменил трактор на танк, дошел до Берлина.

После войны окончил институт востоковедения, поехал в Каир. Арабы называли его доктор Мавлют Ата-Алла. Их удивляло, что советский "русин" свободно читает коран и знает обычаи Египта.

Малюта Фазлеевич тратил почти все деньги на покупку старинных арабских книг, ночами сидел над ними, конспектируя и делая выписки. Во время стажировки в Каирском университете он ознакомился с новыми работами египетских историков, в том числе с исследованиями профессора аль Холи.

Профессор изучал связи между Волгой и Нилом как раз в те времена, когда Великие Булгары расцвели вновь после монгольского погрома. Шел обмен посольствами, идеями, товарами, народы узнавали друг друга. Более того — воины с Волги шли служить в Египет, становились там военачальниками и даже султанами.

Родом с Волги был султан Бейбарс и султан Калаун, основатель династии, свыше века правившей Египтом. Бейбарс не говорил по-арабски, ел лошадиное мясо и пил кумыс по обычаям обитателей приволжских степей. Выходцы с Волги имели в Каире свои кварталы, их называли Орду. В свою очередь Берке, хан Золотой Орды, принял ислам и перенял некоторые обычаи египетского двора.

Историки подсчитали, что в течение двух столетий Нил и Волга обменялись полсотней посольств. Египетские ученые приходят к выводу, что, хотя народы Волги и Нила были отделены огромным расстоянием и вели разный образ жизни, их взаимовлияние было несомненным.

...Под вечер я зашел в школу, летнюю базу археологов. Профессор Смирнов занимал отгороженную брезентовым пологом часть большого класса. Тут же был склад находок, стояли ящики с нивелирами и теодолитами, один угол загромождали рейки и лопаты, а в другом вполголоса беседовали трое молодых людей.

Мы с профессором присели за длинный стол, сколоченный из досок, и Алексей Петрович закончил рассказ о реставрации Великих Булгар. Он с особой теплотой говорил об архитекторе Сайаре Айдарове, искусно реставрировавшем некоторые сооружения. Тот считал, что нельзя древнему памятнику "навязывать свое мнение": пусть он сам говорит за себя тем видом, в каком до нас дошел. Если же дошел таким, что достоверно реставрировать его невозможно, то лучше вообще отказаться от реставрации.

— Реставрируемый памятник — как больной человек, его нельзя сразу поставить на ноги, — заключил профессор. — Тут опасно спешить!

Алексею Петровичу недавно исполнилось семьдесят. Его юбилей праздновали и в Москве и в Татарии. Почти сорок лет профессор Смирнов отдал изучению проблем Волжско-Камской Булгарии. Из двухсот его научных работ около половины связаны с Татарией и другими республиками Поволжья.

Каждый год он на раскопках. Класс — это еще хорошо, а бывает, что над головой все лето только палатка: это когда надо обследовать, а то и раскопать какой-нибудь новый интересный памятник, найденный далеко от селений.

У профессора немало помощников, таких же энтузиастов болгарского средневековья. Некоторые из них станут постоянными работниками будущего музея-заповедника, которому, вероятно, суждено стать очень популярным: уже сейчас в летнюю пору сюда отовсюду тянутся люди.

Я спросил Алексея Петровича, удовлетворен ли он своей работой?

— Люблю эти развалины, они мне дороги, тут часть моей жизни, — ответил он. — Отношение к нам превосходное. Каждый год с нами работают студенты Казанского университета и Педагогического института. Для многих из них здесь — история предков. Несомненно, на этом волжском берегу сохраняется, в частности, очень важный материал для понимания истории татарской культуры, татарского искусства.

Когда пришло время прощаться, я сказал Алексею Петровичу, что вот, мол, повезло Великим Булгарам, вовремя нашлись люди, позаботившиеся об их сохранении.

— Вы, вероятно, меня имеете в виду? — иронически, как мне показалось, улыбнулся Алексей Петрович. — А вы вот познакомьтесь с Василием Михайловичем Королевым.

— Королев? Это которому забор чинили?

— Вот, вот! Здесь он, рядышком, в деревне, вы ведь через нее шли из Куйбышева. Очень рекомендую познакомиться.

На другой день отправился разыскивать краеведа. Первый же встречный показал престарелый дом с развалюшкой-сараем. На крыльце паренек — он оказался правнуком Василия Михайловича — повязывал ошейник терпеливой серой кошке. Сам хозяин чинил в сарае табуретку. Он удивительно напоминал Корнея Ивановича Чуковского, только был малость погрузнее.



Василий Михайлович разговорился не сразу. Временами замолкал, уходил в себя, потом решительно встряхивал седой гривой:

— Так о чем это я? Да, здесь с девятьсот шестого года, скоро сам попаду экспонатом в музей. И все здесь, в Булгарах. Это ведь не просто село, это вольная республика. От города валом и рвом отгорожены. Пошло село от развалин. До Петра были развалины круглыми сиротами, никому до них не было дела. Ну, Петр велел беречь, хранить. Однако место это монахам приглянулось. Они, монахи, испокон веку работать не любили, стали селить при монастыре крепостных крестьян. Потом монастырь упразднили — мужики остались. Село переименовали в Успенское, только народ о том слышать не хотел: Булгары и Булгары! Сам-то я нижегородский водохлеб, приехал сюда учительствовать в младших классах. И понравилось мне здесь. Сразу. Лето солнечное, весна дружная, зима крепкая, ясная. Нет лучше места для жизни, уж поверьте. Мне девятый десяток идет, пятьдесят лет учительствовал, и вот ничего, на здоровьишко не жалуюсь.

— А знаете, Василий Михайлович, на кого вы похожи, особенно в профиль?

— Знаю, все говорят...

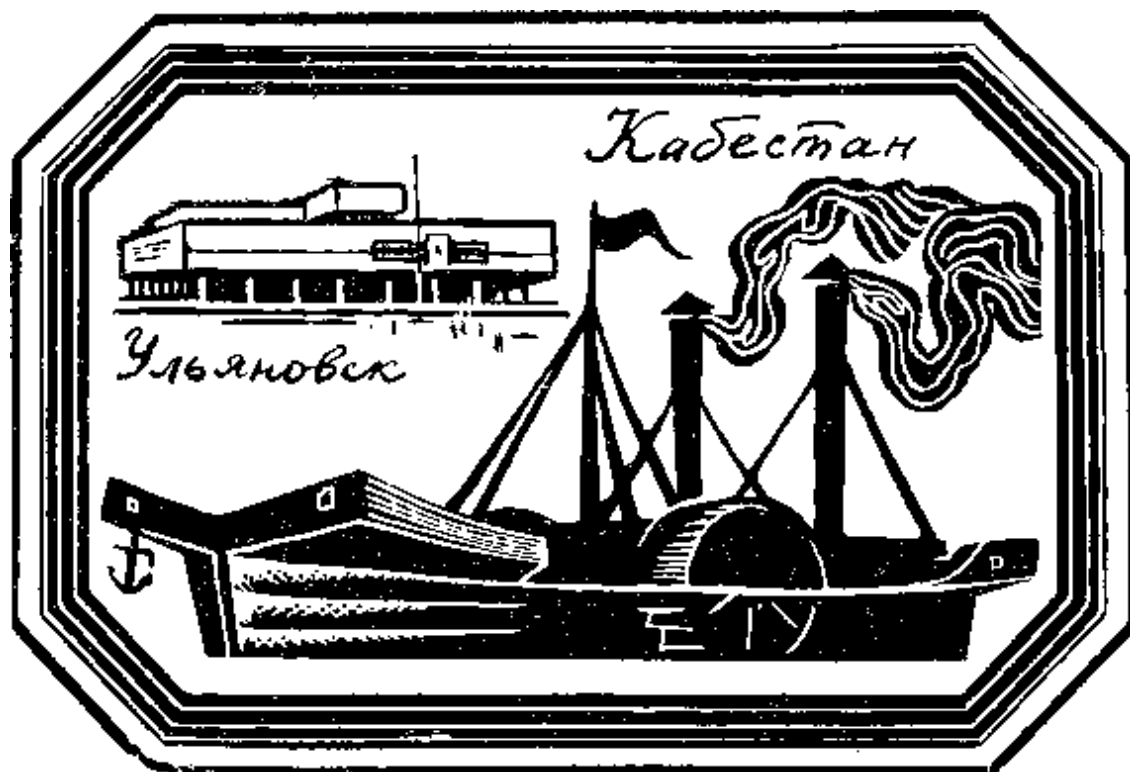
Опять задумался, смолк.

— Что-то я все о себе! Вас, поди, Булгары интересуют? Ну, я как приехал, так сразу включился, не дело, думаю, чтобы камень растаскивали. Стал разъяснять, а кого и постращал. В девятьсот пятнадцатом приехал Смолин — археолог, очень одобрил, благодарил, устроим, говорит, музей. Ну, устроили, а тут война, революция, опять война. Грабарь Игорь Эммануилович приехал в девятнадцатом, он тогда был в комиссии по охране памятников старины "Ну, — говорит, — учитель, засучи рукава, береги все тут", А

средств для охраны — никаких. Не все сберегли. Не все. На обжиг извести сколько ушло. Иной хозяйственник — ведь он дикарь. Даже хуже дикаря. Ему был бы план. Нужна известь? Нужна. А известняк — вот он, под боком. С тех пор, с девятнадцатого года, и хожу, смотрю, чтобы не озорничали. Свободный час — я туда, к развалинам. Только последние несколько дней не был. Сейчас-то ничего, там Алексей Петрович. А зимой, когда все уедут? Алексей Петрович многих заинтересовал в Казани, да и в Москве, у него целая школа археологов, и местному населению все разъяснил, привил любовь к камню. Однако же бывают люди со стороны, для них камень и камень... А тут под землей еще многое сокрыто, копать надо, копать. Ведь ценность-то это какая для народа!

Старый учитель проводил меня за калитку. Под окнами его домика шелестели березы. Вдали, над крышами, над антеннами телевизоров, виднелись на бугре неожиданные для среднерусского пейзажа каменные палаты и острый минарет, напоминая о разнообразии и сложности прошлой волжской жизни, о давних войнах, о волнах культурных влияний, и накатывавшихся на Поволжье, и расходившихся от берегов великой реки.

## Земля симбирская



*У стен Мемориала. — Московская улица. — Комната над лестницей. — Размышления у старой, карты. — До того, как дом стал музеем. — История "Фрегата "Паллады". — Художник из Прислонихи.*

Беломраморный Ленинский мемориал поднят над Волгой.

Как бы под защитой его стен — два дома. Два старых дома, каких прежде было много в Симбирске. В одном из обыкновенных этих домов родился Ленин. В другом прошли первые месяцы его жизни.

А рядом третий, давно и хорошо знакомый двухэтажный деревянный дом, где семья Ульяновых прожила до лета 1875 года. И вот каким был тогда маленький мальчик Володя Ульянов, посмотрите, он стоит подле дома, и мать положила ему руку на плечо...

У подножья этой трогательной своей человечностью скульптуры алеют тюльпаны. Солнце заливает площадь, просторную и строгую. Стеклянная громада гостиницы горит исполинским маяком. А люди и замечают, и не замечают ее. Они смотрят на старые дома. Величественных зданий, задуманных талантливыми архитекторами и выполненных искусными строителями, по планете разбросано немало. И не столько беломраморный фасад Мемориального центра, сколько вот эти, принадлежавшие когда-то жене унтер-офицера и вдове дьякона, очень обыкновенные дома, поставленные людьми, пришедшими на заработки в город из симбирской деревни, людьми, не слышавшими слово "архитектура", да и в грамоте едва умудренными, будут привлекать взгляды и сердца наших правнуков, как привлекают сегодня наши.

Беломраморный Ленинский мемориал поднят над Волгой. Завершена главная стройка Ульяновска. Жизнь в обновленном городе снова обрела спокойный ритм.

А годом раньше...

"Белоруссия" пришла в Ульяновск погожим летним днем.

От нового речного вокзала автобус довез пассажиров до "Дома Гончарова". Здесь пересекаются главные маршруты, и нет, наверное, местного жителя, который не смог бы показать дорогу к этому зданию с чугунной доской, напоминающей, что большой русский писатель — местный уроженец.

Я уверенно направился к столпу высотной гостиницы "Венец" (23 этажа, более 1000 мест'). Свернул за угол, прошел сотню шагов и... заблудился! А ведь Ульяновск я знал лучше, чем любой другой город Поволжья, жил здесь больше полугода, путешествуя по Волге, непременно навещал знакомые места. И все-таки заблудился.

Все было перекопано, перекроено, перекрыто. За дощатым забором глухо бил копер. Забор испуганно вздрагивал. Надписи предупреждали посторонних, что вход им запрещен, а жизнь их подвергается опасности. Самосвалы, рыча, подтверждали реальность угрозы. Стена старого дома рухнула вдруг совсем рядом с тополем, поседевшим от пыли.

Единственным знакомым ориентиром в этой строительной сумятице был нелепо торчащий перед строящимся зданием кусок старой монастырской стены. Только тут я понял, где именно нахожусь. Однако едва спасительный ориентир обрадовал меня, как глубокий ров заставил отказаться от надежды пройти кратчайшей дорогой к "Венцу".

И я бежал! Да, позорно бежал в тишь Карамзинского садика, на скамейку под кустом сирени, к памятнику, где Клио, богиня истории, которую в давние годы простодушные обыватели принимали за жену Карамзина, бесстрастно взирает на суету мирскую. Здесь, разложив блокноты прежних лет и заглядывая в путеводитель, приблизительно определил, что именно безвозвратно исчезло в приволжских кварталах.

"В стройке весь город". Мы часто говорим так — и с достаточным основанием — о многих наших городах. Но то, что происходило летом 1969 года в Ульяновске...

Весь город от главной улицы Гончарова до волжских откосов и сами эти откосы, то есть значительная часть прежнего Симбирска, переделывалась почти полностью. Оставалось то, что принадлежит Истории. Вокруг же вкраплений драгоценной старины — даже не современность, а как бы завтрашний день нашего градостроительства.

Город, где триста пятьдесят с лишним тысяч жителей, не может стать только памятником. Он живой, растущий организм. Мемориальный центр, Ленинские музеи, — сердце Ульяновска, или, употребляя совсем уж

не материалистический термин, — его душа. А все остальное строилось для благоустройства жизни людей, для повседневных их нужд, духовных и материальных. Книгохранилище. Дом быта, Дом торговли, крытый рынок. Гостиницы. Новый вокзал. Новое здание педагогического института. Дворец культуры профсоюзов. Дворец пионеров, центр целого детского городка на волжском склоне. Новое здание школы № 1, поскольку старое, бывшая гимназия, где учился Володя Ульянов, сохраняется в значительной мере как мемориальное.

Город был так разворочен и разрыт, что, казалось, нужны годы, чтобы все встало на место. А что именно и где должно встать? Как все будет, когда уйдут строители?

Только увидев на выставке большой макет, я приблизительно представил себе завтрашний Ульяновск.

И вот всего год спустя он уже не завтрашний, а сегодняшний. Макет воплощен в стальных конструкциях, бетоне, стекле, мраморе. На высокой горе, этом естественном пьедестале, Мемориальный комплекс встал символом города.

У причалов Ульяновска швартуются теплоходы. Тысячи и тысячи людей поднимаются на гору. Тем из них, что попадают сюда впервые, кажется, будто всегда был этот город таким, торжественно-величественным...

Я помню другой Ульяновск — сначала довоенный, потом город первой военной зимы.

На улице Ленина вдоль тротуаров намело синие сугробы. Их некому было убирать, они постепенно сжимали проезжую часть. Только возле Дома-музея улицу поддерживали в полном порядке.

В ту зиму в городе жил Дмитрий Ильич Ульянов. Рассказывали, что он не раз бывал в доме своего детства и проводил здесь долгие часы, вспоминая прошлое. Младший брат Ленина был последним оставшимся в

живых членом большой семьи Ильи Николаевича Ульянова.

Иногда возле ворот Дома-музея останавливались грузовики. Красноармейцы прыгали через борт, отряхивали снег с валенок. Они заезжали сюда, отправляясь на фронт.

С начала войны в Ульяновске разместили некоторые важные оборонные учреждения. Город оказался перенаселенным. В предвоенные годы в нем строили мало. Он считался районным городом Куйбышевской области. Поражала памятная доска на одном из домов: дерево, раскрашенное под мрамор. Часть улиц не была замощена, глубокие колеи и осенняя грязь затвердели при первом же морозе. Окна старых особнячков с наступлением темноты плотно закрывались ставнями, и оттого улицы казались вымершими. Шагам редких прохожих вторил скрип досок тротуаров.

После конца навигации стихло и внизу, у пристаней. Морозным днем, убегая от ледостава, прошли в Астрахань последние пароходы. Их окутывал пар, на "сияниях" — так называют решетку, прикрывающую гребные колеса, — замерзшие брызги образовали ледяные наросты. Было странно видеть на палубах людей в шубах. Говорили, что это эвакуированные. Прощальные свистки казались простуженными, охрипшими.

Мне памятен один ноябрьский вечер.

Уже стемнело, когда мы с товарищем вышли на Новый Венец. Волга недавно встала, торосистый лед тускло и холодно светился внизу, Подле реки слабо теплилось несколько огоньков. Не помню уже, был ли прочерчен огнями мост или привычно угадывался его затемненный силуэт. С Волги тянул пронизывающий ветерок, не сильный, но кусачий.

Было 6 ноября 1941 года. Торжественное заседание у нас почему-то назначили на завтра. Кажется, в тот

вечер мы собирались пойти ко мне, — я жил на спуске под Венцом. У моего товарища была луковица и четвертинка, у меня дома тоже было что-то, по тем временам подходящее для праздничной трапезы.

Всегда в этот день, вот как раз в эти минуты, в Москве открывалось торжественное заседание. С этого начинался праздник.

Но сегодня в Москве темно, и немцы под Москвой, и в небе висят аэростаты, и, может, как раз в эти минуты воют сирены воздушной тревоги. Да, почти наверное так, немцы знают, что сегодня день нашего праздника, что именно в эти часы...

И вдруг...

Боюсь утверждать, какие именно слова были сказаны первыми. Наверное, "Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!" А может, слова были другими, потому что не сами слова, а неожиданность их заставила забиться сердце.

И потом аплодисменты, тот знакомый шквал аплодисментов, который в те годы мог означать только одно.

Заговорил Сталин.

В Москве — торжественное заседание! В затемненной Москве, откуда до переднего края меньше часа езды на электричке!

Мы стояли, не чувствуя ни ветра, ни стужи. Я не разбираю сначала всех слов, ветер относит их в сторону от черного, раструбом, репродуктора на столбе над Волгой. Будто боясь спугнуть чудо, мы не двигались, хлюпая озябшим носом. Мой друг, который был на десять лет старше меня, вытирал глаза платком.

Потом мы спустились ко мне, и у нас был праздник, как был он и у множества людей в этот зимний вечер тяжелого года, когда после удручающих сводок, извещений о погибших, неуклюжих порой газетных фраз, где деланная бодрость плохо скрывала тревожный



смысл, — после, всего этого Москва с убедительным спокойствием показала свою твердую и полную уверенность в грядущей победе. А на другой день был парад на Красной площади, полки шли мимо Мавзолея Ленина, и Ульяновск тоже был на улицах, совсем другой Ульяновск, как бы распахнувший ставни домов, взбодренный, праздничный.

Помню и Ульяновск десятилетие спустя, когда уже шла стройка в Жигулях и под Сталинградом, когда готовилось открытие Волго-Дона.

Пароход подходил к городу на восходе. Гора давно маячила над Волгой, и мне вспоминалась бурлацкая присказка: "Симбирск видим, да семь ден идем". Но в сущности издали видна только гора, а не город. Может быть, прежде с бурлацкого бичевника различались золоченые соборные кресты?

Было пять утра. Все знали: музей еще закрыт и пароход покинет город раньше, чем откроются его двери. И все же каюты опустели.

Взошло солнце. Над луговым Заволжьем, обтекая купы деревьев, стлался туман. Вокруг старой длиннющей лестницы, поднимавшей несколько сот ступенек от пристани к городу, остро пахли кусты смородины. В садах на склоне пробовала голос кукушка.

На бульваре Нового Венца буйно цвел шиповник, гость заволжских вольных лугов. Облетевшие лепестки алели на мокром песке.

— Море ждем, — сказал садовник, поливавший клумбы. — Народ переселяют, порт строят.

Он показал под гору, где ютились домишки старой части Ульяновска и куда скоро должна была прийти вода.

На улице Ленина перед деревянным домом в листве тополей шумели грачи.

Музей был закрыт. Заглянули во Двор, заросший травой. Подошел сторож.

— Вот, рановато мы...

— Ничего, и до вас люди приходили, — ответил сторож. — Человек двадцать. В час ночи. Сейчас хорошо, лето. А бывает, зимой затемно приходят.

...Потом пришло под Новый Венец море. То лазурное, теплое, то взбаламученное, хмурое. Чуть очерчиваются призрачно-голубые острова и дальние мысы. За каменным волноломом разгружаются корабли. Теплоход скользит под арку моста на юг, к синему Каспию. Как тут не вспомнить Карамзина, говоривавшего, что симбирские виды уступают в красоте немногим в Европе!

По склонам горы спускаются к морю сады. Весной тут белые водопады яблоневого цветения. Соловьи слетаются на гору петь до ранней зорьки. А на самом Венце — бульвар, где ветер с моря колеблет пламя Вечного огня у братской могилы героев, погибших при освобождении Симбирска в сентябре 1918 года.

В первых цепях наступавшей Железной дивизии шли тогда симбирские коммунисты — земляки Ленина. Они поклялись в ответ на выстрелы эсеровской террористки освободить родину раненого Ильича от белогвардейцев.

Штурм Симбирска был стремительным и яростным. Утром 12 сентября 1918 года над волжским косогором уже алели флаги. А немного позже взволнованные комиссары прочли перед строем телеграмму Ленина, поздравлявшего победителей:

"Взятие Симбирска — моего родного города — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил".

Родной город Ленина... Еще в первые годы революции на митингах и собраниях говорилось, что он должен носить имя Владимира Ильича. Но все знают, каким врагом величания Ленина был сам Ленин. И только в год скорби, несколько месяцев спустя после

кончины Владимира Ильича, родной его город волей народа стал Ульяновском.

Над Новым Венцом, над волжским морем — бронзовый Ленин. Он изваян не таким, каким прибегал на Венец, не мальчуганом, не гимназистом, не юношей с большим выпуклым лбом.

Над Волгой стоит Ленин, который привел народ к победе Октября. Ветер как бы развеивает полы накинутаго на плечи пальто. Ленин смотрит на родной город.

В Симбирске прошло его детство. Здесь юность столкнула его с первыми испытаниями: смерть отца, арест старшего брата. Сюда, в Симбирск, почта принесла номер "Правительственного вестника" с сообщением, что по высочайшему повелению состоялся суд над участниками "злоумышления на жизнь священной особы государя императора", что Александр Ульянов, который "принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приговорительных действиях к его осуществлению", приговорен к смертной казни через повешение.

Страшная и героическая участь брата не поколебала, а укрепила решение Владимира Ульянова о выборе жизненного пути. С этим решением он покинул Симбирск. Потом была Казань, кокушкинская ссылка, заволжская деревня Алакаевка, Самара, где Владимир Ульянов стал зрелым революционером-марксистом. Благодаря ему именно Поволжье вошло в историю одним из первых в России орлиных гнезд марксизма.

Двадцать три года биографии Ленина — Волга, Поволжье...

Любовь к Волге Владимир Ильич сохранил на всю жизнь. В письмах с чужбины, из эмиграции мелькают слова: Волга, Поволжье, Жигули. Конверты и открытки с незнакомыми марками, с почтовыми штемпелями

городов Европы хранят строки, особенно дорогие каждому волгарю.

Из Мюнхена Владимир Ильич пишет в Самару: "Дорогая мамочка! Что-то очень уже давно не имел я от вас никаких вестей". Он беспокоится о матери, которая живет вместе с сосланной в Самару сестрой, и советует им: "Хорошо бы было выбраться хоть в Жигули..." Ему памятли чудесные волжские горы, наверное, он сам тоскует о них.

И сестра, Мария Ильинична, посылает ему открытку с видом Волги. Владимир Ильич получает ее уже в Лондоне. Вскоре туда же приходит письмо, в котором сестра рассказывает о прогулке по Волге. Владимир Ильич пишет матери:

"А Манин рассказ о том, как она на лодке каталась, — меня раздражил... Хорошо бы летом на Волгу!"

На чужбине многое заставляло Владимира Ильича вспоминать родину. После поездки на пароходе из Франции в Италию к Горькому, который жил на Капри, он, упоминая в письмах матери о приятном морском путешествии, сравнивает: "Ехал как по Волге".

"...Вспоминаем Волгу", — пишет затем Владимир Ильич матери в Саратов и благодарит за присланные в Париж волжские гостинцы: рыбу, икру, балык.

"Как-то у вас весна на Волге?" — спрашивает он в другом письме и добавляет, что каждый день смотрит в газете сообщения о погоде в Саратове, где тогда жили его мать и сестра. Узнав, что они собираются летом поехать по Волге, Владимир Ильич пишет: "На реке, должно быть, хорошо будет".

И, наконец, короткая строка из Парижа: "... соскучился я по Волге!.."

\* \* \*

Весна 1870 года была в Симбирске переменчивой, неустойчивой. В марте теплынь сменялась снегопадом и метелью. Лишь вторая половина апреля прогнала хмурые туманы, поторопила Волгу с ледоходом.

Пришла весна и на окраинную Стрелецкую улицу. На проталинах мальчишки играли в бабки. Растаял снег в глубине заросшего лебедой и полынью двора, перед флигелем, где жил с семьей инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов.

Стрелецкая улица тянулась возле Старого Венца, волжского откоса, где стояли когда-то первые стрелецкие караулы.

На Новом Венце, прогуливаясь по заросшему акациями бульвару, "чистая публика" слушала игравший в беседке военный оркестр. На Старом Венце собиралась беднота, мастеровые плясали под гармошку, угощались семечками и водкой.

Неподалеку от дома, где жили Ульяновы, стояла мрачная каменная тюрьма. Старшие дети, выискивая в песке камешки и осколки фаянсовой посуды, слышали временами пугающий лязг цепей, грубые окрики и брань надзирателей.

Володя Ульянов родился как раз в тот весенний теплый день, когда Волга под Старым Венцом взломала лед. Может быть, первыми звуками, ворвавшимися в комнаты после того, как выставили зимние рамы, была переключка пароходов, побежавших по Волге следом за подтаявшими льдинами.

Мы знаем теперь все семь домов, в которых жили в Симбирске Ульяновы. Последняя их квартира на бывшей Московской улице стала всемирно известным Домом-музеем.

Эта улица теперь носит имя Ленина. На ней берегут приметы старины. Дом, ставший музеем, настолько для нее типичен, настолько, в общем, похож на другие сохранившиеся дома старого Симбирска, что на одном

из них, поближе к центру, висит указатель со стрелкой: музей Ленина дальше, вниз к Свяге, а этот, мол, дом самый обыкновенный, здесь жильцы, не стучите к нам в двери...

Бывшая Московская — улица деревянных домов, двухэтажных и одноэтажных, с мезонинами, с замысловатыми массивными наличниками, в которых больше заботы о прочности, чем о хрупкой красоте резьбы, с основательными навесами-теремками над парадным крыльцом, а то еще и над калиткой. Окна мезонинов выходят на заросшие травой просторные дворы, где есть место и для флигеля, и для конюшни, и для садика, и для грядок с луком, и для поленниц дров, с лета заготавливаемых к зиме. Дома окрашены масляной краской, предпочтительно охрой или темной зеленью: здесь жили люди солидные, самостоятельные, они не баловались яркими цветами.

В первые послевоенные годы бывшая Московская оставалась, по словам старожилов, почти такой, какой была в конце прошлого века или в начале нынешнего. Я видел на домах ржавые жестяные таблички страхового общества от огня "Саламандра". Вдоль тротуаров росла пропыленная жесткая трава. На бывшем Богоявленском спуске к Свяге улица кривилась, ее обступали двухконные серые домишки с покосившимися заборами. На лужке подле Свяги паслись гуси и козы.

Тогда совсем нетрудно было представить, как по этой улице, выходящей на тракт, который через леса и степи вел к Москве, скрипели обозы или проносилась почтовая тройка. Воображение рисовало издавший вид тарантас, подкатывавший к крыльцу с навесом. Директор народных училищ Ульянов, разминая затекшие ноги, шел в дом, предвкушая отдых после утомительной поездки по деревенским школам, после ночевки на угарном постоялом дворе, после стычек с тупыми

волостными старшинами и равнодушными сельскими богатеями...

Неподалеку за углом погромыхивает трамвай. По асфальту бесшумно катят автобусы, останавливаются неподалеку у того крыльца, где кучер осаживал когда-то упряжку тарантаса Ильи Николаевича.

В доме на Московской улице все знакомо. Знакомо по книгам, фильмам, снимкам, открыткам, гравюрам. Знакома гостиная с бледными обоями и белыми полотняными чехлами на мебели. Столовая, где старинная швейная машина и шахматы на столе, вокруг которого собиралась семья. Кабинет Ильи Николаевича: имена Некрасова и Добролюбова на корешках книг, педагогические журналы и пособия. Комната матери: стопки книг на разных языках, мотки шерсти для рукоделия. Нянин сундучок с крышкой, оклеенной лубочными картинками и обертками от шоколада. Комнаты детей, где у младших — самодельные игрушки, у Александра — спиртовки, колбы для опытов по химии, в комнате Анны — трогательный конвертик "Моему милому папе", рукой дочери переписанное стихотворение о Симбирске: "...далекий, но сердцу близкий городок, и Волги берег твой высокий, и тротуары из досок".

Мы не избалованы жильем, живем все еще тесновато, и квартира Ульяновых на Московской улице кажется большой. Но по тем временам и, главное, по тому положению, которое занимал Илья Николаевич Ульянов, это была скромная, даже тесная квартира. Действительный статский советник, директор народных училищ — на всю губернию подобных званий и должностей было совсем немного.

Кажется, я могу нарисовать на память план любой комнаты в Доме-музее. Но каждый раз смотрю на все новыми глазами: глазами тех, кто впервые идет по музею рядом со мной. В предъюбилейный и в юбилейный

годы это было не просто. Поток экскурсантов превзошел все ожидания. Целыми днями стояли огромные очереди, от крыльца до колодца в глубине двора, по несколько человек в ряду. В каждой комнате одновременно слышались голоса двух-трех экскурсоводов. Знакомый сотрудник музея говорил мне едва не с отчаянием:

— Работаем на пределе. И ничего нельзя сделать. Разве можно отказать хотя бы одному человеку?

К счастью, мне много раз доводилось бывать в музее раньше, причем и в тихие месяцы, до первых пароходов. Как-то по поручению "Литературной газеты" я провел здесь две недели, ознакомился с архивными документами и, конечно, встречался с посетителями.

Помню: три пожилые женщины в темных ситцевых платьях долго стоят в столовой подле швейной машины.

— Мать Ленина на многих языках разговаривала, образованная, а, смотри, на семью шила, как и мы, грешные, — говорит одна.

В комнате Марии Александровны разглядывают самодельные кружева.

— На коклюшках связано, — шепчет другая, — у нас до сих пор так вяжут.

Родом она из приволжского села. Знает цену труду. И в этом доме все как бы говорит ей: "Посмотри, здесь умели и любили работать". Она шепчет:

— Как мы... Как и у нас...

Идут в детскую. У всех троих — внуки. Склоняют головы над табелями, над похвальными листами, вздыхают... Почему-то очки у старушек — одни на троих. Сейчас ими овладела старая крестьянка. Нараспев, как многие люди, поздно узнавшие грамоту, она читает стихи, переписанные из детской хрестоматии сестрой Владимира Ильича Ольгой Ильиничной: "Может быть, тебя, мой милый, ждут печали и нужда. Спи, дитя, собирайся с силой, для борьбы и для труда". Она глотает слова, торопливо снимает очки, достает платок.



— О нем это она, о брате...

И у всех троих — слезы, у старых женщин, проживших нелегкую жизнь.

Сколько не похожих друг на друга людей приходят в музей!

В коридоре слышится осторожное, частое постукивание. Слепые... Идут, держась друг за друга. Запыленные ботинки. У одного — дорожная сумка.

Уставший за день экскурсовод торопливо поднимается из-за стола навстречу:

— Вот сюда, пожалуйста. Давайте руку. Издалека, товарищи?

— Из Богдашкинского района, из артели. Спасибо шоферу, доставил прямо до вас.

Их четверо. Один совсем молодой; на шрамах недавних ожогов розовеет кожа. Должно быть, несчастный случай.

Они идут к комнате Владимира Ильича — комнате над лестничной клеткой, с одним окном во двор.

Молодой плохо слушает экскурсовода. Он осторожно делает шаг в сторону, его руки чего-то ищут. Вот они касаются точеных перил внутренней лестницы, по которой поднимался к себе Володя Ульянов. Тонкие пальцы бегут по отполированному дереву, гладят его. Этим перил касалась рука Ленина.

В комнате над лестницей у единственного окна — стол. К стене придвинута железная кровать. Два стула. Комната гимназиста Володи Ульянова скромна, как скромн кремлевский кабинет председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ленина.

В комнате над лестницей — сделанная из дощечек висячая книжная полка.

Всю жизнь Ленин не разлучался с книгой. Книги были с ним в подполье, в ссылке, в эмиграции. Едва попав в какой-либо город, он тотчас разыскивал библиотеку. Так было по дороге в ссылку в Красноярске

и Минусинске, так было в Лондоне, Париже, Цюрихе, Стокгольме, так бывало всюду.

Случилось, что я побывал в Ульяновске и незадолго до первой поездки за океан. Подумал: а что читали об Америке гимназисты, сверстники Владимира Ульянова?

По воспоминаниям Дмитрия Ильича, детская литература тех лет ярко отображала борьбу негров против рабства. Правда, в учебниках П. Белохи и К. Смирнова, по которым учились симбирские гимназисты и которые стоят среди книг на Володиной полке, об этой борьбе не рассказывалось. Я прочел: "Промышленность народонаселения Соединенных Штатов находится на высокой степени развития... После Англии, по промышленности и торговле, это первое государство в Свете. Оно своими изделиями снабжает всю Америку и многие страны Азии..."

Но в гимназические годы Володи Ульянова выходили и другие книги, часть которых он, несомненно, читал. Генрих Сенкевич в американских очерках рассказывал о "дядюшке Линче". Учитель из приволжского города Михаил Владимиров, вернувшись после четырехлетних скитаний по Соединенным Штатам, выпустил книгу "Русский среди американцев". Волгарь плавал по Миссисипи, видел в портовых городах тысячи голодных безработных, белых и негров, пешком и на подножках вагонов пересек страну и пришел в выводу, что в Америке "капиталисты пьют кровь рабочих..."

Среди книг в комнате Володи есть томик в голубовато-зеленом переплете. На нем — надпись: педагогический совет Симбирской гимназии, "уважая отличные успехи, прилежание и похвальное поведение воспитанника IV класса Ульянова Владимира, наградил его сею книгою при похвальном листе".

Книга "Жизнь европейских народов" принадлежит перу педагога и писательницы Водовозовой. Она не так уж безобидна для тех времен. В IV классе Володя

Ульянов вместе со всеми писал сочинения на темы: "Волга в осеннюю пору", "Описание окрестностей города Симбирска", "Лошадь и польза, приносимая ею человеку". А в книге, которой наградили тринадцатилетнего Володю за отличные успехи в писании этих невиннейших сочинений, была самая настоящая "крамола", которую с таким усердием искореняли в гимназиях.

В этой книге, которую читал Володя, говорилось, что французский "рабочий смотрит на хозяина как на вампира, сосущего его кровь, и поэтому ненавидит его изо всех сил". Книга рассказывала, что громадное большинство фабрикантов старается нажиться за счет рабочих, и те устраивают забастовки и стачки, добиваясь улучшения своей доли.

Сверстники вспоминали, что Володя видел на Волге тяжелый труд бурлаков, на симбирской пристани знакомился с грузчиками. В сенокос гимназисты бегали за Свягу, где матери оставляли грудных детей без присмотра в тряпье у стогов сена. Сама жизнь, которую наблюдал гимназист Ульянов, доказывала правоту книг, обличающих несправедливость, неравенство, угнетение.

Книги, подобные сочинению Водовозовой, были написаны под влиянием новых идей, которые носились в воздухе.

Когда Владимир Ульянов учился в гимназии, в Лондоне доживал последние свои годы Маркс. После выхода первого тома "Капитала" первое предложение о его переводе Маркс получил из России. Маркс, изучив русский язык, читал сочинения Чернышевского и предсказывал грядущую русскую революцию.

В гимназические годы Владимира Ульянова была свежа память о недавно умерших Герцене, Добролюбе, Писареве, Некрасове, их книги будили сознание и совесть, звали к борьбе.

Свеча в медном подсвечнике, и сегодня стоящем на столе комнаты над лестницей, освещала страницы романа "Что делать?", которым зачитывалась революционно настроенная молодежь России.

В комнатке над лестницей — старая географическая карта полушарий.

В те годы в гимназических атласах всех частей света огромные площади материков заливала розовая краска британских колониальных владений, лиловая — французских, оранжевая — голландских, и так далее: вся палитра колониализма.

На старой карте простиралась Российская империя. С ней граничила полуколониальная Китайская империя. Там была не просто Индия, а Британская Индия, Нидерландская Индия...

Российскую империю смела Октябрьская революция. Ее вождем стал бывший симбирский гимназист.

Народы многих стран Азии и Африки разорвали цепи колонизаторов. Перекроена карта старой Европы. Рухнули многие одряхлевшие монархии. Капитализм давно потеснен в его старых европейских владениях. Жизнь ряда европейских народов повернула в русло социализма. И со всеми этими переменами связаны имена борцов за счастье человечества, в первом ряду которых — уроженец приволжского тихого городка.

Посетители Дома-музея едва ли подозревают, какая тщательная и трудная работа была выполнена для того, чтобы дом стал музеем.

Семья Ульяновых покинула Симбирск летом 1887 года.

Дом был передан бюро Истпарта под музей весной 1923 года.

А тридцать шесть лет между этими датами?

Работники Дома-музея установили всех сменявших друг друга владельцев и обитателей дома. После

Ульяновых в нем поселился полицмейстер Минин. Потом в дом въехал преподаватель военной гимназии Кимонт. Затем дом приобрела жена прусского поданного Русеет. Следующим владельцем стал член губернской земской управы Штемпель — это было уже в начале нашего века. У Штемпеля дом купил некий Наумов, у Наумова — дворянка Языкова, потом домовладение снова перешло к Наумову. В феврале 1917 года Наумов подписал последнюю купчую с богатым купцом Пироговым, одним из воротил Волжско-Камского банка.

Из поименного списка видно, что владельцев было много и это были люди с разными вкусами. Можно полагать, что каждый из них что-то переделал в доме по своему усмотрению.

После смерти Владимира Ильича со всех концов страны в Симбирск стали приходить письма и телеграммы. Вот одна из них: "Просьба рабочих в количестве 2100 человек Московского завода имени Калинина, чтоб все связанное с Ильичем неусыпно хранилось бы вами как память". Горсовет ответил рабочим, что дом, где родился великий вождь, с любовью охраняется симбирским пролетариатом. В нем открыт историко-революционный музей, один отдел которого посвящен товарищу Ленину.

Вскоре губернский съезд Советов принял решение о полной реставрации дома. Надо было вернуть ему давний облик, освободив от всего, что пристроили или перестроили многочисленные владельцы.

К счастью, в это время была жива дружившая с семьей Ульяновых учительница Кашкадамова, их бывшая няня Павлова и другие жители города, помнившие расположение комнат и их обстановку. Очень помогли музею сестры Владимира Ильича, специально приезжавшие в Ульяновск и передавшие некоторые семейные реликвии.

Сохранились многочисленные протоколы, реставрационной комиссии, работавшей в 1928 и 1929 годах. Читая их, видишь, как не просто оказалось установить, скажем, был ли выступ кухни несимметричным уже при Ульяновых, куда было обращено чело русской печи, какие именно цветы стояли на тумбочках в гостиной. Иногда одна фраза в протоколе сразу переносит в атмосферу давних лет — например, вот эта, замечание Анны Ильиничны, что в доме действительного статского советника "обстановка была самая простая, какая вообще встречалась у разночинцев средней руки; многое покупалось по случаю, вообще определенного характера не было". В этом доме вещи не имели над людьми ни малейшей власти, о них не думали, их не замечали.

Сегодня дом № 58 на улице Ленина таков, каким был дом директора народных училищ Ульянова на Московской улице — и как не подумать с признательностью о всех, кто это сделал для будущих поколений!

К юбилейным дням завершена также работа, продолжавшаяся немало лет. После тщательных исследований, архивных поисков, экспертиз историков удалось, как я уже говорил, окончательно определить все симбирские квартиры семьи Ульяновых, среди которых — неизвестная прежде в доме Костеркина на той же Московской улице.

У Симбирска была устойчивая репутация изрядно запущенного дворянского гнезда.

К какому бы жанру не обратиться — к стихам ли, к прозе, к справочным изданиям — мнение о нем почти единодушное.

"Сон и лень вполне Симбирском овладели", — писал Лермонтов.

"Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя", — отметил

Гончаров.

"...Симбирск, город удивительно сонный и тихий, точно умирающий от старческого маразма..." — прочтем мы у Горького.

С ним перекликается Короленко: "Симбирск из всех приволжских городов — это самый тихий, сонный и застойный".

"Новых зданий за истекший год не строилось" — сообщалось в отчете городской думы за 1912 год.

"Город довольно сонный... В торгово-промышленном отношении Симбирск не имеет почти никакого значения", — отмечал волжский путеводитель в 1913 году.

Лишь в изданном накануне революции адрес-календаре проскользнул умеренный оптимизм: "Город переживает в настоящее время период радужных надежд". Однако тут же признавалось, что в торгово-промышленной деятельности он стоит "ниже других губернских и даже некоторых уездных городов Поволжья".

Верны ли все эти характеристики? Надо полагать, что, в общем, верны, хотя их удивительная повторяемость и настораживает.

Даже в воспоминаниях членов семьи Ульяновых, окрашенных детским радостным восприятием окружающего, возникает казенный Карамзинский садик с пыльной сиренью, другой садик в центре города, весь в кочках, грязный, с поломанной загородкой, куда забредали возвращающиеся с пастбища коровы. Анна Ильинична сравнивает памятный ей Нижний Новгород с Симбирском — с чужим, глухим, захолустным городком, в котором семья жила очень замкнуто. Симбирские знакомства ограничивались праздничными визитами; городское общество делилось на дворянство, водившее компанию в своей среде, и чиновничество,

поддерживающее знакомство в соответствии с табелью о рангах.

Марии Ильиничне Симбирск запомнился небольшим провинциальным городом, в котором не было фабрик и заводов, не было трамваев и даже конок.

Сам Владимир Ильич, по воспоминаниям вызванного в Москву с докладом в декабре 1918 года начальника штаба 1-й Революционной армии Николая Корицкого, начал разговор с вопроса:

— Ну как Симбирск? Захолустный был городок.

Но заметьте: захолустьем называли Симбирск преимущественно натуры деятельные, незаурядные, требовательные. Их мерки достаточно высоки. И характеризуется прежде всего облик города, экономический застой, отсталость от более удачливых соседей. Однако интеллектуальный потенциал этого уголка России был достаточно высок.

Гигантская фигура Ленина как бы заслоняет все другие, связанные с городом на Волге. А ведь Симбирская губерния и в биографиях Карамзина, Пушкина, Гончарова, декабриста Тургенева, братьев Языковых, Дениса Давыдова, Минаева, Аксакова, Григоровича, Горького, Скитальца, Алексея Толстого, Гарина-Михайловского, крупнейшего чувашского просветителя Яковлева, классика чувашской литературы Иванова...

Среди этих имен привычно выделяешь Гончарова. Все творчество большого писателя тесно связано с Симбирском, на берегах Волги — его корни. И удивительно ли, что земляки Гончарова были горячими почитателями его книг.

— Вот стихи Пушкина люблю, Гончарова люблю, — приводит Луначарский слова Владимира Ильича.

В семейной библиотеке Ульяновых были три романа Гончарова и "Фрегат "Паллада". Вместе с товарищами по гимназии Володя Ульянов ходил в Киндяковскую рощу



смотреть места, описанные в "Обрыве". Илья Николаевич, хорошо знавший окрестных помещиков, рассказывал, кого именно Гончаров изображал в своих романах.

Экземпляр "Фрегата "Паллады", которым была награждена Ольга Ильинична за отличные успехи в гимназии, лежит сегодня на столе в детской Дома-музея.

Иван Александрович Гончаров, конечно, не бытописатель Симбирска, он неизмеримо шире, больше, он принадлежит России. Но даже во "Фрегате "Паллада" описание дальних стран прерывают картины милых его сердцу родных мест. "Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, — как бы оправдывается писатель, — что куда и как бы надолго бы я не заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах и никакие океаны не смоят ее!"

Обломовка здесь далека от обломовщины. Ее почва не помешала Гончарову стать единственным русским классиком, совершившим труднейшее, опасное путешествие, приравненное к кругосветному. И вот что важно: именно в "сонном", "тихом", "застойном" Симбирске он еще в детские годы прошел как бы подготовительный класс путешественника.

Во дворе большого каменного дома, где в год нашествия Наполеона родился писатель, стоял прежде деревянный флигель крепостного отца Гончарова, моряка Николая Николаевича Трегубова.

Этот образованный боевой офицер, служивший под началом адмирала Ушакова, был, по словам крестника, "самородком честности, чести, благородства и той прямоты души, которой славятся моряки". Поселившись в Симбирске, он не остался в стороне от общественных движений, стал членом масонской ложи "Ключ к добродетели", переписывался с декабристами. А сколько таких образованных, мыслящих людей было в

симбирском захолустье? Ведь не в изоляции же находились здесь те же Языковы, Тургенев, Давыдов!

Трегубов-то и "приохотил к морю" своего воспитанника, позаботился о его "морском кругозоре", о познаниях в чистой и прикладной математике, математической и физической географии, астрономии, навигации, научил пользоваться секстантом и хронометром. Можно сказать, что крестный отец Гончарова стал и крестным отцом "Фрегата "Паллады".

Портрет Трегубова, написанный крепостным художником, есть в "гончаровской комнате" Ульяновского краеведческого музея. Вот уж ничего морского! Писан не в офицерской форме, а в штатском сюртуке или, может, во фраке. Доброе лицо, черные волосы с бакенбардами, на шее повязан не то платок, не то галстук...

Музей — изящное, легкое здание на берегу Волги, дом-памятник, построенный на деньги, собранные в 1912 году по всероссийской подписке к столетию со дня рождения писателя. Подписные листы сохранились. На одном из них фамилия украинского крестьянина-бедняка, пожертвовавшего копейку, — может быть, весь свой наличный капитал.

В "гончаровской комнате" некоторые вещи писателя, забавная статуэтка Фаддея Булгарина, который, как говаривал Гончаров, имел редкое свойство походить наружно на человека и вместе на свинью, семейный "Летописец" — кожаный фолиант, начатый еще дедом писателя. Здесь же часть коллекций, собранных во время плавания на "Палладе": японские миниатюры, шкатулка из слоновой кости...

Это плавание-подвиг убедительно опровергает тех, кто пытался наделять автора чертами его героя, видя в уроженце Симбирска едва ли не Обломова. Моряки "Паллады" видели в Гончарове человека редкостного трудолюбия, требовательного к себе, отличного,

отзывчивого товарища. А сама история создания "Фрегата "Паллады"? Ведь помимо работы над книгой Гончаров, как секретарь экспедиции, вел путевой журнал, занимался служебной перепиской, а сверх того преподавал историю и словесность младшим офицерам. Если же говорить о политических симпатиях писателя, то как не вспомнить, что, возвращаясь после плавания через Сибирь, Гончаров встречался с семьями Волконских, Трубецких, Якушкина и других ссыльных декабристов, что он тайно доставил письма Волконского в Петербург...

Симбирские мотивы особенно сильны в "Обрыве". Гончаров говорил, что в роман он вложил самого себя, близких лиц, родину, Волгу, что именно при приезде в родные места после долгой разлуки на него "как будто сон, слетел весь план романа".

В Киндяковской, или Винновской, роще, где, как уверяли, происходит действие "Обрыва", я бывал еще в те годы, когда роща считалась загородной.

Столетние дубы зеленели по склонам, в густом подлеске орешника перекликались птицы, в лощинке били из-под камней холодные ключи; сюда издали приходили с ведрами на коромыслах за вкусной водой.

У волжского обрыва белела гончаровская беседка. Хотя не осталось уже могучих кленов и густых зарослей сирени, окружавших старую усадьбу, спокойная благородная, не назойливая красота этих мест волновала и трогала, вызывая в памяти посвященные им страницы.

Позднее я ездил в романтические места уже на городском трамвае. Маршрут кончался за рощей, на кольце, вблизи которого шла заводская стройка.

Теперь мне снова захотелось побывать в гончаровских местах, Вагон маршрута "Площадь Победы — Кожкомбинат" оказался в густейшем потоке машин. Строительный Ульяновск гудел моторами. Шли

грузовики с силикатным кирпичом, самосвалы с песком и щебенкой, панелевозы с секциями стен. Обратно торопился порожняк. Лишь когда трамвай метнулся в сторону от магистрали, к вокзалу, показались остатки кварталов старого Симбирска с домиками в три окна, густо заставленными цветущей геранью.

Оставив у вокзала часть пассажиров, трамвай вернулся на магистраль. Я помнил, что Винновская роща недалеко от конца маршрута, и спокойно ехал все дальше и дальше. Справа вдали открылось заводское Засвияжье. Но как же далеко оно теперь вытянулось! Пожалуй, удвоилось после моей последней поездки.

По времени давно уже должно быть кольцо. На всякий случай спросил соседа.

— Далеко еще, сидите себе, — успокоил он.

— Но я ездил, помню...

— Когда ездили? А-а... Старое кольцо в аккурат через остановку. Дальше тогда трамваи не ходили. А теперь...

Возле бывшего кольца теперь был новый ульяновский вокзал. Старый еще вовсе не стар, ему, наверное, нет и двадцати лет, но Ульяновску понадобился второй, Центральный: так вытянулся город.

Ну, что же, проеду до конца, потом вернусь к роще. Трамвай помчался дальше по проспекту имени Гая, командира Железной дивизии, освободившей Симбирск от белых. Ближе к Волге, на земле, едва очищенной от строительного мусора, громоздились коробки домов.

Когда мы добрались наконец до нового кольца, стало ясно, что скоро и ему быть старым. Город опять ушагал далеко вперед, там виднелись и заводские трубы, и девятиэтажные дома, жителям которых бегать к кольцу было уже довольно далеко.

Я вернулся к Винновской роще. Что за наслаждение пройти тропкой, вьющейся по оврагам!

Впереди меня, сняв соломенную шляпу и держа ее за спиной, шел очень чистенький, аккуратный старичок, знающий, что отдых он вполне заслужил и теперь должен им наслаждаться.

— Ключ-то? — переспросил он. — Тут он, ключ, никуда не делся. Вся Винновка только из него воду и пьет.

Вскоре тропка пересекла ручей с вкусной ледяной водой. Кукушка прокуковала не то мне, не то старичку долгие лета, и стало совсем хорошо.

Тропка подошла к гончаровской беседке. Я знал уже, что ее недавно перенесли сюда со старого места, где мыс, подточенный морскими волнами, начал оползать. Буйные заросли гончаровского обрыва давно приказали долго жить. На склоне сохранилась единственная могучая липа. Под оголенным яром ютился какой-то заводик. Правда, на мысу уже насадили молодые деревья.

А Волга здесь лучше прежней, гончаровской. Синь вод, едва различимые палево-красные кручи дальнего берега, местами горизонт совершенно морской, вода сливается с небом. Тишь и ощущение бесконечности простора под млеющим летним небом...

Отсюда виден весь Ульяновск, высотная застройка, заводские его трубы. Ничего похожего на тот Симбирск, в котором Октябрь застал выпускавший топоры заводик с 49 рабочими, электростанцию, освещавшую едва двести домов, не очень бойкую хлебную пристань под горой. Далеко окрест не было ни шахт, ни рудников; не рассыпала здесь природа таких богатств, к которым оставалось бы лишь протянуть руку.

Областным центром Ульяновск стал только в 1943 году. После войны привели к городу приволжскую железную дорогу, следом за ней — море. Стали строить заводы, разведывать недра, которые оказались не такими уж бедными. Пока люди были захвачены великой

стройкой в Жигулях и под Сталинградом, скромный Ульяновск как-то незаметно, без шума, и поэтому для многих неожиданно, выдвинулся на далеко не последнее место в индустриальном Поволжье.

Он более чем утроил население и удесятирил территорию. Стал энергично сокращать разрыв с соседями, о снe и лени забыл и думать. Выпускает тяжелые и уникальные станки; поставь такой на улице старого Симбирска, и он сверху будет смотреть на крыши двухэтажных особняков. Дает машины повышенной проходимости с маркой "УАЗ" — Ульяновский автомобильный завод. Машиностроительный завод, приборостроительный, завод "Контактор", "Автозапчасть", завод малолитражных двигателей — все это возникло в Ульяновске за два-три десятилетия.

Сосед Ульяновска, бывший захолустный Мелекесс, людям старшего поколения памятен нашумевшим уголовным делом. Сегодня физики всего мира знают Мелекесс как город, где находится научно-исследовательский институт атомных реакторов. Посетив его, председатель комиссии по атомной энергии США Глен Сиборг сказал: "Я должен признать, что мы с завистью смотрим на ваш реактор..."

После поездки к гончаровской беседке повторил я еще три старых маршрута, каждый раз заглядывая при этом в свой блокнот более чем десятилетней давности.

Старая запись о маршруте в северные районы города: "Тракт Нариманова, городок новоселов, переселившихся сюда из затопленных морем городских низин".

Теперь не было тракта Нариманова, был проспект Нариманова, широчайшие бульвары, шеренга девятиэтажных домов.

"Запад, новый мост через Свягу, кварталы Засвияжья, площадь с памятником Горькому, белые колонны киноконцертного зала".

Все это осталось и теперь, только вдоль дороги в Засвияжье стояли не робкие хибарки с огородами, а каменные кварталы. Среди новых улиц Засвияжья появился великолепный проспект имени 50-летия комсомола, на мой взгляд, одна из лучших городских магистралей, и свой первый подземный переход город построил именно здесь, где уличное движение гуще, чем в старых районах.

"В Володарский заречный район надо ехать на морском трамвае".

Нет, теперь морской трамвай уже не нужен! Я сел в центре в автобус, покатил через Волгу по новому мосту. Рядом по параллельной нитке бежали поезд, цистерны со сжиженным газом. Шофер, видимо, старался не отстать, морской разлив мы перемахнули мигом.

Весь район лежит на несколько метров ниже уровня воды. Рыболовы облепили бетонные плиты, на них же были вытащены лодки, чтобы не смыла шальная волна. С гребня дамбы Ульяновск просматривался лучше, чем с палубы теплохода. Из старых зданий узнал музей и сельскохозяйственный институт: все остальное было новым, сработанным за последние годы.

\* \* \*

Летом 1957 года я много ездил по Ульяновской области.

— А были вы у Пластова? Съездите, любопытно, — посоветовали мне в Доме-музее. — Кстати, памятная доска на нашем фасаде — его работа.

Когда я попросил машину, один руководящий товарищ сказал с неудовольствием:

— Зачем вам в глухомань? Лучше в Чердаклы, там агрогород.

Но машину дал.

Поехали через городок автозавода по Московскому шоссе, по степи с белесой тончайшей пылью, которая стояла в воздухе, как туман. За Тагаем — сразу перемена: березовые леса, да еще какие рослые!

Сама Прислониха прислонилась к высоким холмам. Речонка Уренка такая, что гуси стоят посередине, не замочив пуза. Крыши — тес и солома. Есть новые домики. Пластовский почти не виден за густой зеленью палисада.

Вышла няня с Колькой, голубоглазым крепышом, пластовским внуком: восемь месяцев от роду, шесть зубов.

— Хозяина? На работе он. У трактористов, поди. Хлеб с собой взял, дожидайся теперь. Обедает никогда во время. Все рисует. Одно бросает, обратно другое рисует. Так работает, что прямо ужас.

Чтобы не терять времени, поехали в соседнее село. Девушки со швейной фабрики садились в кузов грузовика:

— Пластов-то? Всех нас рисовал.

— Ну уж и всех! — усомнился я.

— Верно, верно!

Часа два спустя вернулись в Прислониху. Пластова все нет. У сельсовета одна тетя Нюша обмахивается на крыльце: жара.

— Садись, расскажу. Отец его богомазом был, иконы писал. Умер, когда Пластов парнишкой был. Ну, мать-то у него уехала, он один остался. Мать корову дала ему, Пластову-то. Шубенка на ём овчинная, черная, крашенная, боле ничего не было. Он-то? Он здешний, из Прислонихи. Наш, значит. Крестьянствовал тут, был секретарем сельсоветским. Всегда поговорит и с малым, и со старым. Ежели что — к нему: Лександрыч, выручай.



Все вообще к нему ходят. Наш он. Вот мы, помню, строились когда, так ведь с нами вместе лес спиливал, наваливал. Где пожар — в пожар лезет.

— Это раньше лазил, поди, пока молодым был?

— Да нет, и сейчас ползет. Он, брат, всегда подсобит. А рисует... Кто купается, али по хозяйству — сейчас срисует. Спрашиваешь, куда сегодня поехал? Однако на Комаровку вместе с Николаем, с сыном, он у него тоже все с красками.

Иду на пригорок к старой деревянной церковке. Девчонки-подростки веют пыльный овес.

— Пластова не видели?

— С утра уехал куда-то.

— Рисовал вас?

— А как же. Николку вон раз десять. И одного, и с овцами.

Николка чубат и конопат.

Возле сельской лавки хмельная рожка косится на мой фотоаппарат:

— Сыми давай!

Оказывается, и он позировал Пластову.

— Раз пришел к нему эдак-то, выпивши, а он и давай костерить. Чтоб, говорит, ежели пьяный, духу твоего... Да вон он сам.

Катит на велосипеде. Брючишки мятые, белая в полоску рубашка, полотняный картуз, сумка полевая такая, что впору тете Нюше извещения о "штраховке" разносить. С ним сын-здоровяк. Сам насторожен.

— Побеседовать? Не смогу, извините, сейчас дни такие, золотое время.

Спыхватывается, что забыл на гумне складной стульчик.

Пластов-младший выкатывает мотоцикл. Пластов-старший вскакивает на седло сзади, и оба несутся в облаке пыли. Миг — и назад со стульчиком.

Видит с неудовольствием, что незваный гость не убрался. Вздыхнул:

— Ну что же, проходите.

Вытащили стол на широкое крыльцо — верандой его не назовешь. Резьба, видно, своя. На палках сушатся кринки.

Появляются щи, жирные, наваристые.

— Да, так о Прислонихе. Зимой я самый обыкновенный москвич. Звонят — заседаю. А каждое лето — сюда. Письма откладываю. Газеты — хорошо, если на пятый день... Спускаешься сюда из городской пыли словно в благовонную чашу. Леса, поля. Все тут — твое. Ты со всеми вместе горел, били тебя, трепали. Сосед кряхтит — ты стонешь.

Руки у него черт те какие, загрубевшие, в ссадинах, мужицкие. Вообще едва из тысячи один угадал бы в нем художника, да еще знаменитого. И щи хлебают по-крестьянски, истово, со вкусом, не гоняет зря ложку в тарелке.

Рассказывает о давнем:

— Была тут одна женщина больная. Подкармливали мы ее, как могли — хлебушко, молоко. Я писал ее минут по двадцать, она с овцами ходила, поздно возвращалась. Спрашивает раз: "Аркаша, долго еще писать будешь?" — "Ну, до субботы, видишь, темно, мало работаю". — "Я к тому, что не жиличка я. До субботы-то, пожалуй, дотяну". Умерла она в воскресенье. Чтобы оно сдохло, это искусство, если оно только прекрасно!

Он с ожесточением выделяет "только". Долго молчим. Потом я осторожно:

— Как у вас лето? Довольны им?

— Ну что вы, лето сухое, травы посохли.

— Нет, я не о том.

— А-а... Ну, небо, грозы, зори — конечно...

Не хочет про свою работу...

Все-таки разговорились и об искусстве. Не сразу, издалека. Я назвал нескольких молодых и довольно модных художников. Он поморщился:

— Тут ведь как? Чтобы писать, надо здорово знать и любить. Писать надо то, без чего жить не можешь. А они: "К этому не привык, это не родное, в это не влюбился". И торопятся, и их торопят. Каждый год давай. А Куинджи вон сколько лет молчал. А его помнили, ждали.

О Западе:

— Там часто так: не пахнет безобразием — не идет. Отрицать легко, а ты попробуй для начала хотя бы повтори, приблизься. Нет, говорят, чего нам повторять, свое найдем. Да ведь если есть в тебе свое, настоящее, оно само выявится. А иной мучается, лишь бы что выдумать. Вон медведь тоже замучился, когда десятину леса своротил. Чего же бояться повтора? Смотри кого повторять, у кого учиться. В Париже был я у Родена — буря у него в руках. Живые возле его скульптур ходят будто маски: скульптуры живее!

Восторженно вспоминает Италию:

— Изобилие искусства, каждый камень потертый — твой. Тут золотое, там розовое... И все же... первый раз туда поехал, взял с собой вон с той горки полынок. Нет-нет да и понюхаю — и сразу: господи, Прислониха. Жалко чего-нибудь там не увидеть, а вечером лежишь, маешься: нет, надо домой. И не потому, что по ту сторону — все чужое. В Италии, во Франции — какое же чужое? Возьмите Нотр-Дам, ведь как будто век с этим жил!

Снова говорим о близости к тому, что пишешь:

— Я вот "Защиту очага" писал, у меня там мужик лежит убитый, Федор. Так, поверите, замучился: жалко мужика, мужик-то очень милый.

Василий Иванович, шофер, который слушает так, что у него вся картошка на тарелке осталась нетронутой,

вставляет:

— Товарищ Пластов, извините, конечно, я сам ульяновский, а картин ваших не видел, не пришлось. Взглянуть бы...

— Что ж, придется, видно. Доедай картошку-то, а я пока приготавливаю.

Уходит в мастерскую, минут через десять зовет туда.

"Когда на земле мир". Солнечный свет сквозь яблоню, под ней — молодая мать. Она лежит, лицо закрыто рукой от солнца, а парнишка в голубой рубашке, месяцев восьми несмышлениш, тянется к листочку.

— Самое обыкновенное дело, — говорит Пластов.

По полу мастерской ползает в голубой рубашке внук Колька — мордастый мужичонка.

А потом — портреты, очень много. Я, пробыв в селе несколько часов, уже узнаю двоих — конопатого особенно... И что за лица! Продавец решет — да ведь это голова Сусанина, сними только телогрейку!

Потом идем в старую мастерскую, где волшебный мир оживших корней: Силен, русалки, шишига в бане, кикимора.

— Это мы здесь иногда с сыном развлекаемся.

Уезжаем. Отъехали порядочно, шофер Василий Иванович говорит мне:

— Вот это день так день. Спасибо вам, какого человека узнал.

С тех пор прошло около полутора десятка лет. Много, очень много изменилось в нашей деревне. О народном художнике СССР лауреате Ленинской премии Аркадии Александровиче Пластове написаны монографии, в Прислонику открылось едва не паломничество искусствоведов. Думал было и я побывать там вторично. А потом решил: может, важнее рассказать о той давней встрече? Ее-то не повторишь...

И тогда же наведаясь я в Языково.

Николай Языков был довольно плодовитым поэтом. Но если бы он написал только "Пловца" и "Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой", — его все равно не забыли бы те, кто любит русскую песню и русскую реку.

Дом Языковых, симбирских уроженцев, в самом центре города, их бывшее родовое поместье — километрах в семидесяти от него.

Пушкин, собирая материалы о Пугачеве, приехал в Симбирск 10 сентября 1833 года и на следующий день уехал в Языково, надеясь застать там автора "Пловца". На обратном пути из Оренбурга он опять проезжал Симбирск, но не остановился в городе, а вновь направился Московским трактом прямо в Языково.

Возможно, этими поездками были навеяны некоторые черты биографии Гринева в "Капитанской дочке": герой повести стал уроженцем симбирской деревни, расположенной неподалеку от города. Кстати, в Симбирской губернии действительно жили мелкопоместные помещики Гринева.

Я знал, что Языково давно уже рабочий поселок и от прежней усадьбы нет и следа. Но ель я видел — одинокую старую ель необыкновенной высоты.

Много бурь и гроз пронеслось над Поволжьем, поредели его леса, исчезли помещичьи сады и парки, однако ель в Языково сберегли. Сберегли, потому что по деревьям из поколения в поколение передается рассказ, будто посадил ее сам Пушкин той осенью, когда в непогоду, в распутицу ездил по раскисшим дорогам, расспрашивая народ о Пугачеве.

## Город Ставрополь ничем не интересен...



*Колчедан для Роттердама. — Та, давняя весна... — Волгари в Асуане. — На работу ходит он по Африке. — Снова вершина. — Уолкер Сислер снимает шляпу. — Звездный час городка. — Самый новый Тольятти, — "Жигули", шестьсот шестьдесят тысяч в год.*

На "Метеоре" собралась публика транзитная, большинство — до дальних городов. Хмурое раннее утро располагало к дремоте.

Но на подходах к Тольятти, когда засинели Жигули, салоны оживились, приоткрылось окошко буфета, зашуршали кульки со снедью. Пошли разговоры, конечно же, об автомобильном заводе, об итальянцах, о машинах, которыми завод насытит страну.

— Кто-то будет ездить, — вздохнула старуха.

— Как это "кто-то"? — вскинулся на нее сосед. — Не "кто-то", а все! Знаешь, сколько машин он будет выпускать?

— А денег где взять? — не сдавалась старуха. — Ты, что ли, одолжишь?

— А-а, денег... — примирительно согласился сосед. — Это, конечно. Да ведь сейчас и за деньги не купишь. Деньги у народа есть. Многие хорошо зарабатывают.

Пожалуй, за последние годы ни одна наша стройка не вызвала такого интереса, как Волжский автомобильный завод. Еще бы: неслыханная производительность, заманчивая продукция — "семейный" автомобиль, участие иностранной фирмы. Пошли слухи: на стройке, мол, тон задают итальянцы.

Теперь даже случайные пассажиры "Метеора" знали, что итальянцев в Тольятти раз, два — и обчелся. Да, верно, проект завода разработан нашими институтами и автомобильной фирмой "Фиат". Верно и то, что мы купили лицензию, право на выпуск модели автомобиля, созданного этой всемирно известной фирмой. Итальянцы же приезжают в Тольятти либо как гости, либо для наблюдения за монтажом оборудования.

— Тольятти! Стоянка пять минут!

Большой порт, притом морского вида. На рейде два красавца, "Балтийский-39" и "Балтийский-24". Один приписан к Ленинградскому, другой — к Калининградскому морскому порту.

— Куда идут? А кто их знает, — сказал матрос на дебаркадере. — Тут были два других, тоже "балтийцы", так те повезли колчедан голландцам, забыл только город.

— Роттердам?

— Вот, вот...

Я собирался прогуляться из порта к центру Тольятти. Но матрос сказал, что туда надо ехать несколько остановок в пригородном автобусе, а если мне в новые

жилмассивы, то придется в центре пересаживаться и катить дальше еще около получаса.

— Ведь большой же город, — добавил он. — На двадцать километров растянулся, как не больше.

Гостиница, конечно, была переполнена. Но узнав, что когда-то я домогался места еще в Доме крестьянина старого Ставрополя, дежурная сжалилась:

— Ладно, уважим ветерана. Рискну из брони.

После этого я отправился было на поиски единственного старого дома, не перенесенного при затоплении Ставрополя: дом стоял высоко на бугре. От него, как от печки, я надеялся раскручивать маршруты по нынешнему Тольятти.

Представлялось: останавливаю старожил, говорю ему про дом. "Как же, как же, мил человек! Стоит дом, что ему сделается! Пойдемте, покажу!" И старожил, выкладывая по пути разные байки, охотно ведет меня к знакомому дому, — хотя, признаюсь, я совершенно забыл, как этот знакомый дом выглядел.

Но вот первое столкновение мечты с суровой действительностью: нет старожил на пути моем! Стою на бойком перекрестке Тольятти возле парка культуры и отдыха, неподалеку от кафе "Весна", — и хотя бы одна старожильская борода. Бороды-то вообще есть, даже много бород, но все какие-то несерьезные, обрамляющие лица молодых людей в джинсах.

Идут люди в парк, ведут детей и внуков на скрипучую карусель, где, замирая от счастья, держась за рога оленей и гривы добродушных львов, кружатся малыши. Но даже деды слишком молоды для того, чтобы вместе со мной предаваться воспоминаниям о затонувшем Ставрополе.

Попробовал заговаривать — куда там! Старый Ставрополь мои собеседники видели только на музейном щите в Доме культуры. А самостоятельно отправиться на поиски я не решился. Не мог сразу сообразить даже, в



какой стороне течет Волга и как к ней пробраться напрямик от кафе "Весна". Все, о чем спрашивал, оказывалось далеко.

От перекрестка расходились улицы. Одна тянулась едва не в бесконечность, во всяком случае к дальнему синеющему лесу. Из подъезда интуристской гостиницы "Волга" вышли трое иностранцев. В холле скучал швейцар, за стеклами виднелись ярчайшие проспекты на английском языке, приглашающие посетить Тбилиси. К универмагу, завлекательно названному "Рубином", спешили толпы — был день субботний, торговый. Мимо медленно прошла голубая "Волга", вся в цветах, и промелькнуло очень серьезное лицо взволнованной невесты. Из ресторана "Утес" доносился смутный гул раннего пира. Мимо облюбованного мной перекрестка густо шли автобусы и троллейбусы: "Тольятти — Жигулевск", "Шлюзовой — Завод ДСК", "Улица Родины — Химзавод", "Соцгород — улица Мичурина", "Город — Автозавод"...

Один итальянский журналист назвал Тольятти типичным городом пионеров, первооткрывателей, который упорно ищет собственное лицо, собственные традиции. Видимо, поиски эти все еще продолжались. По первым впечатлениям я с полной уверенностью мог сказать лишь, что со старым Ставрополем сегодняшней Тольятти не имеет решительно ничего общего.

Тот, старый Ставрополь, я узнал весной 1951 года, первой весной великой стройки, в Жигулях. Из Куйбышева туда ходил пароход "Власть Советов". Это был старый колесник дореволюционной постройки. На служебных каютах остались надписи русскими буквами, смесь французского с нижегородским: "гран-манже". Салон сохранил еще остатки аляповатой роскоши в купеческом вкусе.

Пароход трудно, натужно шел против потока мутной, сильной воды. Она несла вырванные деревья, смытые с

берегов бревна, кусок плетня, раздавленную ледоходом лодку с блестящим железным кольцом на носу. Наполовину затопленный остров поднимал светлую зелень прямо из воды. На сотни метров растягивались караваны барж, ползущих за буксировщиками.

В Ставрополе обосновался штаб стройки Куйбышевской гидростанции. Перед поездкой я выписал кое-что об этом городке. Повествовалось, как некий Тайшин, внук калмыцкого хана, принял православие и как власти, во избежание ссор и распрей, сочли за благо поселить его и других крещеных калмыков на новое место. Место выбирали долго, сам Тайшин до новоселья не дожил, но жена его, возведенная в княжеское достоинство, осела в 1738 году со своими одноплеменниками на берегу протоки Кунья Воложка. Так появился город Ставрополь.

Оседлость кочевников не прельщала, и в середине прошлого века они перебрались в Оренбургские степи. Землями ставропольской округи наделили обедневших рязанских, смоленских, тульских дворян.

Дальнейшая история городка выглядела довольно тускло. По характеристике "Памятной книжки Самарской губернии за 1863 год" Ставрополь, несмотря на то что стоит на Волге, не имеет "ни торгового, ни промышленного значения".

1872 год, письмо Софьи Перовской, которая во время "хождения в народ" задержалась в Ставрополе: "Так и пахнет отовсюду мертвым глубоким сном, где не видишь мыслительной деятельной работы и жизни..."

1911 год, волжский путеводитель: "Уездный город Ставрополь ничем не интересен, как пристань особого значения не имеет".

1925 год, путеводитель: "В Ставрополе 6 тысяч жителей, занимающихся главным образом земледелием и торговлей... Тихий и маленький городок, удобен для отдыха и кумысолечения".

1947 год, путеводитель: "В районном центре Ставрополе несколько домов отдыха, элеватор, сельскохозяйственный и педагогический техникумы и ряд школ. В сосновом лесу — санаторий "Лесное" и кумысосовхоз курортного треста, неподалеку — большой совхоз имени Степана Разина".

Вот к этому-то городку и подошел по протоке в один из майских дней 1951 года наш пароход.

Протока была забита судами. Баржи стояли у берега по три в ряд. С реки городок походил на большое село. Улицы кончались у песчаных дюн, заросших сосняком.

В Доме крестьянина места не оказалось. Меня приютили журналисты, приехавшие несколькими днями раньше. Им отвели каморку при конторе. В каморку убрали постели. Вечером можно было выдвинуть койки в большую комнату, перегороженную барьером, за которым днем щелкали на счетах сотрудники бухгалтерии.

Над городом возвышалась пожарная каланча, где маячил дозорный. По вечерам строители толпились возле большого купеческого лабаза, приспособленного под кино "Буревестник". Старухи в черных платках рассаживались по лавочкам у ворот, косясь на девиц в брезентовых, заляпанных бетоном штанах.

Город был отчаянно переуплотнен. Управление стройки временно разместилось в нескольких домах. С той поры, как в Жигулях начали строить гидростанцию, все в городе стало зыбким, непрочным. Поскольку Ставрополь должен был погрузиться на дно нового моря, здесь ничего не сооружали. Дорожные знаки наспех прибили к телеграфным столбам. Самосвалы, распугивая кур, вязли в песке: раз все уйдет под воду, не класть же асфальт, как-нибудь перебьемся.

Утром второго дня моей ставропольской жизни теплоход привел большой дебаркадер и приткнул его к высокому яру. С улицы были видны только мачты

теплохода да конек железной крыши дебаркадера. Прохожие посмеивались:

— Выбрали местечко! Что же теперь — прямо на крышу с яра сигать или как?

На берет между тем пришел бульдозер, опустил свой нож, срезал слой земли и толкнул в воду. Попятился, потом захватил слой поглубже. Показались отсыревшие кирпичи — остатки старого фундамента, блеснула бутылка. Бульдозерист в солдатской гимнастерке проворно выскочил из кабины, схватил ее, повертел, с разочарованием отбросил в сторону:

— Старинная бутылка, думал, в ней шнапс столетний.

Толкая перед собой землю и временами так нависая над водой, что становилось страшно, машина быстро и ловко рыла широкую наклонную траншею.

Столпился народ. Часа через два удобный пологий спуск к дебаркадеру был готов. Никто уже не смеялся. Обыватели судачили меж собой, что с такими чертовыми машинами и впрямь, чего доброго, одолеют Волгу.

Я разыскал "дом Буянихи", в котором летом 1870 года останавливались Илья Ефимович Репин и художник Федор Александрович Васильев.

Репин рассказывал, как он и Васильев высадились с парохода на захолустной пристани и извозчики с веревочной упряжью покатали в Ставрополь по луговой отмели. В темноте волжский тополь-осокорь, ободранный ледоходом, выглядел скелетом допотопного ихтиозавра. Жутко становилось в незнакомом месте, казалось, что извозчики увезут пассажиров вместе с их сундуками прямехонько к разбойникам.

Тележки подкатили к крыльцу с проломами, к распахнутым настезь воротешкам. Приземистая толстая старушка — это и была Буяниха — поспешила к гостям.

Ложась спать, постояльцы загородили окна баррикадами: край неизвестный, дикий... А после узнали, что хозяева тоже напугались до смерти: гладко

подстриженные художники показались им бритыми арестантами, и Буяниха пригласила на всякий случай соседа, старого солдата с кремневым пистолетом, который и дремал возле дверей...

От дома Буянихи прошел я на отмель, описанную Репиным. По-прежнему возле дороги стояли осокори с белыми, наполовину обглоданными ледоходом стволами, вокруг которых половодье намотало космы из веток и прошлогодних трав. По отмели катили грузовики со всякой всячиной, нужной стройке.

Несколько раз в день из Ставрополя уходили катера на правый берег, в Жигули. Первые отряды гидростроевцев рыли там в долине между Могутовой и Яблоновой горами котлован под здание гидростанции.

Катера, перебежав Волгу, мягко стучались о борт маленького, в шесть окон, дебаркадера, приютившегося у жигулевского обрыва. Шкипер помогал наладить трап.

— Здорово, Иван Семенович! Как дела, Иван Семенович? — окликали его.

Весной первого года стройки вблизи пристани Ивана Семеновича еще доживала последние денечки деревня Отважная с двумя ветряными мельницами. Они торчали по соседству с экскаватором — черные, старые, осевшие набок, одна уже без крыльев.

В ту весну я впервые поднялся на гору над долиной. Сверху были видны все те же буровые вышки и груды влажной земли. В блокноте появилась запись: "Будущее входит в Жигули под гудение экскаваторов, под шум воды над первой каменной грядой, воздвигнутой строителями на дне Волги: наступление на реку началось".

Фраза показалась мне очень удачной...

Минул год.

И опять была жигулевская весна. Снова вскарабкался я на гребень.

Над долиной колыбался горячий пыльный воздух. Год назад можно было сразу охватить взглядом все, что тут делалось. Теперь попробуй разберись! Множество машин, ползая, тужась, грохоча, уродовали землю. Это, конечно, не точное слово — "уродовали": наоборот, благоустраивали. Но благоустройство будет заметно потом. А пока и на волжском берегу, и под Яблоновой, и под Могутовой, и в глубине долины, у белых домиков Жигулевска, чернела свежерытая земля, дымилась на ветру подсохшая, тускло блестела в глубоких выемках стоячая вода.

У Яблоновой горы был отхвачен порядочный кусок. Ее срезали наискось у подошвы. Почти исчез выступ, прикрывавший долину. Виножник стоял под обрывом, продолжая грызть Жигули. Из-за груды земли был виден только кончик его стрелы с красным, пронизанным солнцем флагом.

Спустился к нему. "Комсомольский экскаватор имени матроса Железняка" — написано на кабине. Имени Железняка? Значит, на нем работает знаменитый коваленковский экипаж.

На пыльной траве недалеко от экскаватора лежали трое — как видно, смена. Я подсел:

— Красиво работает!

— А что! Ложка большая — знай черпай, — отозвался темноволосый молодой человек, покусывая травинку. Но это не Борис Коваленко, я узнал бы его сразу по фотографии.

Темноволосый назвался Иваном Яшкуновым, сменщиком Коваленко. Другой парень, невысокий блондин, — машинист Василий Сердюков. Заговорили о Коваленко. Он в отпуске.

— Пусть подлечится, еще дальше пойдет, — сказал Сердюков.

Я слышал в постройкоме, будто Коваленко после того, как ему удалось улучшить ковш своего "Уральца",

маленько зазнался. Верно ли это?

Ребята возмутились. Сердюков с сердцем выругался.

— Вот пробойный он, точно, а это не всем нравится. Для него пойти к самому начальнику стройки все равно, что к прорабу.

— Что больше всего устает у экскаваторщика? — спросил я. — Руки?

— Нервы.

— А кто у вас прежде работал на больших экскаваторах?

Оказывается, один Василий Сердюков. Здесь же, только в другой бригаде. А до того? После школы ФЗО трудился на угольных разрезах в Казахстане. Как услышал о волжской стройке — тотчас сюда.

— А отсюда?

— Там видно будет. Строители — что колода карт. Тасуют их, перетасовывают, раскладывают кого-куда: всюду наш брат нужен. Подумываю вот о Сибири.

\* \* \*

Весной 1964 года с кинорежиссером Марком Трояновским мы отправились в Египет, чтобы в документальном фильме рассказать о перекрытии великой африканской реки возле Асуана.

Мы без спешки ехали вдоль Нила на машине, сворачивая в стороны от асфальта, задыхаясь в пыли проселков. Ночевали под пологими, защищающими от москитов, пили крепкий, сладкий чай из липких стаканчиков в придорожных харчевнях, задерживались на токах, где обмолачивался майский урожай пшеницы.

Еще и сегодня главные приметы сельского пейзажа страны — кроны пальм и согнутые спины крестьян-феллахов. И в предрассветный час, и в полдень, когда сорок пять градусов в тени, и под вечер, когда солнце

касается на горизонте вершук палм, всюду видны фигуры тружеников. Только после того, как погаснет последний солнечный луч, феллахи, стремясь опередить стремительно надвигающуюся африканскую ночь, уходили с полей. Над всеми дорогами поднималась пыль, и несчетные темные силуэты двигались на гаснущем лимонном закате.

Ради того, чтобы феллах разогнул спину, советские люди помогли строить великую плотину Садд аль-Аали.

Но не только там, на главной стройке страны, были наши посланцы. Мы останавливались во многих больших и малых городах нильской долины и почти всюду встречали соотечественников.

В Асьюте это были преподаватель университета, читающий лекции по теоретической механике, и заведующий учебной мастерской, оборудованной советскими станками. В Гирге нас встретили московские мелиораторы, помогавшие арабам строить магистральный оросительный канал. Маленький городок Исна, возле которого действовали наши экскаваторы и скреперы, порадовал встречей с коренным волгарем, инженером-механиком Свитовым.

И в других городах, а то и просто в палатках жили "руси", прилетавшие в Африку с Волги, из Сибири, с Украины, из Армении.

В Асуане мы поспешили на стройку плотины. Кружились путаным, еще совершенно непонятным лабиринтом дорог, между разбитыми, расколотыми, пробуренными скалами, между горами нагроможденного бульдозерами песка, а навстречу, грозя сплющить все в блин, с ревом неслись самосвалы.

Я читал, конечно, что наша страна послала в Асуан многие десятки экскаваторов, землесосов и гидромониторов, мощный парк бульдозеров и скреперов, сотни автомашин, кранов, бетононасосов, камнедробилок. Но только увидев всю эту армаду



техники в действии, только узнав, что с их помощью сотворил здесь человек, можно было ощутить, какую богатырскую руку помощи протягиваем мы Африке.

Заглянули в штаб перекрытия Нила. Главный советский эксперт, Александр Петрович Александров, бывший начальник Красноармейского района Волго-Дона, бывший начальник строительства Сталинградской ГЭС, был где-то "на объектах". Пока нас проводили к одному из его заместителей. Тот называл имена героев стройки. Я услышал:

— Ну, и конечно, Вася Сердюков... Да, тот самый, из знаменитой бригады Коваленко. И сам Коваленко был здесь, в Асуане, погиб нелепо по дороге домой, в отпуск. Так вот, Сердюков Вася. Он у нас в Африке почти четыре года. Приехал такой незаметный. Год незаметный, два незаметный. А как стали подсчитывать, кто что наработал, — стал заметным. И даже очень. Громких речей на собраниях не держал, но когда кубометры его прикинули — ахнули. Экскаваторщик экстракласс! Так и идет у нас первым на всей стройке.

Перекрытие Нила было рассчитано на два дня.

Минские самосвалы стояли притихшие и грозные. На носу теплохода, приткнувшегося к перемычке, выделялись русские буквы: "Валерий Быковский". Там расхаживал по палубе в праздничном костюме инженер Александр Алексеевич Лысов, еще один волгарь, с которым мне довелось встречаться и на водоразделе Волго-Дона, и на стройке гидростанции под Сталинградом. В руках у него был свернутый флажок, после взмаха которого начнется перекрытие.

Лысов взмахнул. Тотчас синий едкий дым окутал перемычку. К прорану пошли знаменитые самопрокидывающиеся баржи. Их привели сюда с Волги — снова Волга! — и они, удивляя народ, по сигналу перевертывались, сбрасывали в воду камень с палубы и снова выпрямлялись как ни в чем не бывало.

Началась торжественная церемония. В проран полетели первые камни — красивые шлифованные кубики с памятными надписями. Следом за кубиками самосвалы бултыхнули в воду многотонные глыбы, вроде тех, из которых сложены пирамиды Египта.

Глыбы сыпались в русло Нила всю ночь.

На другой день была взорвана перемычка, и Нил хлынул в новое русло. Вздыбился белый пенный султан высотой в десяток метров, и, может быть, только тут впервые зримо ощутил человек, с какой могучей рекой вступил он в единоборство.

А в старом русле, по которому Нил тек задолго До фараонов, самосвалы сбрасывали последние глыбы в последние слабенькие его струи. На экскаваторе, загружавшем машины, работал Василий Сердюков. Он мало изменился со времени наших встреч в Жигулях, африканское солнце лишь прокалило и подсушило его.

— Приехали мы сюда в шестидесятом. Что о нас арабы знали? Брюки ширины необъятной, в ихнюю зиму ходим в босоножках: арабам холодно, нам жарко. Они нас не понимают, мы — их. Теперь в труде сдружились, в беде и радости побратались.

...С орденом Ленина вернулся домой Василий Сердюков, работающий наш земляк. С орденом Ленина, полученным за службу народам Африки. С орденом Ленина — наградой за выполненный долг интернационалиста.

Фильм же об Асуане мы начали такими кадрами. Поселок в пустыне. Дорога. Под палящим солнцем идет русоволосый человек с термосом на ремне через плечо. И диктор говорит:

— На работу ходит он теперь по Африке, "руси Васья", экскаваторщик Василий Сердюков...

\* \* \*

Камешки сыпались из-под ног, колючки цеплялись за брюки. Подъем был довольно крут. Хорошо еще, что набежали облака и с Волги тянуло прохладой.

Только бы не оглянуться до времени! Я упрямо смотрел либо под ноги, либо вверх. Пот заливал глаза. Наконец, тропинка полого пошла наискось по склону.

С тех пор как я впервые карабкался здесь, минуло без малого два десятка лет. Тогда была весна, сейчас, на исходе волжского лета, лишь лиловатые цветочные шарики на пепельно-сизых стеблях с серебристыми Листочками поднимались над поблекшей травой.

На высоты доносился ровный гул гидростанции. Так гудит большой волчок. Гул однотонный, он не мешал слушать шелест уже жесткой дубовой листвы и стрекотание кузнечиков.

Загадываю: дойду вон до того гребня — и баста.

Гребень гол. Одинокий дуб расщеплен молнией. Коршуны плавают в воздушных потоках, поднимающихся от Волги. Теперь можно оглядеть все, наложив на картину, запечатленную памятью, сегодняшнюю, новую.

В долине между двумя жигулевскими высотами — прямоугольная глыба здания гидростанции имени Ленина. Она под стать Жигулям и Волге. Дома и заводы втянутого в глубь долины Жигулевска — большие дома и огромные заводы! — воспринимаются как маломерки, как сооружения какого-то иного, более низкого класса.

Там, где экскаватор Коваленко и Сердюкова единоборствовал с миллионотонной горной толщей, Волга мимо сильно срезанного мыса гонит воды к турбинам.

В первые годы стройки воображение рисовало будущее праздничнее, пышнее, помпезнее. Над плотиной, в соответствии с тогдашними представлениями о величественном, виделись мне грандиозные пилоны, украшенные лепкой и

скульптурными группами. Впрочем, это великолепие не было игрой воображения: в архитектурных мастерских на рисунках, изображающих гидростанции, я видел эти самые пилоны.

Да, все проще, будничнее. Но краны над плотиной передают ощущение технической мощи выразительнее любых пилонов. По пятикилометровому валу грунта, стали, бетона, которым остановили Волгу, спешат поезда и автомашины. Куйбышевское или, как его часто называют, Жигулевское море лежит за ним — привычное, работающее море. И уже так далеки страсти, бушевавшие вокруг него...

Директор гидростанции Андрей Кондратьевич Рябошапка только что вернулся из Куйбышева с важного совещания. Речь шла о Переволокской ГЭС, которую намечают строить на узком перешейке, разделяющем начало и конец Самарской луки. Очень выгодная гидростанция, мечта гидротехника! Из Москвы на совещание приезжал болельщик Переволок, Николай Александрович Малышев, главный инженер проекта Куйбышевской ГЭС, а позднее — главный инженер проекта гидроузла в Асуане.

— Город и область, в общем, за Переволоки, — сказал директор. — Но требуют, чтобы при этом Куйбышеву и природе Самарской луки — никакого ущерба. Вопрос, конечно, не маленький. Допустим, три четверти воды нам в какое-то время выгоднее будет пропускать напрямик через Переволоки, минуя Куйбышев. Но если оставшаяся четверть не даст городу пользоваться всеми благами Волги...

Едва ли такой разговор мог состояться, скажем, два десятилетия назад. Нужно для получения энергии водохранилище такого-то объема — и смело проектируется уход под воду лугов и лесов, перенос на новое место десятков, а то и сотен селений. Вроде бы и правильно: водная энергия — самая дешевая, затраты

на подготовку зоны затопления окупятся в несколько лет. Но позднее стали учитывать потери плодов затопляемой земли, потери древесины, заглядывать на много десятков лет вперед, прикидывать, не вызовут ли огромные водохранилища оскудения природы.

Слушая директора, я думал: магическая сила киловатт-часов со шлейфом множества нулей перестала действовать безотказно. С ней тягаются — и не без успеха — соображения об удобствах жизни человека на реке, о чистоте вод, о красоте речных просторов, о яхтах, уходящих в море, о заповедных приречных лесах, обо всем, чем реки украшают жизнь.

По внутренним лестницам спустились мы с главным инженером Евгением Павловичем Штерном в машинный зал. В синеватой дали — да, именно в дали, только не под небом, под потолком — в противоположном конце непостижимо огромного зала двигались две крохотные черные точки.

Солнце щедро светило в окна. Издали агрегаты казались бездействующими, ничто не гремело, не дрожало. Вода работала глубоко под полом. Миллионы лошадиных сил вели себя не буйно. В зале слышался лишь тот же ровный гул, который доносился на жигулевские гребни.

Евгений Павлович нетерпеливо покашливал, а я зачарованно любовался залом, хотя видел его не один раз. Вошли экскурсанты. Школьники глядели во все глаза, плохо слушая экскурсовода. До меня доносилось:

— Длина здания семьсот тридцать метров... Высота восемьдесят. Почти Исаакиевский собор в Ленинграде, только без купола. Объем здания — четыре с половиной миллиона кубометров...

Те два человека, что были видны с лестницы, куда-то исчезли. Зал казался совершенно пустым. Только ровно гудящие агрегаты.

— Смена? Четыре человека. Начальник смены, обязательно инженер или техник. Потом помощник, он же старший машинист. И еще два машиниста, они же электрики. Много спорили, можно ли объединить эти две профессии.

Мелькает мысль: а стоило спорить? Что для такого гиганта два-три лишних человека? Даже десять, даже тридцать?

Главный инженер не согласен со мной. Великолепно задуманное и осуществленное содружество сверхмощных агрегатов как бы создает вокруг атмосферу не только технического совершенства, но и предельной организационной целесообразности. В этом тронном зале королевы-энергетики противоестественно видеть лишних, без дела шатающихся людей, видеть двух человек там, где может управиться один.

Этот один сидел в кабине с искусственным микроклиматом, изолированной от проникновения даже того гула, который не мешал нам разговаривать, от легкого запаха нагретого машинного масла или, может быть, свежей краски — ведь подкрашивают же эти нарядные громадины.

Остановились возле одной из них.

— Как-то были у нас американцы, видные энергетики. Дошли до середины зала, и один джентльмен преклонных лет говорит: "Могу я взглянуть на показания приборов какого-нибудь агрегата?" — "Разумеется. Выбирайте любой". — "Ну хотя бы вот этот". Выбрал, двенадцатый. Надо вам сказать, что джентльмен, заинтересовавшийся приборами, был президентом крупнейшей фирмы "Детройт Эдисон компани" и одним из ведущих энергетиков Соединенных Штатов. Он хотел убедиться, что мощность агрегата — действительно сто двадцать тысяч киловатт. Подходим. На приборах — сто восемь. Стали увеличивать нагрузку. Сто десять, сто двадцать, сто двадцать пять, сто

тридцать! Господин Уолкер Сислер — так его звали — смотрит, молчит. Вдруг — шляпу долой и, представьте, отвешивает агрегату низкий поклон. Потом прислал книгу — отчет о поездке. О нашей станции было рассказано вполне объективно, и приложен снимок: приборы показывают свыше ста тридцати тысяч киловатт.

Кстати, в решении о строительстве нашей гидростанции было сказано "около двух миллионов киловатт". В рапорте об окончании стройки назывались два миллиона сто тысяч. Нашему же коллективу коммунистического труда удавалось добиваться фактической мощности почти в два миллиона четыреста тысяч киловатт. А приходилось вам слышать о самой первой в Волжском бассейне гидростанции? Ну как же, Сызранская, на реке Сызрань. Две тысячи киловатт. Возились с ней лет пять, хотя сам Кржижановский помогал. Сейчас смотришь на нее, как на музейный экспонат.

Я заметил Евгению Павловичу, что не могу привыкнуть к циклопическим размерам машинного зала, не перестаю ощущать его громадность. Видел и пирамиды под Каиром, и Эмпайр стейт билдинг в Нью-Йорке, но то были громадины, обозреваемые со стороны, так сказать, с фасада, а не изнутри.

— Вы не привыкли? — усмехнулся главный инженер. — Я и то не привык. До приезда сюда работал на Туломе, тамошняя гидростанция казалась мне довольно крупной. А здесь весь ее машинный зал — в пределах двух агрегатов. Я, знаете, в отпуск по гидростанциям езжу. Поехал на Днепрогэс — боже, какой маленький! А как-то взял сына, ему восемнадцать, да и катнули вместе на Ангару, на Енисей. Вот на Братской, на Красноярской и мы немножко бледнеем. Сислер снял шляпу перед ста тридцатью тысячами, а там — пятьсот тысяч киловатт. Для тепловых станций

теперь готовят энергоблоки и на миллион двести. Вся царская Россия в одном блоке.

Из тронного зала королевы спустились во внутренние ее покои. Средняя часть агрегатов выглядела не так нарядно, как верхняя. Но что это за ребристые боченки на ножках?

— Для Асуана, — пояснил Евгений Павлович. — Новый тип вентиля, более удобный и простой. У нас с Асуаном контакты теснейшие. Здесь, на Волге, стажировались асуанские эксплуатационники. С полгода у нас работали. Удивительно все же восприимчивы арабы к языкам! Разумеется, и наши работали на стройке в Асуане, да и сейчас еще не все вернулись, помогают осваивать оборудование.

В Жигулях много экспериментируют. Тут были испытаны, например, ионные возбудители крупных гидростанций. Для гидростанции в Железных воротах на Дунае, сооружаемой югославами и румынами, испытывается так называемое тиристорное возбуждение на диодах.

Узкая лестница привела нас к пульту управления. Дежурил Леонид Александрович Журавлев. На станции он больше десяти лет. Человек знающий, ведет все основные операции.

У него, разумеется, много помощников. Главный из них — системно-режимная автоматика. Она есть теперь на всех крупных наших станциях, развивалась же прежде всего здесь, в Жигулях. Эта система в случае аварии, например, способна на мгновенную ориентировку, недоступную человеку даже со сверхъестественной реакцией. Она решает, что нужно отключить, что на какой режим перевести, чтобы не было беды.

За спиной дежурного на пульте — широкие окна, выходящие на Волгу. Там пляска могучих струй, вырвавшихся из-под машинного зала, из невидимых



турбин, постепенное успокоение воды, отработавшей свое, растекающейся снова широко и вольно.

Вернусь к хронике Ставрополя.

В весеннюю распутицу 1953 года он поехал на новоселье из низины в гору, за сосновый бор. На горе строили и новые здания: предполагалось, что население города со временем достигнет сорока тысяч человек.

Четыре года спустя прежний Ставрополь — вернее, место, где он находился, — полностью скрылся под водой Куйбышевского моря.

Когда в 1964 году новый Ставрополь переименовали в город Тольятти, он был уже одним из наиболее бурно растущих городов Средней Волги.

В 1967 году итальянская газета "Унита" опубликовала репортаж своего корреспондента, который не первый раз был на Волге: "Я помню — видел своими глазами, — что десять лет назад здесь была голая земля. В этот раз я любовался панорамой города с верхней площадки химической установки на заводе синтетического каучука. Взору открывался огромный промышленный район... Население города приближается уже к ста пятидесяти тысячам человек".

Многотомное издание "Советский Союз" годом позднее сообщило, что в Тольятти свыше ста шестидесяти тысяч жителей. Среди предприятий города был назван химический завод — крупнейший в стране по производству элементарного фосфора, "Волгоцеммаш", поставляющий оборудование почти всем нашим цементным заводам, завод синтетического каучука — флагман большой химии. Авторы добавляли, что в Тольятти строится также крупнейший автомобильный завод, что это — крупный порт на Волге, важный научный и культурный центр, где есть политехнический и два научно-исследовательских института.

Итак, сначала уездный городок, потом сельский районный центр, равно неприметный на карте

Российской империи и Советской России. Тихая провинция, кумыс, знаменитый сладкий и ядреный лук местных огородников, хлебные амбары. Залетные люди — Репин, Перовская...

Не обходили городок большие бури, народные бедствия, повороты в жизни страны. Здесь все было, как везде. В ноябре 1919 года уездный съезд Советов послал телеграмму Ленину с горячим приветом от крестьян-хлеборобов и обещанием без задержки вывезти все излишки хлеба для Красной Армии и голодного Центра. И в этом новом отношении к общему делу, к пролетариям далекой Москвы — зародыш будущей судьбы городка.

Знаменательно, что почти в это же время снова заговорили об использовании энергии Волги в Жигулях. Идея постройки гидростанции на Самарской Луке возникла еще в 1910 году. Ее автором был Глеб Максимилианович Кржижановский. Тремя годами позднее инженер Богоявленский набросал первый проект гидростанции. Епископ самарский и ставропольский Симеон, возмущенный действиями "прожекторов", обратился тогда к графу Орлову-Давыдову, владевшему крупными угодьями в Жигулях, с просьбой "разрушить крамолу в зачатии".

В первый послереволюционный год самарцы возвращаются к заманчивой идее. Местное отделение Русского технического общества весной 1918 года выпускает тезисы о полной теоретической возможности использования части волжской воды в Самарской Луке для гидравлических установок, настаивает на немедленных изысканиях, предлагает провести их силами самарцев, поскольку "местный патриотизм самарских граждан" поможет немедленно собрать нужные деньги.

На следующий год Кржижановский с одобрения Ленина выезжает в Самару, получает там военный катер

и осматривает предполагаемое место строительства. В декабре 1919 года комиссия по электрификации Волги приходит к выводу, что "наиболее выгодным является устройство плотины в районе Самарских ворот".

Но тут — обострение на фронтах гражданской войны, разруха, голод в Поволжье...

Своего звездного часа городок на Волге ждет долго — три десятилетия. Этот час не лишен драматизма. Уходит под воду земля предков. Все, что дорого, переселяется на новое место — даже гробы со старого кладбища. Круто ломается привычный быт, пусть не больно благоустроенный, но для многих привлекательный, неторопливый.

На новом месте далеко не все налаживается, притаптывается сразу. Я был в новом Ставрополе весной третьего года его жизни — и та его часть, которую перевезли, не получив завершенности и удобств вновь построенных кварталов, утратила прежнюю домовитость и обжитость.

Теперь она, эта самая старая часть, доставшаяся в наследство от уездного городка, — чужой островок в современном разросшемся городе. Разросшемся вопреки первоначальным наметкам. Рост до сорока тысяч жителей — это казалось когда-то очень далеким. Теперь перспектива Тольятти — полмиллиона!

Хозяйство у нас плановое, рост городов определяется проверенной методикой расчетов. Конечно, возможны какие-то ошибки, недоучет того-то и того-то. Однако, не такие же грубые!

Но дело в том, что в начале стройки в Жигулях и под Сталинградом распределение океана электрической энергии будущих гидростанций мыслилось, если можно так выразиться, без достаточно дальнего прицела. Рассказывая, на что способен один киловатт-час, говорили: можно добыть 75 килограммов угля, сделать 5 квадратных метров стекла, изготовить 10 метров ситца,

выпечь 88 килограммов хлеба, остричь 15 овец. Мысль шла привычной торной дорожкой.

Когда главные волжские гидростанции дали ток, их значение резко поднял союз энергии и химии. Ставрополь стал расти на этих молодых дрожжах. Едва ли стоит винить людей, в 1947–1951 годах занятых расчетами, в недооценке огромных возможностей электрохимии, в частности, и как "градообразующего фактора". И уже совсем трудно было разглядеть из дали пятидесятих годов автомобильный гигант, индустриально возвеличивший Тольятти.

Решение о его строительстве состоялось в 1966 году.

Выбор не сразу пал на Тольятти. Он был назван среди тридцати других пунктов. Комиссии выезжали на места, машины вычислительных центров из множества данных слагали "за" и "против". Взыскательные судьи, отклоняя вариант за вариантом, сошлись на том, что лучше Самарской Луки для нового завода места у нас в стране пока нет. И победил Тольятти — даже, собственно, не Тольятти, а степь за деревней Русская Борковка, к которой он тянется.

...Дорога на стройку идет через "старый" город. Не через тот, ядро которого составили дома, перевезенные из Ставрополя, а через другой "старый" Тольятти, который еще вчера все именовали новым. В центре этого недавнего нового города теперь слышишь:

— Куда автобус? В новый город?

За окраинами Тольятти — садовые участки, деревенские улицы бывшей Русской Борковки, поля подсолнечника.

Огромный щит. На нем профиль Ленина — такой, как на сцене Кремлевского Дворца съездов. До этого я видел знакомый профиль на щите у развилки дорог в заполярный Талнах на Таймыре. И слова там и здесь одинаковые: "Всесоюзная ударная комсомольская стройка".

Два дня я просто бродил вдоль цехов, где рождался производственный стиль завтрашнего дня — рождался в циклопических объемах зданий, в светлой, я бы сказал, санаторной, что ли, окраске, в праздничном, радостном обилии света, простора, воздуха. Даже в кузнечном цехе стены выложены плиткой, трубы — белая эмаль.

Я записывал: площадь завода — пятьсот гектаров. Чтобы представить объемы всех сооружений, говорили мне, взгляните на Волжскую ГЭС и мысленно соедините в единый комплекс пять таких гидростанций. Кстати, главный строитель автозавода — ордена Ленина Куйбышевгидрострой, тот, что сооружал гидростанцию в Жигулях. Фирма солидная, проверенная. Она возвела, в частности, главный корпус: длина два километра, ширина около полкилометра, объем — почти четыре здания Московского университета на Ленинских горах. Корпус неподалеку, по старым меркам равный целому заводу, — это всего лишь вспомогательные цеха.

Гигант встал у Волги, и близость великой реки подсказала заводскую эмблему — волжскую ладью. Осенью 1970 года первые машины с ладьей на радиаторе сошли с главного конвейера завода.

В тот год, когда Ставрополь переезжал с будущего дна, мы восхищались нехитрой полуавтоматикой заводов, дающих бетон стройке гидростанции. Теперь нас не удивляет мозг автозавода — вычислительный центр, который, собирая и обрабатывая всю нужную информацию, станет синхронизировать рабочий ритм сложнейшего заводского организма, где автоматические линии выполняют запрограммированные операции.

После освоения полной мощности завод каждые 25–30 секунд будет выпускать на дороги страны удобную, вместительную скоростную машину марки "Жигули", мечту автомобилиста, радость семьи. Ежегодно 660 тысяч новых машин — это качественный скачок в общем благосостоянии, в возможностях отдыха и туризма, в

резком сокращении затрат времени на извечный маршрут "дом — работа".

Самый новый Тольятти, где живут автозаводцы, назвали было городом-спутником. Но какой же это спутник, если в нем скоро будет сто пятьдесят тысяч жителей: двенадцать бывших Ставрополей перед стройкой в Жигулях или, скажем, полторы Самары начала нашего века!

Малоэтажью старого Тольятти молодой собрат бросил вызов своими двенадцатиэтажными общежитиями, шестнадцатиэтажными жилыми домами, двадцатитрехэтажными зданиями управления и гостиницы; сероватому одноцветью силикатного кирпича — цветной керамикой, пестрым пластиком, анодированным металлом.

Над проектом города поработали и архитекторы света: в жилой части по вечерам освещение будет иметь приятные теплые оттенки, на автомагистралях — холодные резковатые, на площадях предусмотрен спокойный белый свет. Будут подсвечиваться парки и фонтаны, интересные архитектурные детали и памятники.

Город автомобилестроителей задуман не только красивым, но и удобным. У него — скоростная автомобильная дорога, эспланада с прогулочными дорожками, зона отдыха, гавань яхт-клуба. А в домах — уютные лоджии вместо балконов, электрические плиты вместо газовых, кухонные блоки, где все продумано, все под рукой.

У автозавода и его города — рациональная соподчиненность всех элементов для облегчения труда и быта.

В новом городе от любого квартала до проходной — не более двадцати минут. На заводе от раздевалки до рабочего места — не более полутора метра.

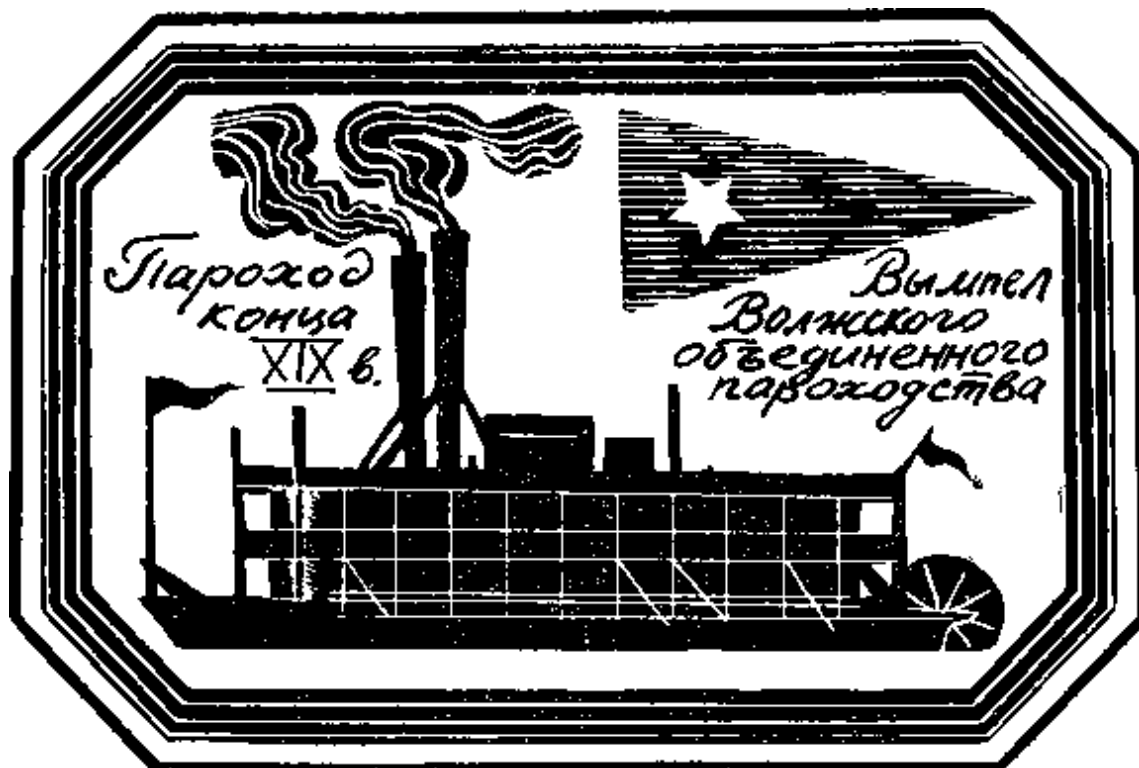
Когда я был в новом Тольятти, на щите у развилки дорог — к заводу прямо, к жилью налево — была нарисована чайка, хотя город еще не успел выйти к морю. Он поднимался громадами высотных зданий. С крыши строящегося общежития было видно, как разбег индустрии оттеснил в приволжском пейзаже на задний план и сельщину, и природу. Если бы прежний Ставрополь не ушел на дно, все равно он затерялся бы сегодня среди марсианских башен химиков и автозаводских колоссов.

Вокруг индустриально-энергетического сгустка Жигулевск — Тольятти словно пульсируют магические волны, преобразующие ближнюю и дальнюю округу. Разбегающиеся в разные стороны линии электропередач, которые некоторое время назад несли провода слишком высоко над колхозными полями, теперь "приземлились". Колхоз имени Жданова был последним хозяйством Куйбышевской области, подключенным к государственной энергосети.

Это уже не просто сплошная электрификация, но как бы снятие ограничителя, возможность для каждого колхоза получить сколько, угодно энергии, причем куда более дешевой, чем та, что давали колхозные движки.

Может, стоит попутно напомнить, что Куйбышевская область превзошла электроэнергетикой предреволюционную Самарскую губернию почти в тридцать восемь тысяч раз.

## У самарской луки



*Еще один миллионер. — Лицом к реке. — Иегудиил Хламида о Самаре. — Плавание "Нимфы". — Только сто километров "кругосветки". — Жигули, Царев курган, олени и каменоломни. — Степной, хутор. — Странный помещик. — Из деревенского дневника.*

Осенью 1967 года супруги Беловы, работники Куйбышевского моторостроительного завода, отправились регистрировать новорожденную. Их встретили очень торжественно: Наташа Белова была зарегистрирована как миллионная жительница города.

Куйбышев стал вторым приволжским миллионером. А до войны в городе жило меньше четырехсот тысяч человек.

Рывок Куйбышев сделал в военные годы. Началось с того, что на Волгу перебазировали крупные предприятия. Некоторое время, когда гитлеровцы были



под Москвой, в Куйбышеве работала и часть правительственных учреждений.

Зимой 1941 года я получил предписание срочно выехать из Ульяновска в Куйбышев. Проводник товарного поезда приютил меня в своем закутке. На моей обязанности было собирать уголь на станционных путях во время стоянок, поддерживать огонь в крохотной чугунной печке и варить мерзлую картошку.

Ехали мы дня три. Была ясная, морозная зима. Над станционными домиками по утрам поднимались розовые дымы, почти не колеблемые ветром, — так бывает в сибирские морозы.

После занесенного снегами Ульяновска город казался необыкновенно оживленным. Площадь перед вокзалом кишела народом. На главной улице ладно одетые подтянутые милиционеры регулировали движение. В машинах с посольскими флажками проезжали важные господа в меховых шубах: дипломатический корпус временно обосновался на Волге.

Я разыскал знакомого журналиста Ш. Он жил со старушкой матерью в квартире с фикусами и мягкой плюшевой мебелью. Портреты в черных солидных рамах изображали снятого в мундире какого-то ведомства отца Ш, худощавого, с пышными усами, с высоко подпертым подбородком, в который врезались уголки стоячего воротничка.

— Ужас, ужас! — жаловалась старушка. — Сколько понаехало в Самару, вы себе не представляете! Вот со дня на день ждем Петину двоюродную сестру с ребятами. Где они разместятся — ума не приложу.

Старушка, видимо, боялась, что я нагрянул к ним на постой. Сам Ш., сухонький, желтолицый, похожий на отца, взбодрил чайничек и угостил меня филичевым табаком — был такой, до сих пор не знаю, из какого сырья его изготавливали. Все же это было лучше, чем

аптечная ромашка, которую я примешивал к остаткам разделенной с проводником махорки.

Ш. рассказал мне, что в городе очень много москвичей — он видел вчера на Галактионовской улице знаменитого писателя, который шел, попыхивая трубкой. Милиционеры на главной улице тоже московские, с ними шутят: "Скажите, пожалуйста, как пройти на Кузнецкий мост?"

Но главное в жизни города — на его окраинах, где оседают заводы, эвакуированные из занятых врагом районов.

— Я ездил недавно на Безымянку, прежде это была пустяковая станция, — рассказывал Ш. — Теперь трубы, трубы. Недавно пустили теплоцентраль. И в городе к каждому нашему заводу прибавляют новый. Станки ставят в складах, в бывших казармах.

Задание я выполнил за четыре дня. Накануне отъезда мне дали билет на "Лебединое озеро": Большой театр тоже был в Куйбышеве. Пахло духами, дорогим трубочным табаком, дипломаты прогуливались с разодетыми женами. Среди зрителей преобладали люди в телогрейках, усталые, бледные. Мой сосед задремал почти сразу же, два или три раза склонился ко мне на плечо, сконфузился, стал извиняться:

— Две смены отработал, билет в местное дали, неудобно было не пойти. Разморило в тепле, цех не топят.

Когда кончился спектакль, возле гардероба американец в военной форме сильно толкнул терпеливо стоявшего в очереди японца: после внезапного нападения Японии на Пирл-Харбор прошло едва две недели. Японец со сдержанной яростью что-то сказал американцу. Тотчас появились еще американцы и японцы. Дипломаты вели себя, как мальчишки-задиры. Еще секунда — и, кажется, вспыхнул бы дипломатический скандал, а проще говоря — самая

вульгарная драка. Но тут энергично вмешались переводчицы.

Все это — дипломаты, их дамы, их пригардеробные страсти — казалось неуместным фарсом, разыгрываемым в трудно живущем, на войну работающем городе.

Гитлеровцев погнали прочь от столицы, и дипломаты вернулись в свои московские особняки. Заводы не вернулись. Они пустили корни на новом месте. Корпуса росли за корпусами, времянки шли на слом, строились общежития и дворцы культуры.

Рост был бурным. Скажем, подшипники. В Куйбышев эвакуировали часть цехов Первого московского подшипникового завода. От скромной этой базы разросся центр всесоюзного масштаба, получивший выход и на международный рынок. Город производит теперь подшипники, едва различимые глазом, и такие, которые надо поднимать краном. Если бы понадобилось изготовить подшипники для оси земного шара, Куйбышев мог бы принять такой заказ; во всяком случае над производством гиганта весом в десять тонн и диаметром в три метра здесь уже думают...

Другое детище военных лет, нефтеперерабатывающий завод, приобрел, пожалуй, даже мировую известность: одна из марок его дизельного топлива идет в ледяную Антарктиду, где наши ученые работают рядом с полярниками зарубежных стран.

Куйбышевский металлургический завод куда моложе своих собратьев, но уже завоевал солидную репутацию одного из крупнейших и совершеннейших предприятий этого рода во всей Европе. Да разве он один? Пока миллионная жительница города Наташа Белова научилась произносить "мама" и "папа", на радость ей и ее сверстникам начала работать шоколадная фабрика "Волжанка", опять-таки крупнейшая в Европе.

Но если говорить о тех послевоенных переменах, которые сразу видны волжскому путешественнику, то, конечно, это новые взаимоотношения города и реки.

Наши приволжские города возникали и развивались по-разному. Однако за небольшими исключениями развертывались они к реке небрежно, неряшливо. Архитектором часто была погоня за чистоганом. Берега застраивались купеческими лабазами, пристанционными складами, вдоль них тянулись глухие заборы.

Только в послевоенные годы Поволжье покончило с этой несурезицей, противоречащей народной любви к реке. Сталинградцы при восстановлении как бы повернули город главным фасадом к Волге. Ярославцы омолодили обветшавшую набережную, и она украсила город. Костромичи озеленили, очистили, благоустроили приречье. Горьковчане отлично спланировали свой любимый Откос и спустили к Волге небывалую парадную лестницу.

Все это было сделано еще до прихода волжских морей. Моря подхлестнули замешкавшихся. Кинешма засыпала овраг, безобразивший ее бульвар, так поэтично связанный народной молвой с историей создания "Бесприданницы", Саратов начал создавать многоярусную набережную. И вот тут-то Куйбышев перещеголял соседей. За каймой песчаных пляжей поднялась стена уральского гранита. Над ней не просто бульвар, но бульвар-парк многолетних лип, берез, елей, лиственниц. И как естественно сливается он с бывшим Струковским садом!

Набережная неотразимо влечет вечером знойного летнего дня. На пляжах в эти часы иногда больше людей, чем днем; сидят семьями на песке, жуют бутерброды, вареные яйца, потягивают пивко — конечно же, знаменитое жигулевское, несравненное жигулевское, которое варит на девяностолетнем куйбышевском заводе восьмидесятилетний старейшина

наших пивоваров, Герой Социалистического Труда Александр Николаевич Касьянов.

В придачу к набережной построил город Куйбышев новый порт. Построил подальше от центра, поскольку шеренги кранов безусловно наполняют сердца речников гордостью за высокий уровень механизации, но плохо вяжутся с общим праздничным фасадом городов, повернутым к Волге. Кроме того, современный порт с подъездными путями, могучими машинами, с причалами, способными принять сразу целый флот, требует такого жизненного пространства, какого давно уже не осталось в приречной части больших городов.

И еще одно свидетельство изменившихся отношений города и Волги — золотые буквы вывески "Волготанкер".

С тех пор как в прошлом веке по Волге пошла нефть, ее перевозки вершила Астрахань. На астраханском рейде груз из Баку перекачивали в речные баржи, нефтевозы тянули их вверх по реке. И перед войной, и во время войны штаб волжского нефтеналивного флота, пароходство "Волготанкер", находилось в Астрахани.

Но вот из скважин "Второго Баку" хлынул поток своей, волжской нефти. Впервые караваны наливных барж пошли не только вверх, но и вниз по реке. Волжской нефти становилось все больше. Татария, где первый действительно мощный фонтан ударил из скважины лишь в 1946 году, быстро вышла по добыче на первое место в стране.

И "Волготанкер" перебрался на Среднюю Волгу, Куйбышев стал резиденцией крупнейшего в мире пароходства, занятого речными перевозками нефти. У него свой мощный флот. У него танкеры, идущие из реки в моря. Без перегрузки они доставляют нефть, бензин, керосин, мазут волжских промыслов в наши и зарубежные морские порты.

Но довольно о речных делах. Не Волгой одной жив Куйбышев. Город-миллионер, естественно, в бурной

стройке. Давно уже не ведут здесь счет на дома. Вели на кварталы, на улицы. Теперь — на микрорайоны. Но какое там "микро", когда, скажем, в новых микрорайонах Куйбышева — девяти- и двенадцатиэтажные дома, большие кинотеатры, рынки, кафе; один "микро" получает высотное здание библиотеки и Дом искусств, временно размещает студентов молодого куйбышевского университета; другой будет иметь свой стадион. И жителей в каждом "микро" больше, чем в прежнем волжском городе не из главных, но и не из заштатных.

Старая Самара уложена теперь в черте всего двух городских районов. Остальные — новые. Два на севере — прирост в довоенные пятилетки. Два на востоке — это военные годы. Здесь широкие проспекты, деревья в парках, успевшие сомкнуть кроны. Район на юге — послевоенный. Микрорайоны на северо-востоке самые молодые, им всего три-четыре года.

Город многолик, сложен. Его новые улицы и проспекты — имени Юрия Гагарина, Победы, Metallургов — не похожи на главную в старой части улицу, носящую имя Куйбышева, где рядом с вещественными доказательствами ранних формалистических увлечений советских архитекторов сохранились здания, построенные самарскими купцами в стиле "подправленной" на свой манер греко-римской классики.

О старой Самаре написано не мало. Но как скупы дореволюционные авторы на похвалу расположению города, его нравам, его общественной жизни.

Тарасу Шевченко Самара решительно не понравилась: издали весьма и весьма не живописна, вблизи — ровный, гладкий, набеленный, нафабранный, до тошноты однообразный город. Поэт зашел в лучший трактир, но не мог там дожидаться котлет. "Огромнейшая хлебная пристань на Волге, приволжский Новый Орлеан!

И нет порядочного трактира. О, Русь!" — записал он в дневнике.

Охотно и часто цитируется самарский фельетон молодого Горького, на мой взгляд — не из лучших: "Смертный, входящий в Самару с надеждой в ней встретить культуру, вспять возвратися, зане город сей груб и убог. Ценят здесь только скотов, знают цену на сало и шкуру, но не умеют ценить к высшему в жизни дорог".

Имена авторитетны. Но у Шевченко — лишь беглая запись в дневнике, внутренне соотнесенная с ненавистным поэту представлением о городе, типичном для царствования "неудобозабываемого Николая Тормоза", Николая Первого. Отсюда, видимо, образ — нафабранный город.

Да и молодой Иегудиил Хламида вряд ли претендовал в обличающем нравы мещанско-купеческой Самары фельетоне на исчерпывающее обобщение. И вообще о своем тогдашнем настроении Горький говорил: "Я был недоволен губернатором, архиереем, городом, миром, самим собой и еще многими".

Я все это к тому, что одним городам повезло на ставшие крылатыми характеристики, другим — нет. И хотя характеристики крылаты, в них подчас много случайного. Как любим мы повторять: "В глушь, в Саратов". Уж раз сам Грибоедов... Но позвольте, почему Грибоедов? Фамусов! "В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!" То есть по смыслу скорее в глухую деревню под Саратов, в Саратовскую губернию. А мы твердим: в прошлом Саратов был синонимом провинциальной глуши.

Уже широкая популярность фельетонов Горького в Самаре доказывала, что в городе не только "ценят скотов". Здесь была одна из лучших в стране публичных библиотек, театр, два концертных зала, печаталось несколько газет, были интеллигентные семьи, где

собирались литераторы и актеры, были взлеты патриотического подъема — ведь отправила же Самара одной из первых в России отряд добровольцев на помощь балканским славянам, а посланное самарцами ополченческое знамя стало болгарской национальной святыней. И, наконец, во времена Иегудиила Хламиды, кроме бросающейся в глаза нечистой жизни хлебных воротил, скотопромышленников, пароходчиков, кипела в Самаре жизнь подпольная, были конспиративные квартиры, собрания кружков — все то, что делало поволжский город сначала крупным центром народничества, а затем одним из штабов марксизма в русской провинции.

\* \* \*

Крупнейшее значение самарского периода в жизни Владимира Ильича Ленина общеизвестно — и к нему возвращают, в частности, экспозиции местного Дома-музея, бывшей самарской квартиры Ульяновых.

Куйбышевцы восстановили в прежнем виде также зал судебных заседаний самарского окружного суда, где выступал молодой помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов, и Александровскую библиотеку, книгами которой он пользовался. По возможности возвращен первоначальный вид и другим памятным зданиям.

Среди многочисленных воспоминаний о жизни семьи Ульяновых в Самаре некоторые прямо связаны с Волгой.

В 1969 году удалось по архивным материалам точно установить место возле нынешнего города Октябрьска, где некогда держал переправу купец Арефьев и где произошла чрезвычайно неприятная для него история. Купец, заведя небольшой пароходик с баржой, вытеснил конкурентов-лодочников и установил на переправе свою



"монополию". Все смирились с этим. Но однажды у переправы оказались молодой Ульянов вместе со своим родственником Марком Елизаровым. Парходика было ждать долго, и Владимир Ильич уговорил лодочника перевезти их через Волгу. Купец поступил по обыкновению — послал свой парходик на перехват. Лодка была, что называется, взята на абордаж, подтянута к борту матросскими баграми, и капитан велел пассажирам перебраться на судно.

Владимир Ильич предупредил, что это самоуправство, караемое по закону, однако вынужден был подчиниться. Арефьев, наблюдавший погоню с балкона своего дома, торжествовал — но, как оказалось, преждевременно.

Первый разбор дела о самоуправстве купца был назначен за сотню верст от Самары. Владимир Ильич приехал туда. Встревоженный купец нанял опытного адвоката. Тот пытался всячески затянуть разбирательство. Дело откладывали до самой осени. В осеннюю распутицу Владимир Ильич снова приехал под Сызрань, но купец и его адвокат не явились по вызову. Однако Ульянов и тут не отступил, в конце концов суд все же состоялся, и Арефьеву, к великому ликованию лодочников, пришлось отсидеть месяц в арестном доме...

Почитателей Волги, естественно, особенно привлекают страницы воспоминаний, посвященные путешествию молодого Ленина по "жигулевской кругосветке". Наиболее полный рассказ о плавании Владимира Ильича и его спутников, по весенней Волге и Усе, оставил Алексей Александрович Беляков, который занимался пропагандой среди самарских крестьян, а позднее входил в марксистский кружок, руководимый Лениным.

Беляков повествует, как солнечным утром в мае 1890 года лодка "Нимфа", покинув Самару, пошла вниз по

течению. Спустившись до села Переволоки, путники на лошадях перевезли ее через перешеек между Волгой и Усой. Ночевали возле костра. Течение Усы вынесло "Нимфу" на Волгу. Поскольку поездка в расположенный на другом берегу захолустный городок Ставрополь никого не прельщала, остановились на ночлег у подножья Молодецкого кургана и поднялись к его вершине. На следующий день в бурю и грозу вдоль Жигулей доплыли до села Царевщины, а оттуда вернулись в Самару.

Обладавший литературным дарованием, отличной памятью и хорошо знавший окрестности Самары — некоторое время он учительствовал в Царевщине, — Беляков рассказал о поездке живо и интересно. Его описание стало как бы своеобразным путеводителем для тех, кто, отправляясь в новые "кругосветки", сравнивает, что было и как стало.

Первые часы половодье несло "Нимфу" вдоль совершенно пустынных берегов. Теперь за прибрежным лесом — молодой промышленный город Новокуйбышевск, и в нем больше жителей, чем было в Самаре весной 1890 года.

В Екатериновке, где молодой Ульянов слушал рассуждения сельского торговца Нечаева о неизбежном расслоении деревни — "бедняк в нищие пошел, а средственный на его место, а у кого есть капитал и голова — землю приберет к своим рукам, да его же, каналья, за хлеб и воду заставит работать!" — в этой нищей Екатериновке теперь богатый колхоз "Заря Поволжья". Обелиск на берегу напоминает о плавании "Нимфы".

Перешеек у Переволок ныне сузился: с низовьев его подпирают воды Саратовского моря, по другую сторону в долину извилистой Усы вошел залив Куйбышевского моря. А сами Переволоки! Здесь новый поселок Междуреченск с большим лесоперевалочным

комбинатом. Через перешеек проходят железная дорога и автомобильная магистраль Куйбышев — Москва. В Переволоках вокзал и пристань, асфальтированные улицы, комбинаты, перерабатывающие древесину и выпускающие железобетонные конструкции.

На перешейке нынешние "кругосветчики" видят буровые вышки и лагерь изыскателей. Здесь предполагают построить вторую очередь Куйбышевского энергетического комплекса — гидростанцию мощностью 2 миллиона 400 тысяч киловатт, которая станет использовать излишнюю воду уже созданного Куйбышевского моря. Через шлюзы на перешейке суда смогут идти напрямик, оставляя в стороне сто сорок километров Самарской Луки.

Та часть быстрой Усы, где, как вспоминал Беляков, обилие камней заставляло гребцов держать ухо востро, исчезла, и Молодецкий курган поднимается над спокойным заливом. С вершины можно досыта налюбоваться не только "бесконечными просторами Волги", но и морем, поднятым плотиной гидростанции в Жигулях, а также различимым в далях заречья городом Тольятти.

Всего сотня с небольшим километров старого прогулочного маршрута — и какие разительные, глубочайшие перемены, какая предельно наглядная панорама преобразований, захватывающих разные стороны народной жизни! И все это в таких масштабах, о которых не скажешь даже "то, о чем мечтали": мечты были скромнее.

Курган над устьем Усы — это уже Жигули, вдоль которых путники и сегодня, как в прежние годы, завершают "кругосветку" — прославленные, воспетые, тысячекратно описанные, запечатленные пером и кистью Жигули.

Может быть, никто с такой эмоциональной точностью не определил их место в мире волжских впечатлений, как Илья Ефимович Репин: "Волга представлялась мне какой-то музыкальной пьесой, вроде "Камаринской" Глинки. Она начиналась заунывными мотивами, тянущимися бесконечной линией до Углича, Ярославля, переходила в красивые мелодии в Плесках, Чебоксарах, до Казани; волновалась, дробилась, уходила в бесконечные дали под Симбирском и, наконец, в Жигулях разразилась таким могучим трепаком, такой забирающей "Камаринской", что мы сами невольно заплясали — глазами, руками, карандашами и готовы были пуститься вприсядку..."

У нас много гор, превосходящих Жигули и высотой, и живописностью, и игрой красок. Жигули не суровы, не грозны, не дики. Но дикие неприступные утесы нужны крутотравному, стремительному Енисею. На Волге они были бы чужими. В том-то, наверное, и неповторимое очарование Жигулей, что горы эти как бы созданы только для Волги, что лишь их-то как раз ей и не доставало. Они удивительно под стать спокойной величавости русской равнины и плавному ходу вод.

Время щадило Жигули, наше национальное богатство. Загляните в дореволюционные книги. Там упоминается лишь, что на вершине Караульного бугра виднеется изящный бельведер, устроенный владельцем Жигулей графом Орловым-Давыдовым, что в одном из буераков приютилась живописная деревушка Моркваша, а в широкой низине красуется деревня Ширяево с большим известковым заводом.

Беру последний путеводитель. Приведа свидетельство дореволюционного поэта Садовникова, что в Жигулях, если глядеть с парохода, увидишь всего два-три селения до самой Самары, автор радуется: "Не то теперь — можем мы воскликнуть!"

А что теперь? Теперь возле Яблонового оврага начинается город Жигулевск, сам же овраг — место добычи нефти и производства строительных материалов. "Мощные взрывы динамита раздаются над Жигулями. Это взрывники отодвигают горы. Двадцатитонные самосвалы взбираются на загрузочную площадку, где огромный экскаватор наваливает в кузова машины известняк — сырье для Жигулевского комбината. И так каждый день и в любую погоду".

Да, теперь не то, что прежде! Зольный овраг — селение нефтяников. Моркваши — деревообделочный комбинат и ремонтно-механический завод. Бахилова Поляна — битумный завод и поселок Гудрон. Солнечная Поляна и Липовая Поляна — поселки нефтяников. Возле Ширяево — крупнейший в Жигулях известняковый завод. В бывшей Царевщине — большой карьер.

Радоваться бы такому индустриальному сгустку, как радовали нас заводы в начале жигулевской "кругосветки", но...

Рвали-то динамитом "каждый день и в любую погоду" Жигули! Те самые, воспетые, прославленные, легендарные! Ямы карьеров не лучшая оправа для жемчужины природы, о которой академик Сукачев говорил: "Вряд ли во всей Средней России найдется более интересная для натуралиста местность". Битумные и ремонтно-механические предприятия едва ли помогут сохранить для наших внуков и правнуков места, где много связано с Разиным и волжской вольницей, с Репиным, с Горьким — последний на Волге, у Жигулей, уже в преклонные годы искал утешения после смерти сына.

Нынче пахнут Жигули нефтью, по буеракам вместо удалых добрых молодцев с кистенями — буровые вышки, под утесами — карьеры строительного камня, по подгорью, где искали приют рыбаки, — поселки совершенно городского типа.

С известного расстояния сегодня легко по всей строгости нынешних воззрений судить людей, с небрежением относившихся к родной природе, мало думавших о сохранении курганов и легенд. Но ведь то были другие годы. После тяжелейшей войны накопилась масса насущнейших и неотложных дел. О красоте, казалось, можно будет подумать потом, когда построим крышу над головой, когда дадим ток заводам.

Наши природные богатства представлялись в те времена поистине неисчерпаемыми. Была вера в грандиозный план преобразования природы, утверждавший скорое полновластие человека над стихиями. В перспективе — причем не в очень далекой — рисовалось превращение пустынь в сады, полная победа над засухами, изменение климата огромных пространств. Что на фоне этих фантастических работ какой-нибудь старый монастырь или забытый курган? Нужно будет — три новых насыпем, каждый выше прежнего! Пока же важно вовремя построить гидростанцию в Жигулях, дать камень для ее сооружений, достойных великой эпохи!

К подножью Царева кургана, одиноко поднятого напротив Жигулей, в свое время народная молва нанесла множество легенд, преданий, сказов. Необычайная его куполообразная форма издавна удивляла путешественников. Адам Олеарий в начале XVII столетия записал о нем легенду, уже тогда достаточно старую. Полувеком позднее голландский парусный мастер Ян Стрейс, плававший по Волге на русском корабле "Орел", в своей книге уверял, будто курган образовался из костей татар, разбитых московитами. Появление странной горы связывали то с касимовским царевичем, то с Разиным, то с Иваном Грозным. Описывали Царев курган Корнелий де Бруин, академик Лепехин, Паллас. Петр Первый поднимался на его вершину. Заинтересовал он Тараса Шевченко. Им

любовались пассажиры "Нимфы". Репин бродил возле него с этюдником. В 1905 году на кургане сложили из камней крамольные слова: "Долой самодержавие!"

Теперь прежнего Царева кургана нет. Он обезглавлен, ополовинен. Его "употребили на камень" для строительства. Легендарный курган превратился в прозаический карьер — правда, недавно в нем прекратили работы и подумывают о наведении некоторого благообразия в облике изуродованной горы. У ее подножья — поселок Волжский, камнедробильный и асфальтобетонный заводы, и лишь в низине сохранились кое-где деревянные избы с огородами, оставшиеся, возможно, от старого села Большая Царевщина. Может быть, потому, что мне жаль прежней вершины, нынешний вид с ополовиненной высоты не показался мне особенно привлекательным.

Возвращаясь, обратил внимание на обветшавший храм, вокруг которого рабочие устанавливали строительные леса. Большой щит извещал, что реставрацию Крестовоздвиженской церкви ведет строительно-монтажное управление номер такой-то. И мелькнула мысль: не увидит ли турист в здешних местах какое-то время спустя надпись: "Восстановление Царева кургана осуществляется Управлением по охране памятников природы Поволжья"?

Ленин оставил нам завет об электрификации страны, и, выполняя его, мы возвели волжские плотины. Но декрет о создании в устье Волги Астраханского заповедника подписан также им. Известно отношение Ленина к Жигулям, его письма, в которых он советует родным выбраться на лето в чудесные волжские горы, чтобы отдохнуть там — и в Морквашах действительно отдыхали сестры Владимира Ильича.

Вспомним также, что в июле 1920 года — совсем не легкого года в истории нашей страны — Ленин предложил Подольскому уездному исполкому

арестовать на один месяц заведующего санаторием Горки, самовольно и бесцельно срубившего вековую ель.

Одну ель! В Жигулях же вырублены многие тысячи деревьев. И не в войну, не в пору жесткой необходимости, не в первые послевоенные годы, даже не во время постройки гидростанции: позднее! Как тут не вспомнить Аксакова: "Мы богаты лесами, но богатство вводит нас в мотовство, а с ним недалеко и до бедности".

Вряд ли Жигули можно было уберечь целиком.

Нефть там стали добывать в войну, когда горючее требовалось танкам. Строительство гидростанции неотвратимо втянуло в свою орбиту дальние и ближние окрестности. Но не слишком ли вольно и бездумно перешагнули в Жигулях рубеж необходимости?

До войны на Самарской Луке был заповедник. Туда завезли с Дальнего Востока пятнистых оленей. Они хорошо акклиматизировались. Подсчитали в 1939 году: 32 оленя. Подсчитали в 1948 году — 79. Значит, в войну, когда мясо не всегда выдавалось по карточкам, их сохранили!

А сколько пятнистых оленей в Жигулях сегодня? Нет вовсе. Истреблены волками и браконьерами. Как могло это случиться?

За последние пятнадцать лет дважды отменялось решение о заповедных местах Самарской Луки. Брали верх важные хозяйственные соображения. Но настолько ли все-таки важные, чтобы рвать жигулевские утесы на камень, рубить леса, сохранявшие под своим покровом потомки растений доледникового периода истории земли (великое оледенение пощадило Жигули), а также виды, которые встречаются только здесь, и больше нигде в мире?

Летом 1969 года был утвержден общий проект планировки района Жигулевск — Тольятти. Создан природный парк "Жигули", куда вошел и



восстановленный в правах заповедник. Самосвалы жигулевских карьеров нагружали кузова черноземом и сваливали его туда, откуда недавно брали камень: решено вернуть зеленый покров обезображенным горам. По вырубкам сажают молодняк. Известковому заводу запретили разрабатывать камень на жигулевском берегу, один левобережный карьер закрыли вовсе. В Жигулях не будут отводить участки для новых предприятий.

Многое, вероятно, удастся исправить. Говорят, будто в жигулевских дубравах появились уже лоси и косули.

Но не заставляет ли переменчивая судьба Жигулей еще и еще раз подумать о главной нашей реке? Подумать перспективно, в свете сегодняшних воззрений на охрану природных богатств? Подумать с учетом принятых в конце 1970 года Основ водного законодательства.

"Волге быть чистой!" — под таким лозунгом уже не первый год успешно действуют активисты народного контроля. Наивно думать, будто загрязнение рек — только наша проблема. В Америке давно говорят об "умирающих реках". Катастрофически загрязнен Рейн в Голландии. Считается, что реки Франции сбрасывают в море 7 миллиардов кубометров полностью испорченной воды.

В ближайшие годы на очистку и охрану волжских вод предполагается затратить несколько сотен миллионов рублей. Сумма огромная, но тут нечего скупиться! Волга — наше национальное богатство, она, помимо всего прочего, еще и удивительный дар природы, как бы завещанный нам далекими предками, обожествлявшими реку.

\* \* \*

Подшитая по годам полицейская переписка. Состоящий под негласным надзором полиции бывший студент Казанского университета Владимир Ильич Ульянов выехал из Казани на хутор при деревне Алакаевке. Прибыл в Алакаевку. Выбыл в Самару. Прибыл. Выбыл. Опять прибыл. Снова выбыл. Приехал на лето. Уехал на зиму. Надзор учрежден, под надзором находится. Каждый шаг — на заметке. И так четыре с лишним года: Алакаевка, Алакаевка, Алакаевка...

Последним выездом из Алакаевки в августе 1893 года отграничен самарский период жизни Владимира Ульянова: через Нижний Новгород и Москву он выехал в Петербург, в центр революционной борьбы.

В Алакаевке теперь усадьба совхоза "Ленинский", Вокруг обширные поля, большие яблоневые и вишневые сады. Каменные, городского вида здания новой Алакаевки образуют как бы рамки усадьбы-музея, где восстановлен старый хутор. Недавно в архивах найдены его план и точное описание. О доме было сказано, что он существует "более сорока лет". По поводу кухни-пристройки и конюшни сделано примечание: "Ветхи, требуют ремонта".

Еще в прошлом веке, вскоре после того, как Ульяновы покинули Алакаевку, хутор попал в руки кулака из деревни Неяловки. Тот садом не интересовался и пустил его под запашку. Нанял местного крестьянина корчевать деревья, за работу разрешил три года на раскорчеванном месте бесплатно сеять хлеб.

Дом кулак перевез к себе в Неяловку. Там он и простоял до тридцатых годов, пока его не вернули в Алакаевку.

Я расспрашивал коренных алакаевцев. Они с детства слышаны об Ульяновых, помнили приезды Анны Ильиничны уже в советское время. Помнили, как в 1919 году отправили Москве два вагона продовольствия, а в

голодный 1921 год посылали ходоков за помощью к Ленину. И была в рассказах об этом страшном голоде одна важная подробность.

— Все же мытарилась у нас не так, как в других местах, — говорила Наталья Андреевна Лисарова. — И то сказать: артель помогла.

— Не будь артели, — не выжили бы, — поддержал ее Яков Ильич Лисаров. — Под голодный год сеяли мы артельно. Что собрали, делили по едокам. Пришлось на едока по девять челяков зерна, да считай по двенадцать челяков подсолнуха. Челяк? А челяк — это, значит, мера такая, побольше ведра. Пуд пять фунтов. Так вот, кабы не артель, не сидел бы я теперь с вами. По окрестным деревням кто победнее, того первым на погост снесли. А у нас без хлеба никто не остался. Вот тогда-то мы впервой прочувствовали, какая в артели сила.

Никто не помнил уже, откуда пошла артель. Кажется, надоумил как-то партийный, из бывших красноармейцев, вернувшихся с фронта.

Когда хлеб подошел к концу, отрядили алакаевцы трех мужиков в Каменец-Подольский: там, по слухам, можно было обменять подсолнечник на зерно. Оказалось — враки. Двинулись алакаевцы в Калугу — и там ничего не вышло.

Один из троих, Кузьма Сергеевич Фролов, слывший за самого бойкого, добрался до Москвы и разыскал Анну Ильиничну. Анна Ильинична стала хлопотать, дала Фролову бумагу к калужским властям. Но при всем желании местные власти помочь не смогли: Калуга сама сидела без хлеба. Посланцы вернулись ни с чем, а Фролов подцепил по дороге сыпной тиф.

После этого в Москву отправились ходоки Асанин и Филиппов: верила деревня, что Москва без помощи не оставит.

Весной 1922 года по просьбе Владимира Ильича алакаевцам выделили сто пудов овса, гороха и муки.

Бывший алакаевский крестьянин Степан Николаевич Асанин, ныне инженер, ушедший на пенсию (он живет в Куйбышеве), много раз делился в печати воспоминаниями о поездке в Москву, и они, вероятно, известны читателю, как и текст расписки алакаевских ходоков, в которой есть не принятые в отчетных документах, но от души идущие слова о том, что "в центре действительно проявляется сугубая забота к преодолению великого голодного бедствия и что наш великий вождь тов. Ленин принял близко к сердцу все нужды пострадавшего крестьянства".

...Побывав в музее, расспросив старых людей, надумал я побродить по окрестным местам, заглянуть в соседнее село Сколково, где Глеб Успенский писал очерки "Из деревенского дневника".

Как туда идти? Сколько километров придется отшагать? Одни говорили двенадцать, другие — все шестнадцать. Странно: должны бы знать точно, ведь соседнее село!

— Ни к чему нам та дорога, — пояснил дядька возле совхозной конторы. — Ездим по шоссейке на Богдановку, а там автобус. Верно, это дальше, зато быстрее, и ноги бить не надо, ноги-то свои, не казенные. Вы подождите возле конторы, тут одну женщину в Богдановку отправляют на машине, мальчонка у нее приболел. Мигом и доберетесь. А там — автобус.

Но я решил все же "на своих двоих". Из каменной Алакаевки поднялся на пригорок. Склон дальнего оврага скоблили бульдозеры. На зелени Муравельного леса рисовались краны. Рождался образцовый поселок с панно на фасаде большого здания, исчезали последние черточки той прежней деревеньки, где бедовали безземельные да безлошадные.

Начались алакаевские сенокосы. На дороге, которая и впрямь оказалась не наезженной, догнал старого степенного косаря. Шагал он размеренно, по-солдатски,

в одной руке жбанчик с водой или квасом, другая придерживала на плече косу. Кирзовые сапоги запылились, на косоворотке выступил пот.

— Сколково? Иди вон к лесу, там пасека, а далее уже сколковские уголья. Тамошние, однако, нынче ячмень убирают, с зерном на попутной машине мигом доберешься. А вообще-то надо было через Богдановку, чего зря ноги бить.

Я спросил имя своего спутника.

— Филиппов, звать Иваном Яковлевичем.

Так ведь он у меня в блокноте среди алакаевских старожиллов! Дважды заходил к нему домой, оба раза не заставал: старуха сказала, что вчера был в Чудовке у нефтяников, сегодня сено косит, хотите — ищите, только вряд ли найдете, разбрелся народ по поляночкам.

Оказался Иван Яковлевич из местных местным, в Алакаевке прошла почти вся его жизнь, если не считать войн:

— Последнюю отслужил почти полностью, с сентября сорок первого по сентябрь сорок пятого. А точнее — с двадцать первого сентября по двадцать первое. День в день. Пешком воевал, в пехоте. Прибалтику всю прошел, Польшу, с американцами на Эльбе встречался. И опять сюда, в Алакаевку, век доживать.

Пока шагали мы с Иваном Яковлевичем по дорожке к лесным покосам, неторопливо рассказывал он про давнее, полузабытое:

— О хуторах сибиряковских небось наслышаны? Он хоть и помещик, Сибиряков-то этот, но с душой человек. Если, к примеру, погорел кто — к нему за всякое просто. Давал на обзаведение. Ну, а кто не решается — сам зовет: почему, мол, не идешь? Лесу, поди, надо? А как не надо, лес в наших местах издавна в цене. Некоторым коров давал, у него гурты были.

Старик показал рукой на пригорок:

— Сейчас мы с вами в аккурат мимо Сибиряковской школы топаем. Вон там она и стояла. Теперь разве что битый кирпич остался. Разобрали ее, увезли в Тростянку. Это еще когда было! Вскорости, я мыслю, как Ульяновы из Алакаевки переехали. Не разрешили Сибирякову школу открывать, старики сказывали, поп из Неяловки на учителей настучал, в земство пожаловался, а то и самому губернатору. Ну и прихлопнули дело. А вон подле того лесочка — видите, яблоньки одичавшие? — так там был хутор Капказского. Это его так прозвали. А фактически его фамилия была Преображенский. Молодой-то Ульянов к нему хаживал. Да и Капказский в Алакаевку наведывался.

В рассказе старика — достоверная первооснова. Знакомые имена, известные события.

Мария Ильинична Ульянова вспоминала о богатом сибирском золотопромышленнике Сибирякове, который в середине 70-х годов скупил у обедневших самарских помещиков землю для создания крупного рационального хозяйства. Она считала Сибирякова человеком левых либеральных убеждений, может быть, даже левее. Он был связан с политическими и, в частности, щедро помогал народникам, которые пытались создавать в Самарской губернии земледельческие колонии.

"Капказский", или Преображенский, которого помянул Иван Яковлевич, был обитателем одной из таких колоний: в ней жили народники, приехавшие с Кавказа. Там, где теперь одичавшие яблони, прежде стоял хутор, весьма интересовавший полицию. Оттуда до Алакаевки три версты напрямик.

Владимир Ильич действительно встречался с Преображенским. Позднее они переписывались. Письмо, отправленное Преображенскому в 1905 году из Женевы, подписано: "Ваш Ленин, бывший сосед по хутору". В этом письме Владимир Ильич спрашивал, в частности,

жив ли радикал-крестьянин, которого Преображенский водил к нему.

Обитателя соседнего хуторка Владимир Ильич упоминает также в письме к матери из Мюнхена, прося передать ему "большущий привет" и вспоминая, что с ним "мы, бывало, много хороших вечеров провели". В послереволюционные годы Алексей Андреевич Преображенский, давно порвавший с народниками и ставший марксистом, выполняя ответственные поручения Москвы, выбирал, в частности, такое советское хозяйство в Самарской губернии, которое можно было бы сделать образцовым. Затем по предложению Ленина он был назначен руководителем совхоза "Горки", где и проработал последние семнадцать лет жизни.

И про школу Иван Яковлевич рассказал, в общем, верно. Одну школу Сибиряков основал возле Богдановки — ее закрыли. Вторую, сельскохозяйственную, хотел завести на хуторе Константиновском, как раз в тех местах, где мы с Иваном Яковлевичем пылим по дороге. Было построено здание, приглашены опытные преподаватели, но открыть школу не разрешили: Сибиряков находился под негласным надзором полиции и вся его деятельность внушала властям подозрение.

У Сибирякова одно время служил Марк Тимофеевич Елизаров, муж Анны Ильиничны. При его содействии Ульяновы и приобрели Алакаевку по сходной цене на деньги, вырученные от продажи дома в Симбирске. Кто знает, может, выгодные условия продажи объяснялись тем, что Сибиряков знал: хуторок покупает мать казненного народовольца.

Право, был Сибиряков личностью незаурядной, из того тонкого в пореформенной России слоя состоятельных людей, которым богатство не слепило глаза, не приглушало совесть. Сибиряков издавал либеральный журнал "Слово", открыл в Петербурге

бесплатную читальню для простого люда, которую вскоре "прихлопнули", как гнездо крамолы.

У него не было ясного мировоззрения, от увлечения народническими идеями он качнулся к толстовству. Не хватало ему, должно быть, и твердости характера, в конце концов он устал от неудач, постигавших его начинания, — и все же оставил по себе добрую память. Интересная фигура!

Перед тем, как расстаться, мы с Иваном Яковлевичем присели в тени. Что приходилось ему в свое время слышать от стариков о тех временах, когда в Алакаевке жили Ульяновы? Я не рассчитывал, понятно, что узнаю что-то новое. Однако разве не интересны, разве не достойны внимания даже фольклорные предания, сохранившиеся в таком месте, как Алакаевка? Пусть в основе их нет неопровержимых, документально доказуемых фактов. Но в них — отражение тех представлений о молодом Ленине, которые сложились давно, очень давно, в дореволюционной убогой деревеньке.

Оказалось, Иван Яковлевич до революции работал у помещика Данненберга. А Данненберг был соседом Ульяновых по Алакаевке (кстати сказать, именно в архивной переписке этого помещика работники куйбышевских архивов и нашли подлинный план с описанием алакаевского хутора).

— Вот этот Данненберг, Сергей Ростиславович, и предложил однажды Владимиру Ильичу размежевать землю, чтобы все было точно. Граница-то шла по ручью Гремячему, а ручей промыл себе новую дорожку, вроде бы отхватил данненберговский кусок. "Давайте, — говорит Данненберг Владимиру Ильичу, — выставим грани. Вот здесь и здесь, мол, ручей их пересек". А Владимир Ильич усмехнулся и говорит: "Пусть будет здесь, пусть будет там. Скоро все это будет не ваше и не наше", — махнул рукой, да и пошел прочь. Данненберг



аж вскинулся: "Как так, не ваше, не наше? А чье же?" Но Владимир Ильич уже ушагал. Вышло в точности, как он говорил. Данненберг-то в семнадцатом году убег. Я парнишкой был, увозил его на станцию, коня он загнал. Метнулся, говорили, Данненберг в Петроград, и там будто убили его во время кронштадтского мятежа. Очень он большевиков не любил.

Разговор на меже — легенда? Возможно. Хотя о нем в несколько ином варианте сохранилась давняя запись со слов другого алакаевского крестьянина. В этих, пусть не вполне достоверных рассказах, — мужицкая мечта о том, чтобы земля была не помещичьей, а народной. И кто же в представлении крестьян мог быть носителем этой мечты, как не Ленин?

Расстались мы у поворота дороги. Иван Яковлевич отправился, загребая сапогами, на покос, а я зашагал по дороге дальше.

Что за приволье! В здешнем краю, хоть и слывет он степным, нет однообразия гладкой равнины. Густолиственные рощицы с птичьей перекличкой в молодом подлеске, кустарник по долинкам, а на пригорках — поля, поля, поля...

Навстречу по дороге шли друг за другом самоходные комбайны, пронеслось несколько грузовиков. Но, увы, ни одной попутной машины! У встречного мотоциклиста, притормозившего в пыльном облаке, я спросил, правильно ли иду. Мотоциклист удивился:

— Охота по такой жаре! Тут до Сколково еще час хода бодрой рысцей.

А попутные с хлебом?

— Хлеб повезут после обеда.

Поплелся дальше. На бугре возле высокой вышки копошились нефтяники. И вокруг обозначились вышки. Далеко у горизонта жарко полыхал оранжевый язык газа, рвущегося из тонкой трубы.

К нефтяникам я не пошел. Припекало все сильнее. Сзади затрещал мотоцикл.

— Все идешь? — услышал я знакомый голос. — А ну, давай!

Через десять минут мы были в Сколково или, как здесь говорят, в Сколках.

Старую школу плотно прикрыли деревья. Я долго выбирал места, чтобы сфотографировать хотя бы часть фасада.

Сторожиха провела меня по классам. В просторной пристройке все было как во всех сельских школах. На старой половине блестели черным лаком голландские печи. Непривычно маленькие для современных школьных зданий окна, затененные листвой, пропускали мало света.

— Ничего, осенью все облетит, будет веселее. Успенские, значит, жили вот тут, при школе, а классов тогда было всего два, не то что теперь.

В комнате, где помещалась когда-то контора ссудо-сберегательного товарищества, письмоводитель Глеб Иванович Успенский поселился весной 1878 года. Тут же, в конторе, на одной из деревянных лавок, он и засыпал после того, как большую часть ночи просиживал при свече над рукописями и дневниками. Жена, преподававшая в школе, и три дочери, из них одна совсем маленькая, родившаяся в Сколкове, ютились в другой комнате, выходившей в шумный коридор. Недостающую мебель заменяли деревянные ящики.

Успенские жили бедно и трудно, в обстановке слезки и недоброжелательства. Но для писателя, который в поисках "подлинной правды" хотел поближе изучать "хитроумную механику народной жизни", сколковское бытие дало обильный материал. Зоркий, честный художник-демократ увидел пореформенную деревню такой, какой она была, а не такой, какой ее видели некоторые восторженные народники.

До Сколково писатель прожил год в нижегородской деревне. Сюда, следовательно, приехал уже с изрядным знанием крестьянской жизни, да и здесь варился в самой ее гуще больше года. А в "Очерках" он пишет: "Мне пришлось более или менее близко видеть (не скажу — знать) дела и порядки трех деревень, лежащих почти рядом, в местности, которая считается житницей русской земли".

После того как сама работа в ссудо-сберегательном товариществе ежедневно, ежечасно сталкивала его с нуждами обитателей трех деревень — "видеть (не скажу — знать)"!

Три соседние поселения названы в "Очерках" селом Солдатским, селом Разладиным и деревней Барской. В них угадываются теперь почти уже слившиеся друг с другом села Гвардейцы, Загладино и Сколково.

После слов Успенского я не вправе сказать, что хотя бы видел эти села — просто прошел их раз-другой из конца в конец, побывал в сельсовете, в правлении колхоза "Память Ленина", на току, на сельских стройках. Надеюсь, читатель не ждет от меня сопоставления сегодняшнего дня куйбышевской деревни с так правдиво описанными Успенским бедами и неурядицами деревни самарской. Когда я попросил было Ивана Яковлевича Андреюка сравнить Сколково 1928 года с нынешним, он и то возразил с неудовольствием:

— Ну что вы, право. Чего ж тут сравнивать! Даже неудобно как-то...

Сорок с лишним лет назад Иван Яковлевич, начинающий учитель, впервые переступив порог сколковской школы, попытался разыскать людей, помнивших Успенского:

— Некоторые ученики его жены, Александры Васильевны, были еще живы, помнили ее. Один старик знавал и самого Глеба Ивановича: "Я маленький был, ездил с ребятами, которые постарше, в ночное, и он — с

нами. Костер разведем, балакаем про свое, а Глеб Иванович сядет в сторонку и все слушает, слушает". В общем, здешние крестьяне Сибирякова помнили лучше — тот все же барин, помещик, хотя и чудной, — а Успенского считали чем-то вроде писаря.

Иван Яковлевич живет в маленьком домике возле школы. Вся его жизнь — со школой, со Сколковым:

— Мои ученики с седыми бородами ходят, некоторые уже внуков в первый класс привели.

Елизавета Евгеньевна Анучина отдала здешней школе тоже ни много ни мало — три с лишним десятка лет. А до этого учительствовала в Алакаевке.

— Анна Ильинична? Приезжала она к алакаевцам летом тридцать первого года. Жила в старой школе. Многих знала по имени, помнила, чем кто жив, расспрашивала про ребят. Обошла то место, где был сад при хуторе — возле оврага еще ямки сохранились от выкорчеванных яблонь. Показала, где стоял столик, за которым занимался Владимир Ильич. При ней алакаевцы как раз строили новую школу. Какой же эта школа мне большой и просторной казалась! А потом как-то побывала в Алакаевке: боже мой, да неужто это наша бывшая школа? Такая убогонькая рядом с нынешней новой.

Елизавета Евгеньевна на пенсию ушла не сразу, неохотно:

— Душа у меня пела, когда я работала. Люблю школу и не разлюблю уже, видно, до смерти. Все туда бегаю, благо, рядом.

Теперь в школе работает дочь старой учительницы, Римма Дмитриевна, и внучка Татьяна. Не так давно село торжественно чествовало все учительское семейство.

Нет в Сколково такой строительной горячки, как в Алакаевке, но и тут возводят клуб, мастерские, большой гараж для колхозных машин — и все это каменное, солидное, не кое-как, не на живую нитку. Колхозная

ферма — целый животноводческий городок. А ведь здешний колхоз не из самых богатых в районе, считается, скорее, средним.

— Вы приезжайте к нам в субботу вечерком, — приглашал Иван Яковлевич. — Правда, в автобусе будет тесновато. Так вот, понаблюдаете, кто с вами приехал. По виду скажете — дачники. Кстати, и нагружен каждый, как пресловутый дачный муж, хотя сейчас тут полное равенство, дачная жена тащит не меньше мужа. Но, спрашивается, что же это за люди с покупками? Для дачников вроде далековато, а вид явно городской, куйбышевский. Это, представьте, наши, сколковские, возвращаются из города. Ну и, конечно, некоторые с городскими родственниками. Так, однако, отличите-ка, кто местный, кто городской! Раньше на деревенской улице учителя по костюму узнавали. Теперь, я думаю, наши колхозники живут никак не хуже учителей. Вот возьмите: сам тракторист, жена доярка, сын — шофер. Это, считайте, триста пятьдесят рубликов на круг в месяц при своем огороде и коровке. Можно жить, как полагаете?

На другой день вечером я собрался уезжать из Сколково. Но заговорился — и опоздал к прямому автобусу, а следующего рейса ждать долго. Торчу возле стоянки в некоторой растерянности. Идет прохожий:

— Отстал, стало быть? А ты давай знаешь как? Кати на любой попутной до СХИ, а там уж автобус за автобусом, любой в Куйбышев доставит.

— СХИ? Что за зверь?

Удивленный прохожий пояснил темному человеку:

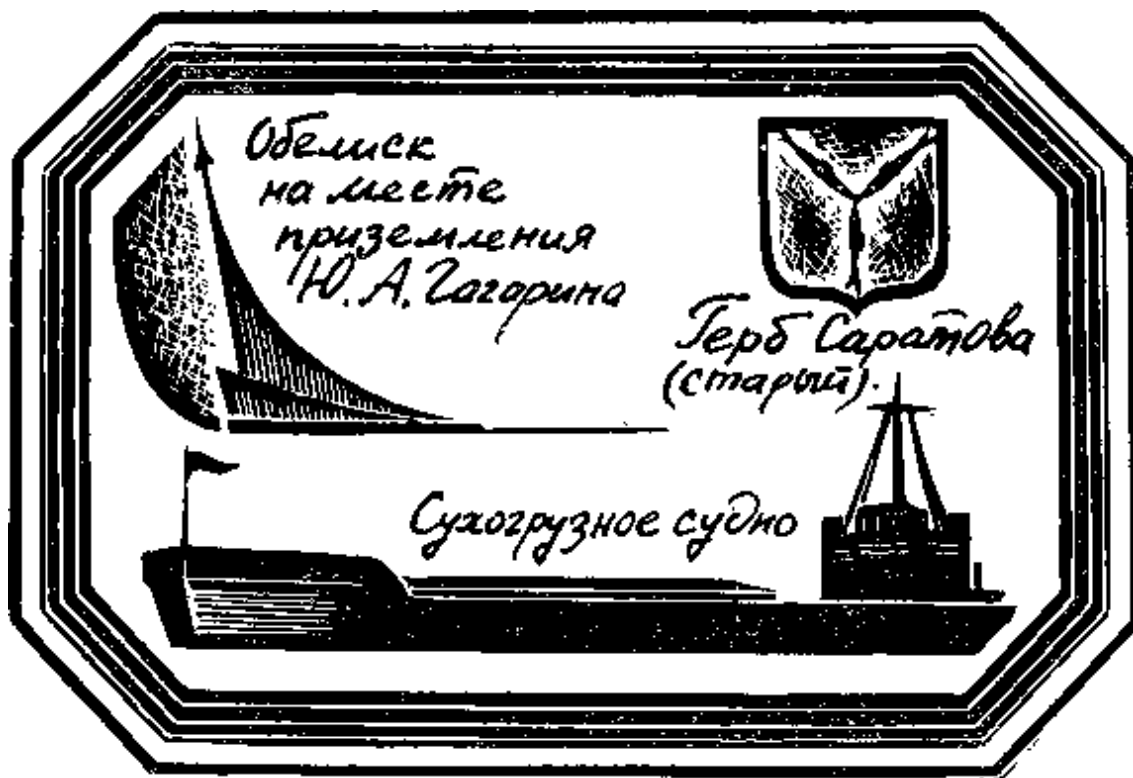
— Сельскохозяйственный институт, неужто не ясно?

...Я вот о чем думаю теперь, перелистывая свои алакаевские и сколковские записи. Был уголок приволжской земли: помещичьи усадьбы, хуторки, степные села. Один из бесчисленных уголков, слагавших Поволжье, Россию, позднее перепаханную революцией.

И сколько самобытного в этой ячейке русской народной жизни, если взять хотя бы не полное столетие!

Ленин в Алакаевке — явление масштаба по меньшей мере всероссийского. По тут же, в этом уголке — земледельческие колонии, где люди, одержимые идеей, пусть ошибочной, во имя служения народу, не ища никаких личных выгод, отказываются от многого из того, к чему привыкли, терпят лишения и преследования. Здесь писатель ищет истину, погружаясь в глубины народной жизни, страдая вместе с героями своих будущих книг. Он говорит и о том, что в деревне с ее безрадостным бытом не редкость встретить умницу, человека твердого, железного характера, говорит о силе природной даровитости крестьянина, о сильно работающем крестьянском уме, таланте, мысли.

## Вода, хлеб, космос



*"Пыль из Азии". — Роковой, двадцать первый. — Фритьоф Нансен в Дубовом Умете. — Большая вода. — Саратов, порт. — Над Октябрьским ущельем. — Маршрут "Театральный". — "Биологи приветствуют своего Менделеева". — Главный хлеб земли. — Творцы чудопшеницы. — Гагаринское поле.*

Куйбышевское ближнее Заволжье — это около 350 миллиметров осадков в год, солнечная радиация примерно такая же, как в субтропиках Кавказа и в Средней Азии, летние вторжения континентального тропического воздуха.

Язык метеорологии надостаточно выразителен? Тогда вот впечатления уроженца этих мест. "За курганом на востоке стояла желтоватая мгла, не похожая ни на дым, ни на пыль. Отец сказал: "Это — пыль из Азии", и мне стало страшно... Ежедневно мгла

приближалась, становилась гуще, закрывала полнеба. Трудно было дышать, и солнце, едва поднявшись, уже висело над головой, красное, раскаленное. Травы и посевы быстро сохли, в земле появились трещины, иссякающая вода по колодцам стала горько-соленой, и на курганах выступила соль".

Так описывает последствия упомянутого выше вторжения масс горячего воздуха Алексей Николаевич Толстой, детство которого прошло на заволжском степном хуторе Сосновка.

Под Куйбышевом — около 350 миллиметров осадков в год. Возле Саратова — 250–300 миллиметров. В Заволжье у Волгограда — 200–250. Вблизи Астрахани — менее 200. Немного в стороне от Волги, у горы Большое Богдо — всего 125 миллиметров.

И как заметно меняет облик волжских берегов уменьшение годового слоя воды от "почти по колено" до "немногим выше щиколотки"!

Редют леса. Деревья попрятались по распадкам. Воздух все суше и горячее. По белесым обрывам — лишь сизоватая степная трава. Меловые вершины и вовсе голы.

Под Саратовом еще видишь небольшие рощицы. Но постепенно серовато-желтый тон становится господствующим. Появляются плешины совершенно выжженной земли. Овцы сбиваются в плотные кучи на прибрежной гальке, стараясь спрятать головы от льющегося с неба зноя.

Столбичи, украшающие плес возле Саратова, колоссальные колоннады песчаника, нагроможденные природой, заставляют вспомнить долину Нила, обрывы над дворцом египетской женщины-фараона Хатшепсут. Сходство особенно велико в жаркий полдень, когда камень Столбичей раскален почти так же, как скалы нильской долины; только у нас общий пыльно-желтый



цвет камня менее постоянен, его разнообразят палевые, пепельные, голубоватые оттенки.

Это все — возле Волги. И поодаль от берега та же смена примет, определяемая усилением "жесткости" климата. Сначала дороги меж хлебов, желтые разливы подсолнечника, серебристые элеваторы по увалам, как маяки, показывающие, где в пшеничном море островки сел и деревень. В полуденный час на улицах одуревшие от зноя куры, раскрыв клювы и топорща перья, купаются в пыли, которую перегретый воздух крутит маленькими смерчами.

В Заволжье под Волгоградом степь уже кое-где подозрительно смахивает на полупустыню. Помню, ехали мы с агрономом, поднялись на бугор: вдали селение, подле него тусклое мерцание воды.

— Водохранилище? — спросил я.

Агроном, внимательно посмотрев на меня, промолчал. Немного погодя село, колыхнувшись, чуть приподнялось в воздух. Еще минута — и мираж исчез.

— А вот действительно вода, — агроном ткнул пальцем в ту сторону, где по дороге пылили три автоцистерны с горючим. Но там не было ни реки, ни озера, ни колодца.

— Разыгрываете?

— Ничуть. Колодцев не хватает, возим издалека в цистернах. Собираем дождевую в бассейны. В общем, приспособливаемся.

Запомнился мне обед в степной станице — правда, не в Заволжье, а там, где Черные земли соседствуют со Ставрополем. Подавальщица пошла на кухню. Дверь приоткрылась, в столовую проскользнули три паренька. Потолклись у буфета — и к моему столу:

— Дяденька, можно напиться?

Выпили по стакану желтоватой воды из графина, переглянулись, налили еще, сказали "спасибо" и скрылись.

Вошла подавальщица с борщом. Увидев пустой графин, она даже в лице переменялась:

— А... а вода, извините?

— Ребята заходили...

— Ребята? А что вы теперь сами пить будете? Колодцы у нас пересохли. Вода-то была последняя, до вечера не привезут. — И, погрозив кулаком в сторону двери, добавила: — Ну, погодите! Пользуются тем, что человек приезжий...

Я не хочу, понятно, маленьким этим примером размельчить, преуменьшить огромную, трудную и, будем говорить прямо, болезненную проблему. Если бы дело было только в водоснабжении!

Засуха, суховеи, Поволжье — понятия, увы, все еще неразделенные.

Когда-то в заволжских степях простирались обширнейшие пастбища, реки не были умирающими, не пересыхали после того, как скатывались по их руслу вешние воды. Судя по раскопкам, скифы и сарматы не знали горя со своими стадами, находившими обильный корм. Да и татаро-монгольская конница, хлынувшая на Русь, ведь поила же и кормила лошадей именно там, где теперь белеют пятна солончаков.

Но во времена не столь отдаленные исторические хроники Поволжья все чаще упоминают о засухах. В прошлом веке изучение причин этого бедствия занимало таких наших ученых, как Воейков и Докучаев. И тогда же Менделеев писал с глубоким убеждением в специальном докладе правительству, что "наибольшего и наивернейшего успеха" можно ждать от орошения земель в низовьях Волги, причем предлагал использовать для перекачки волжских вод в русло каналов ветряные двигатели.

Засухи в Поволжье волновали и печалили передовых людей России, своими глазами видевших народное бедствие.

Летом 1873 года Лев Толстой был в хорошо ему знакомом заволжском селе Гавриловке. Пухлая пыль лежала на дорогах, на высохшем бурьяне. Поля стояли голые, черные, и нельзя было разобрать, что на них посеяно. Мужчины, подростки разбрелись из родного села в поисках работы и пропитания. "Дома худые бабы, с худыми и больными детьми, и старики, — записал Толстой, — хлеба в девяти из десяти семей нет... Собаки, кошки; куры худы и голодны. И нищие не переставая подходят к окнам".

Двадцать три двора обошел писатель — всюду отчаянье и безнадежность, мякина в закромах вместо зерна.

Толстой, по его словам, "был приведен в ужас" тем, что увидел во многих заволжских селениях. И это еще только начало, "бедствие народа должно дойти до крайней степени": 1873 год был для Самарского Заволжья третьим неурожайным годом подряд.

Толстой писал о голоде после засухи также в 1891-1892 годах, в 1898-1899 годах. В лихолетье по городам Поволжья издавались с благотворительной целью литературные сборники. Сколько безысходности, отчаяния, покорности судьбе, сознания бессилия на их страницах!

Самая страшная засуха опустошила Поволжье в 1921 году. Соединилось все: небывалой силы стихийное бедствие, накопленные царской Россией крестьянские беды, империалистическая бойня, обескровившая деревню, последствия гражданской войны, разруха.

Музеи волжских городов до сих пор хранят экспонаты, относящиеся к 1921 году. В Ульяновске под стеклом витрины — растрескавшийся черно-коричневый "хлеб" из лебеды. Голодные люди толкли сережки орешника, молодую поросль сосны, корни лопуха и, подмешивая глину, делали из этой смеси лепешки.

Лишь немногие посетители задерживаются сейчас возле витрин с такими экспонатами. Голод в Поволжье — это давно, так далеко...

Героическая история гражданской войны на Волге рассказана довольно подробно, к ее эпизодам мы охотно возвращаемся вновь и вновь. Но ведь пришедший по следам войны голод, напавший на уже истощенную, смертельно уставшую страну, унес больше жизней, нежели самые жестокие сражения. Борьба с ним оказалась не менее трудной, чем операции против Колчака и Деникина.

Приятно и радостно вспоминать светлые дни. Однако разве не в трудные годы, разве не жесточайшими испытаниями многократно проверялась боеспособность ленинской партии? И разве не ярче огни праздника после преодоленных, побежденных черных дней? Думаешь: вот через что мы прошли, выстояли, победили.

В катастрофически засушливый 1921 год, когда на огромном пространстве сгорели хлеба, бедствовало не только Поволжье. Голодали тридцать миллионов человек.

Эпицентром бедствия стала Самара. Там голод был особенно жестоким. Поля губернии дали менее одной двадцатой части того, что требовалось. Запасов ни у кого не было: в предыдущие годы Поволжье кормило голодные Север и Центр, уже в 1919 году самарцы получали фунт хлеба в день на работающего.

Хроника народной драмы не требует восклицательных знаков. События в пределах бывшей Самарской губернии отражают и общую боль России, и тревоги Москвы, и международную солидарность людей труда.

В сентябре 1921 года самарская газета "Коммуна" писала, что "558 000 крестьян губернии, в том числе 200

000 детей, абсолютно голодают, питаюсь суррогатами, и ужас голодной смерти витает над ними".

В Самаре на Советской улице открылся "Музей голода". Там показывали муку из гнилушек, из липовой коры, из всевозможных трав, из ивовых прутьев. Музей не столько показывал, сколько учил: вот как можно продержаться...

1 октября 1921 года цена пуда пшеницы в губернии поднялась до 180 000 рублей, пуда ржи — до 160 000, пуда муки из желудей — до 60 000 рублей.

В конце декабря пуд муки стоил уже 1 миллион рублей, фунт хлеба — 20 000, фунт пшена — 22 000 рублей.

Вот три сообщения самарской газеты в начале зимы: Шенгала: "Смертность увеличивается. Население ест кошек".

Пугачевский уезд: "С 1 января умерло от голода 7729, заболело 32 511 человек, смертность детей в детских домах достигла 75 процентов".

Герасимовская волость: "Все домашние животные съедены... Дети по утрам, как загробные тени, ходят по дворам тех, у которых был скудный урожай на огородах. Вереницы еле двигающихся детских скелетов ищут отбросы для насыщения желудка. Дети валяются мертвыми на улицах с искусанными руками и ногами".

Все, что было в человеческих силах, делалось Советским правительством. Но многое было свыше человеческих сил. Перечитывая документы 1921 года, ощущаешь всеобъемлемость бедствия, напряженность поисков выхода, гибкость решений. В середине лета, когда еще теплилась по приволжским деревням надежда на дожди, все губисполкомы республики получили задания Ленина по отправке зерна Поволжью, причем для их выполнения предлагалось "поставить на боевую ногу всю парторганизацию, весь советский аппарат". Вагоны с собранным для голодающих хлебом

сопровождали местные крестьяне, которые своими глазами видели страдания Поволжья. В губерниях, менее пострадавших в тот злосчастный год, государство выменивало хлеб на товары, в которых нуждались крестьяне. Ленин особо обратился с просьбой о помощи бедствующим к крестьянам Украины, к водникам, к ловцам Аральского моря.

Поезда с хлебом шли к Волге. Астрахань слала рыбу. Из района Петрограда, который недавно поддерживало Поволжье, были направлены к Самаре несколько эшелонов. Бойцы Железной дивизии, урезывая скудный красноармейский паек, прислали сначала около 10 тысяч пудов хлеба, затем еще 3 тысячи.

Владимир Ильич через "Правду" обратился к международному пролетариату. Рабочие многих стран и зарубежные компартии отозвались немедленно, образовав Международный комитет рабочей помощи. Одновременно Москва просила правительства европейских стран разрешить закупку хлеба для Поволжья. Правительства начали затяжные переговоры...

Среди всемирно известных деятелей Запада нашлись люди бескорыстные и благородные. Мартин Андерсен-Нексе отдал в фонд помощи голодающим свой литературный гонорар, Анатолий Франс и Фритъоф Нансен — присужденные им Нобелевские премии. Знаменитый полярный исследователь выступил также с призывом о помощи к народам и правительствам с трибуны Лиги наций, а затем сам отправился в Поволжье.

Можно найти газетный отчет о поездке Нансена по селам Самарской губернии.

Норвежец и его спутник, доктор Феррер, приехали в село Дубовый Умет. "В прошлом месяце здесь умерло от голода 145 человек, — записал сопровождавший их корреспондент. — Мы побывали в нескольких халупах.

Люди едят лебеду, кору от деревьев... Вперед выступил молодой энергичный крестьянин с воспаленными глазами, дрожащим голосом говорит:

...— Помогите! Оправимся — не забудем".

У околицы другого села Нансена ждала толпа. Мальчик, совсем крохотный, просил: "Хлебца, дяденька, хлебца..." И голодные увидели, как высокий нерусский человек заплакал. Он плакал, судорожно всхлипывая и вытирая лицо рукавом шубы.

Дубовый Умет...

Точка на карте Поволжья, бедствовавшего после засухи. Точка, взятая в сущности произвольно — ведь маршрут Нансена мог быть иным. Но проследим дальнейшую судьбу этого села за многие годы, среди которых были и катастрофически засушливые.

Осенью 1929 года в Дубовом Умете был организован колхоз.

В 1932 году колхозники увидели на своих полях первые тракторы. Они были изготовлены в Поволжье, на Сталинградском тракторном заводе.

Три года спустя Дубовый Умет получил электростанцию.

1941 год. Самый тяжелый после 1921 года. 450 жителей села ушли на фронт. Вернулись с войны 290...

1948 год. До него было два засушливых неурожайных года, пыльные бури сожгли урожай, и на трудодень колхоз смог выдать всего 300 граммов зерна и 30 копеек деньгами.

1950 год. Трудодень — 1,5 килограмма хлеба и 75 копеек.

1956–1960 годы. В Дубовом Умете построена новая двухэтажная школа, проведен водопровод, на фермах введена механическая дойка, в домах появились холодильники, стиральные машины.

1961 год. Трудодень — 2,5 килограмма хлеба и 2 р. 50 копеек.

1965 год. Построены мельница, телятник, механизированный ток.

1966 год. Средний заработок доярки — 100 рублей, шофера и механизатора — 130.

1967 год. Дубовый Умет газифицирован.

1969 год. Очередная жестокая засуха в Поволжье. Колхоз произвел продукции более чем на 2 миллиона рублей. В Дубовом Умете — 40 колхозных тракторов, 12 комбайнов, 25 автомобилей.

В этой хронике нет ничего, поражающего воображение. Но вспомним, с чего приходилось начинать. Ленинский кооперативный план показал крестьянам десятков тысяч деревень путь, который позволил им с честью преодолеть испытания войны, выстоять в годы самых тяжелых засух, не менее жестоких, нежели засуха трагического 1921 года.

\* \* \*

И в Куйбышеве, и в Саратове, и в Волгограде я видел одну и ту же схему.

Это схема орошения Поволжья. Она вобрала в себя многое. Может быть, эпиграфом к ней следовало бы взять отрывок из "Что делать?", где Чернышевский рисует картины будущего:

"Бесплодная пустыня превратилась в плодороднейшую землю... У них так много таких сильных машин, — возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение, явилась зелень, явилось и больше влаги в воздухе..."

Чернышевский размышлял о будущем не за письменным столом, не у окна в родном саратовском доме, откуда видна была Волга и Заволжье. Эти строки написаны в каземате Петропавловской крепости при



тусклом свете, падающем через железную решетку тюремного оконца.

Он хорошо знал родной край. "Хлеба, только не такие, как у нас", не тощие высушенные колосья, а густые, изобильные, виднелись ему именно на орошенной земле.

Огромные оросительные работы, о которых теперь так много говорят на Волге, захватывают все Заволжье от Куйбышева до Волгограда. На схеме линии каналов уходят далеко в глубь степей к реке Урал. Под Волгоградом и к югу от него основные районы орошения — на правом берегу Волги, в Сарпинской низменности, в степях Калмыкии, в Волго-Донском междуречье.

Эти работы дороги и трудоемки. Но они государственно необходимы. Их давно ждали земледельцы.

Число засушливых лет в Поволжье за последние десятилетия не уменьшилось в сравнении с теми временами, когда Лев Толстой ходил по Гавриловке из хаты в хату.

В Заволжье засуха наведывается каждый третий год!

1968 год был сносным. На заволжских полях гектар дал около двадцати центнеров зерна. 1969-й выдался засушливым — и сразу урожаи упали почти вчетверо.

За десятилетие Среднее и Нижнее Поволжье из-за засух и суховеев не добрали от двадцати трех до двадцати семи миллионов тонн зерна.

Поволжье будет нести потери до тех пор, пока мы не приведем в эти края, не поднимем на заволжские возвышенности большую воду. Именно большую! Уже и сейчас сделано не мало. Скажем, куйбышевцы орошают тридцать тысяч гектаров. Но земель, пригодных для орошения, по области примерно в двадцать пять раз больше.

А каждый орошенный гектар даже в благоприятном для посевов 1970 году дал по Заволжью столько же

зерна, сколько три, а то и четыре не орошенных.

Нынешним работам придан масштаб и размах завтрашнего дня. У них качественно новая опора — волжские моря плюс волжская энергетика. Одна из сегодняшних строящихся крупных оросительных систем подключена к комплексу Жигулевск — Тольятти: воду Куйбышевского моря в ее артерии гонят электрические насосные станции. Куйбышевский оросительно-обводнительный канал с семью насосными станциями почти на триста километров уйдет в степи от Саратовского моря. Он должен застраховать от засухи около сотни тысяч гектаров. Крупные оросительные системы строятся в Саратовской и Волгоградской областях, в Калмыкии, под Астраханью.

Это системы семидесятых годов. Одна за другой их первые очереди принимают воду. В 1975 году с опорой на моря матушки Волги, на энергию ее гидростанций, от губительных капризов природы будут защищены первые пятьсот-шестьсот тысяч гектаров поволжских земель.

Первые из восьми миллионов, предусмотренных той схемой орошения Поволжья, которую с гордостью показывают сегодня и в Куйбышеве, и в Саратове, и в Волгограде, и в Астрахани и которая изображена на памятной стеле, поставленной там, откуда уходит в степь трасса Куйбышевского канала.

\* \* \*

За долгие годы работы на Волге видел я много портов как старых, так и новых, сооруженных на сухом месте к приходу волжских морей. И как должное записал, что там, где теперь в Саратове порт, недавно было болото. Его осушили, намыв землесосами песок, и все получилось в лучшем виде.

Эту обычную историю рассказал мне заместитель начальника порта Виктор Михайлович Кряков, мужчина богатырского сложения. От него, как от многих сильных, крупных людей, веяло добродушием и благожелательностью.

В управлении порта Виктор Михайлович открывал поочередно все двери, здоровался, оборачивался ко мне:

— А вот здесь у нас бухгалтерия. На этой машине зарплату подсчитываем. А здесь радиостанция. Нет, вы посмотрите, какая аппаратура! Можем хоть с Северным полюсом связаться. Ведь правда, можем?

Дежурный подтвердил, добавив, что пока практической надобности в этом нет.

Мы ходили по порту, заглядывали во все уголки, и всюду Виктор Михайлович находил какой-либо повод порадоваться. Он не хвастал, пожалуй, даже не гордился, а именно радовался. Радовался подтянутости дежурного диспетчера, цветам в комнате, хорошим новым машинам. Так было весь день. Он не скрывал недостатки, говорил о плохом, говорил дельно, с горечью, с болью. Но снова расплывался в улыбке, когда можно было рассказать о хороших работниках. Я люблю людей, умеющих радоваться. Унылые хмурики, по моему, едва ли могут воодушевить тех, кто трудится рядом с ними.

— Зачистные лопаты, — показывал Виктор Михайлович, — наши ребята сделали, золотые руки. Подхватывает такую кран — и с причала опускает прямо в трюм.

К тракторам "Беларусь" портовики прикрепили металлические пластины. Механические дворники быстро очищают от сора трюмы разгрузившихся кораблей. Прежде это делали метлой и лопатой. Но на нынешние суда пришлось бы посылать дворницкие артели!

— Догадываетесь? — тянул меня Виктор Михайлович. — Неужто нет? А ведь по вашей части! Для рулонов бумаги. Раньше их катали, пачкали, рвали. Теперь нежненько так берем рулон этими вот захватами, приподнимаем и везем на склад. А вот горе наше...

Это он о горах ракушечника, загромоздивших причал. Камень привезли еще в прошлом году. Надо перегрузить в вагоны, отправить на стройки. Но железная дорога никак не выкроит порожняка. Ракушечник дождался новой навигации. И так ведь не только в Саратове. "Выдь на Волгу, чей стон раздастся над великой русской рекой?" Стенания портовиков: вагоны, дайте вагоны!

Саратовскому порту еще полбеды, он создан на "бросовом" месте, задуман с заглядом, построен с размахом. А там, где тесно, где грузовые участки все еще зажаты городскими кварталами?

— Понтон грузов большой скорости. Он у нас с хитростью. У него балластирующее устройство. Может подниматься и опускаться, принаравливаясь к кораблю. И вон те стропы — тоже с хитростью, Наши товарищи придумали. Я ж говорю: головы!

Кран выгружал контейнеры. Обычно это делалось так: в трюме зацепляли крюки по углам контейнера, кран поднимал его, переносил, ставил, крановщик ослаблял стропы, грузчик отцеплял их, кран тянул стрелу за следующим. А тут — "хитрость": крановщик, поставив контейнер, резко встряхивает особым устройством стропы — и крючья отцепляются сами, без помощи человека. Контейнеров — десятки тысяч, прикиньте общую экономию времени и сил: вместо двух грузчиков — один, вместо двух ручных операций — одна: подцепляй знай...

— В галстук, — подталкивает меня Виктор Михайлович. — Бригадир грузчиков — и галстук. А?

Он ведет меня к торцевальной машине, заменяющей уже не одного грузчика, а бригаду. Бревна надо укладывать на платформы ровно, так, чтобы ни одно не выступало. С этим изрядно мучились, иногда даже отпиливали высунувшиеся концы. Машина же с двух сторон сжимает пучок бревен, выравнивает торцы, и крану остается только перенести ношу.

— Я на реке полтора десятка лет, здесь — с шестидесятого. Давно ли, кажется? Ой, господи, какие тогда дебаркадеры были по пристаням — избушки, только что не на курьих ножках, на понтонах. А портовый флот? "Нептун" был, колеса вертит, сам ни с места. Или "Джамбул", считался пассажирским, скорость тринадцать километров в час. На острова по воскресеньям народ возили в баржах. Вставали, бывало, в четыре утра, чтобы хоть как-то в человеческий вид их привести. Баржи деревянные, таких теперь нет вовсе, последнюю продали колхозу: разобрал, построил конюшню. А возьмите портовую механизацию. Прежде подходит большая баржа — беда, разгружать нечем, грузчиков не хватает, плати штраф. Теперь, напротив, маленькими не довольны, вон сколько у нас кранов, только давай работу.

Кранов и верно много. Разных конструкций, разной мощности. Самый сильный легко выдергивает из воды, поднимает и ставит на причал для ремонта или осмотра не только "Ракету", "Метеор" или катер пригородного сообщения, но и небольшой буксирный теплоход. А для погрузки песка саратовцы приспособили вместо кранов землесосы: перегоняют его по трубам, вода стекает прочь. Гораздо быстрее, и песок попутно промывается, можно прямо на бетонный завод. А песок всем нужен, Волга строит много.

— На гравий спрос еще больше, — добавляет Виктор Михайлович. — Страшное дело! Распределяют строго, из-за нарядов бой идет.

В порту чисто, как на улице после утренней уборки. Заглянули в склады. Там тоже чистота и порядок отменные: если ящики — один к одному ровными штабелями, каждая партия груза отдельно, каждую можно выдать получателю, ничего не переставляя, не переключивая.

— Что у нас сегодня? — спрашивает Виктор Михайлович явно специально для меня: он-то знает и без вопроса.

— Ткань, гвозди, консервы, автопокрышки, валенки, — перечисляют ему в ответ. — Еще дрели, зуборезные станки.

— Наши, саратовские?

— А какие же?

Виктор Михайлович победоносно взглядывает на меня.

— В ящиках — обувь? Чья?

— Саратовская. Отгружаем в Куйбышев.

— Что пришло?

— Запасные части. Трикотажи из Ахмата. Еще музыка какая-то.

"Музыка" — в больших ящиках. По форме похоже на арфы.

У меня уже ноги гудят, а Виктор Михайлович боится, что останется незамеченным что-либо интересное, достойное внимания. Он предлагает побывать на теплоходе — плавучем универмаге, посмотреть, как работают в плесе портовые плавучие краны ("ведь у нас в ведении четыреста километров Волги, все мелкие пристани обслуживаем"), поближе ознакомиться с тем, как порт готовится перевозить хлеб нового урожая. И уже под вечер, когда пора прощаться, спрашиваю Виктора Михайловича, какого он роду-племени.

— Отец — ткач, может слышали, есть такое текстильное местечко Меленки? Я в ткачи не пошел,

после десятилетки поступил в военно-морское училище. Пока учился, пришел немец: надо воевать. Ну и воевал.

Ему было восемнадцать. Спецучилище подняли по тревоге. Бежали навстречу гитлеровцам. Не добежали трех километров до Бахчисарая, заняли оборону. За ними был Севастополь. До четырех раз в сутки ходили в контратаки, а тем временем под городом создавался укрепленный район. Из тысячи с лишним поднятых по тревоге в строю осталось около трехсот.

— Перебросили нас из Севастополя в Ленкорань. А немец тем временем и на Кавказ пришел. Опять училища — в бой. Вошли мы в одиннадцатый корпус. О нас маршал Гречко упоминал, если интересуетесь — посмотрите. Каждому дали участок обороны пятьдесят метров. Ну, держали, в общем. Больше всего заснуть боялись, ведь молодые, почти мальчишки. Потом меня ранило. Поправился — приказ: под Сталинград, жать Клейста, не давать ни минуты покоя. Там меня опять ранило. Выжил: молодо-зелено, шкура крепкая. И еще прихватило меня в Прибалтике. Вот и стал после этого гражданским лицом. Поступил в Горьковский институт инженеров водного транспорта. Почти весь наш курс — одни фронтовики, в гимнастерках, в кирзовых сапогах. Было, правда, несколько выпускников-школьников, так мы удивлялись: зачем, мол, сюда детей напринимали? Окончил, направили в Казань, потом в Ставрополь, затем в шестидесятом — сюда. Вот и вся биография, как говорится, война и мир в персональном разрезе.

\* \* \*

Поднялись на гору, по одну сторону которой Октябрьское ущелье, а с другой — Саратов и Волга.

Центр города замкнут в полукольце гор, в своеобразном амфитеатре. Когда теплоход

приближается к Саратову, то из-за особенностей фарватера идет почти прямо на него, постепенно вырастают здания — и одновременно скрадывается ощущение протяженности города.

С горы же над Октябрьским ущельем видно, как огромен Саратов. Он втянулся в боковые долины, незаметные с Волги, поднялся на возвышенности, прикрывающие его с флангов. Эти возвышенности, придавая городу пластичность и живописность, доказывают, что из двух возможных толкований слов "Сары-тау" предпочтение следует все же отдать не "желтой горе", а "красивой горе".

Лишь ближний увал занят домами, вольно расставленными в садах. Дальше шли монолитные каменные пояса амфитеатра. Камень был светлым, солнце дробилось в тысячах окон, а за всем этим блеском и сиянием несла полые воды Волга, тоже сверкающая в щедром свете солнечного полдня.

Спутники показывали, где новое здание драматического театра — "смотрите, оно же сразу выделяется!", где площадь Революции, где дорога Дружбы, где то, другое, третье, а мне хотелось, не дробя впечатления, впитать целостный облик города. Я радовался, что попал сюда, на гору, не сразу, не в первые дни, а теперь, когда уже надо было "закругляться", когда город был вновь исхожен вдоль и поперек.

На горе пахло нагретой полынью. В глубине неширокого ущелья — по правде говоря, это просто долина — спрятались санаторий. Дорога, над которой машины поднимали белесую пыль, тянулась к дальним рощам. Пожалуй, это был единственный оазис, не втиснутый в индустриальное кольцо окраин.

Главную саратовскую индустрию не пустили в амфитеатр, она захватила плацдармы на бывших дальних подступах к городу. Там целиком ее районы.



Это как бы цепочка небольших городов в Большом Саратове, городов разного возраста, в каждом свое ядро, свое доминирующее предприятие, центр жизненных интересов десятков тысяч людей.

Для одного района это авиационный завод, выпускающий на линии Аэрофлота надежные, удобные ЯК-40. Там "живут небом", говорят о "почерке" летчиков-испытателей. В другом основа основ — переработка мощного потока нефти Поволжья. В третьем — металлообработка, производство подшипников. Впрочем, в иных районах главенство делят сразу два-три предприятия: ведь в Саратове и химия, и газ, и холодильники, и техническое стекло, и станки, и полиграфия — да и мало ли что еще!

Я побывал во многих заводских районах города, на новых проспектах, соперничающих длиной со знаменитой саратовской улицей Чернышевского и превосходящих ее современной застройкой, на новых улицах-аллеях, расширяющихся возле дворцов культуры или памятников, но теперь, с высоты, не искал знакомые места в обобщенном индустриальном пейзаже.

А вот старый Саратов надо разглядывать не спеша, в деталях. Для разговора с приезжим у него — не обедненный язык стандартного пятиэтажья. Новое вписывали здесь осторожно и умело.

Пожалуй, только в старой Самаре подобное же разностилье начала века, обилие всяческих декоративных деталей, лепки, пилястров, аллегорических фигур, резко контрастирующих с нынешней строгой простотой стекла и бетона.

Идешь по улице, приглядываешься. С одного фасада грозно разинули пасти львы, с другого томно глядят ложноклассические девы, третий украшают фигуры рыцарей, на четвертом — мчащийся в клубах пыли и дыма автомобиль типа "Антилопы гну", на котором, однако, не Остап Бендер с компанией, а бог торговли

Меркурий. Но рядом с этими следами увлечения "декадансом" и "модерном" — здания, на взгляд нашего современника, излишне усложненные, но добротные, красивые, отнюдь не возбуждающие ироническую улыбку. Саратовцы не спешат ломать и переделывать то, что разнообразит город, дает представление об его недавнем прошлом.

А что в Саратове обновлено целиком — набережная. До чего же хороша! Вот только над зеленым ее поясом — шеренга домов, выравненных по ранжиру так, что возникает почти физическое желание снять парочку этажей с одного и переставить на крышу соседнего. И как славно, что в конце набережной над крутым Бабушкиным взвозом поднялась уже первая башня, а рядом, тоже вне ранжира, нарядный новый театр кукол.

Два яруса набережной — густые аллеи с небольшими скамейками, где цветут каштаны, благоухают метеолы и создается атмосфера покоя, отдыха, мечтательности, влюбленности. И хорошо, что тут нет шашлычных, что торговля вынесена повыше, за линию декоративно подстриженных американских кленов. Вечерами клены подсвечены, как и откос газона. Он оттеняет спокойный полумрак пояса аллей.

А ниже — еще два пояса для тех, кто хочет ощутить ветер с Волги. Последний, самый нижний, отдан на откуп рыболовам. Они плотно сидят на раскладных стульях, непрерывно трещат катушки спиннингов, мелодично звенят колокольчики: клюет! Есть рыба под Саратовом, сам видел, как трепетно блестит она на тонких лесках!

Вечером набережная полна, но в отличие от куйбышевской не шумна. Люди бродят, разглядывая волжские огни. Новый мост — самый большой в Европе, почти три километра, тридцать восемь опор — пропускает под свои высоко поднятые арки огоньки

теплоходов, а вон и высокобортный моряк торопится откуда-то сверху...

Новый речной вокзал не так величествен, как в Горьком, не столь декоративен, как Северный в Москве, но построен рационально, с пониманием того, что вокзалами ведь не только любуются. Здесь, например, вместо шумных общежитий, именуемых комнатами длительного отдыха, большая гостиница с удобными номерами.

Мне кажется, что Саратов семидесятых годов наиболее ярко выражает себя на площади Революции. Памятник Ленину возвышается возле научно-исследовательского института. Новое здание с эмблемами века атома, не скрадывая пространства, отражает площадь зеркалом своих стен-окон.

С другой стороны, среди мощно разросшихся деревьев, художественный музей, носящий имя Радищева и основанный его внуком. Когда говорят о нем "Саратовская Третьяковка", "Эрмитаж Поволжья", то это не местный патриотизм, а определение действительной ценности собранных под музейными сводами коллекций.

На площади же — пламя Вечного огня у памятника героям Октября. За ним — обновленный фасад театра оперы и балета.

Какой еще город имеет специальный троллейбусный маршрут для театралов? В Саратове он так и называется — "Театральный": цирк — театр юного зрителя — театр оперы и балета — филармония — драматический театр.

Троллейбус "Театральный" останавливается у театра оперы и балета. Там, где в 1816 году любопытные толпились возле балагана, в котором играли крепостные актеры. Там, где позднее кареты с ливрейными лакеями подкатывали к освещенному керосиновыми фонарями входу в большое деревянное здание. Там, где на пепелище деревянного возвели театр каменный,

который после полной перестройки радует нас превосходным пропорциями.

Остановка "Филармония".

Саратов слушал концерты Скрябина и Глазунова. На деке рояля, который саратовцы особенно берегут, чернилами написано: 23 ноября 1913 года. И роспись концертанта — Сергей Рахманинов.

Дальше, к драматическому театру!

Троллейбус идет по Рабочей улице, и вдруг вместо ожидаемых и привычных колонн театрального подъезда — свет, льющийся сквозь как бы распахнутую в ночь высокую стеклянную стену, за которой нарядная публика, гуляющая в фойе. Но и когда в середине прошлого века занимал театр жалкий павильон в увеселительном саду, его подмости видели таких корифеев русской сцены, как Варламов, Давыдов, Савина, а Островский приезжал в Саратов смотреть постановку своей "Грозы". Организованная позднее при участии народников труппа драматического "Общедоступного театра" старалась привлечь на спектакли простой люд.

Театр юного зрителя.

И снова историческая справка: именно в Саратове уже осенью 1918 года ребята собирались на спектакли первого в стране бесплатного детского театра.

О Саратове говорят: театральный город. И о Ярославле — тоже. И о Казани. И о Горьком. Да, пожалуй, о каждом крупном городе Поволжья. И многое, очень многое за этими словами — "театральный город"!

\* \* \*

Рождение большого ученого — процесс долгий и сложный. Но известность порой приходит к нему

внезапно. Вчера еще знали его лишь ближайшие сотрудники, а сегодня...

"Сегодня" — это 4 июня 1920 года.

В Саратов съехались селекционеры России. Физическая аудитория университета, одна из наиболее вместительных, переполнена, люди стоят в проходах. На кафедре профессор Вавилов. Ему тридцать три года, он моложе большинства присутствующих. В зале — не отличающиеся восторженностью и экспансивностью люди науки, тема доклада — закон гомологических рядов и наследственной изменчивости. Но когда профессор покидает кафедру, зал разражается овацией.

— Биологи приветствуют своего Менделеева! — восклицает один из участников съезда.

Саратовские телеграфисты передают в Москву, в Совнарком, Луначарскому сообщение: на Всероссийском съезде заслушан доклад исключительного научного и практического значения с изложением теории, представляющей крупнейшее событие в мировой биологической науке и открывающей самые широкие перспективы для практики.

В этой телеграмме — не преувеличение, а провидение. Полвека спустя ее текст приводят как пример быстрой и верной оценки современникам масштаба научного открытия, что случается далеко не часто.

Текст телеграммы — среди экспонатов саратовской выставки памяти Николая Ивановича Вавилова. Я впервые увидел там подлинные фотографии участников съезда, брошюру Вавилова "Современные задачи сельскохозяйственного растениеводства", изданную саратовцами в 1917 году. Экспонировалось также несколько любительских снимков: кафедра общего земледелия Саратовского университета провожает профессора Вавилова в Петроград.

Это было в феврале 1921 года. Пройдет некоторое время — и молодой академик Вавилов встанет во главе крупных научных организаций страны, в том числе получившего при нем всемирную известность Всесоюзного института растениеводства. Но, помня о Саратове, он предпослет изданной уже в Петрограде книге "Полевые культуры Юго-Востока" такие строки: "Солнечному, знойному, суровому краю, настоящей и будущей агрономии Юго-Востока, как дань за несколько лет приюта и гостеприимства посвящает этот очерк автор".

Когда теперь заходит речь о том, что успел сделать академик Вавилов за недолгую жизнь, его биографы вынуждены дробить тему, поистине необъятную. Вавилов как генетик. Как селекционер-теоретик. Как агроном. Как ботаник-географ. Как эколог. Как иммунолог. Как путешественник. И всюду — взлет оригинальной мысли, колоссальная работоспособность, огромная результативность.

— Он — гений, и мы не сознаем этого только потому, что он наш современник.

Так сказал о Вавиллове академик Прянишников.

Международный научный журнал "Наследственность", по традиции печатающий на первой странице имена крупнейших естествоиспытателей мира, ставит Вавилова в один ряд с Линнеем и Дарвином.

А истоки этой всемирной славы ученого — в поволжском городе.

Несколько лет назад мне удалось пройти значительную часть маршрута путешествия Николая Ивановича Вавилова по Сирии — одного из бесчисленных его маршрутов, пролежавших через три с половиной десятка стран.

В Сирию, в страны Средиземноморья Вавилов отправился в 1926 году — сразу после подготовки к

печати книги, где излагалось его учение о географических центрах происхождения культурных растений. Оно дало мощный толчок научной мысли, и четыре с лишним десятилетия спустя его сравнивают с открытием мира микроорганизмов, впервые представших изумленному взору Левенгука. Учение достаточно сложное, Вавилов на протяжении всей жизни уточнял, развивал, шлифовал его. Путешествие в Сирию, как и многие другие, позволяло ему проверить теоретические положения. И вместе с тем именно это путешествие было особенно связанным с агрономией солнечного, сурового приволжского края, где возшла звезда ученого. Только этой стороны его сирийского путешествия мне и хочется коснуться.

Агроном с большой буквы, патриот своей страны, Николай Иванович Вавилов был одержим идеей обновления нашей земли, в частности, путем замены малоурожайных, нестойких против засухи и вредителей сортов другими, более выносливыми. Одно из его любимых выражений — "причесывать землю" — в широком смысле означало заботу о повсеместном улучшении ухода за землей, о совершенствовании нашего земледелия, о том, чтобы земля была кормилицей и в горах, и в пустынях, и на знойном юге, и на суровом севере.

В поисках полезных растений, которые можно было бы переселить на наши земли, он и его сотрудники путешествовали по всему земному шару. При этом бывало и так, что на чужих полях они встречали старых знакомых.

В 1921 году Вавилов, выполняя поручение правительства, закупил у американцев семенную пшеницу для голодавшего Поволжья. Почему именно у американцев? Ответ дал сам Вавилов:

— Богатство полей Канады и Соединенных Штатов обязано хлебным злакам нашей страны.

Американцы сумели по достоинству оценить русские твердые пшеницы, зерна которых вывезли с собой из Поволжья за океан переселенцы-духоборы. В конце прошлого века селекционер Марк Карльтон специально ездил по засушливым районам России. Он собирал семена пшеницы, которые, по его словам, могли прорасти и дать урожай даже в пекле ада.

Следом за ним крупные закупки в России сделали другие американцы. Площадь под русскими пшеницами стала расти в Соединенных Штатах с невероятной быстротой. В 1919 году, незадолго до поездки Вавилова за океан, они занимали там уже треть всех пшеничных полей. Закупая именно эти семена, Вавилов возвращал их на землю предков, где им легче было прижиться.

Сирия же, куда Николай Иванович отправился в 1926 году, знала земледелие уже тысячелетия назад. С ней были связаны древнейшие остатки культуры пшеницы и ячменя.

Именно в Сирии охотники за растениями сделали одно из сенсационных открытий. В 1906 году ботаник Аронсон обнаружил в полупустынных сирийских нагорьях дикую пшеницу. Срочно снаряженные Вашингтоном экспедиции принялись собирать колосья для отправки через океан. Засухоустойчивая, неприхотливая "дикарка", растущая едва ли не на голых камнях, могла, по мнению американских селекционеров, существенно улучшить культурные сорта.

У Вавилова было достаточно оснований сомневаться в чудодейственных свойствах находки Аронсона, поторопившегося провозгласить новую эру в селекции главного хлеба земли. Но с щепетильностью истинного ученого Николай Иванович хотел все увидеть своими глазами. Кроме того, верный своему принципу — прежде всего искать растения, пригодные для полей нашей страны, — он намеревался произвести сборы семян



урожайных, скороспелых, устойчивых к почвенной засухе пшениц, выращиваемых в нагорьях Хаурана.

...Я не пытался разыскивать в Хауране людей, которые встречались с приезжим из России: слишком много воды утекло с тех пор. Кроме того, в 1926 году другие события волновали сирийцев. Страна вела тяжелую, кровопролитную борьбу против французских колонизаторов. Я расспрашивал свидетелей и участников этой освободительной войны, сподвижников знаменитого Султана аль-Атраша, для того чтобы лучше представить себе обстоятельства путешествия Вавилова по Хаурану, где среди черных и серых базальтовых глыб при дорогах поднимаются обелиски в память подвигов героев-партизан.

Вавилов приехал сюда в поезде, который вел бронированный паровоз. Русского предупредили, что никто не гарантирует его безопасность. В горы он отправился верхом. Ученого мучила жестокая малярия. Даже во время ее приступов он старался держаться в седле: надо было спешить не только потому, что обострялась военная обстановка, но и потому, что жара ускорила созревание хлеба.

Действительно, когда Вавилов нашел, наконец, в горах дикую пшеницу, колоски уже осыпались, и зерна пришлось подбирать с земли. Они оказались вовсе не столь крупными, как описывал Аронсон, и росли не на голых камнях, но в трещинах, куда ветры нанесли плодородную почву...

После сбора семян "дикарки" Вавилов, размахивая палкой с белым платком, отправился к селению повстанцев: он видел там поля пшеницы и хотел во что бы то ни стало посмотреть, что это за сорт.

Его могли подстрелить, приняв за врага. Он встретил сначала недоумение и подозрительность. Однако, когда ученый рассказал, откуда и зачем приехал, крестьяне

повели его на поля, собрали ему зерна, а потом сами проводили к железнодорожной станции.

Вавилов увез с собой в Дамаск образцы замечательной твердой пшеницы, засухоустойчивой, с крупным зерном, с неполегающей соломой. Она вполне могла пригодиться для "причесывания земли" засушливого Поволжья.

Дамаск был на военном положении. На окраинах вспыхивали перестрелки. А Вавилов, вопреки запрещению властей, делал вылазки на пригородные поля. Из города, переполненного ненавистью и жестокостью, из города баррикад и колючей проволоки уходили в Ленинград посылка за посылкой, и были в них зерна, выращенные на полях сирийских феллахов, зерна, которым суждено было дать всходы на советской земле.

Вавилов много занимался главным хлебом земли. Давно известно, что хлеб этот разный. Есть пшеницы мягкие и есть твердые, есть слабые и есть сильные, с высоким содержанием белка и клейковины. По определению Вавилова, "крупнейший мировой массив" пшеницы, содержащей много белка, это Юго-Восток нашей страны, Казахстан и степи Западной Сибири. А внутри этого массива — Саратовское Заволжье, где пшеница лучшая из лучших.

Когда Николай Иванович Вавилов выступал в 1920 году с докладом о законе гомологических рядов, в числе аплодировавших ему был известный саратовский селекционер Алексей Павлович Шехурдин.

В дальнейшем оба они плодотворно поработали ради общей цели: дать стране больше хорошего хлеба. Собранные Вавиловым и его сотрудниками коллекции послужили основой для выведения многих новых сортов, а некоторые привезенные им семена немедленно стали высеваться у нас и вскоре заняли миллионы гектаров.

Шехурдин же сосредоточился прежде всего на улучшении сортов знаменитых саратовских пшениц.

Он шел своим путем, когда еще до революции, вопреки распространенному в мировой науке мнению о практической бесперспективности скрещивания отдаленных видов, скрестил мягкую "полтавку" с твердой "белотуркой". Вместе со своей помощницей Валентиной Николаевной Мамонтовой Шехурдин на Саратовской опытной станции путем занявшего много лет тщательного отбора гибридных семян получил, наконец, замечательную пшеницу. Она сочетала свойства стойких ко всяким невгодам мягких пшениц и превосходные качества твердой "белотурки", особенно ценимой хлебопеками: именно примесь муки, полученной из "белотурки", создала славу непревзойденному саратовскому калачу.

История создания "Саррозы" и "Саррубры", двух сортов, необычные названия которых были лишь сокращениями от "Саратовской розовой" и "Саратовской рубиновой" — это неистощимое долготерпение, ювелирная тщательность селекции, вера в правильность избранного пути. "Саррубру", выведенную в Саратове, Вавилов назвал наиболее крупным достижением мировой гибридизации.

Путь дальнейшей сложной ступенчатой гибридизации привел научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока, принявший эстафету от скромной опытной станции, к созданию замечательной "Саратовской-29".

Признанный мировой авторитет, англичанин Кент Джонс, дал отзыв об этом сорте: "Совершенно выдающийся образец пшеницы исключительной силы, эпоха в тысячелетней истории сильных пшениц, заметно сильнее лучших канадских пшениц "манитоба".

"Саратовскую-29" создавали сорок пять лет. Теперь она победно шагает по полям страны. Пять колосков,

некогда выращенных Шехурдиным из первых гибридных зерен, — и почти двадцать миллионов гектаров, настоящий пшеничный океан — сегодня!

Люди, знавшие Алексея Павловича Шехурдина — он умер в 1951 году, не дожив до блистательной победы своих питомцев, — рассказывают о скромном, порою болезненно застенчивом человеке, бесребренике, обремененном семейными заботами. Он не любил выступать публично: он был велик не на трибуне, а на опытной делянке.

Его бюст установлен на территории института. Его сорта кормят миллионы людей.

В институте сельского хозяйства Юго-Востока доктор биологических наук, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда Валентина Николаевна Мамонтова продолжает дело человека, которого считает своим учителем. Полвека работы с колосом — тридцать пять новых сортов!

Почти шестьдесят процентов посевов всех наших яровых пшениц — это сорта Валентины Николаевны, ее учителя и ее учеников. И уже выходят на поля превосходящие "двадцать девятку" новые сорта, выведенные саратовскими кудесниками — "Саратовская-36", "Саратовская-38", "Саратовская-39". Испытывается "Саратовская-42": совершенствование сортов не знает остановки и предела.

\* \* \*

Космический корабль взмывает в небо, оставляя за собой шлейф раскаленных газов. Под южным солнцем сталь шлейфа живет, сверкает, слепит отраженным светом, от нее пышет жаром.

На самом деле здесь, где поставили этот монумент, все было не так. Не было взлета, не было шлейфа. Был

парашют, был человек в ярко-оранжевом скафандре. Опустившись на вспаханное поле саратовского колхоза "Ленинский путь", он увидел женщину с девочкой и пестрого теленка. Необычный вид и странное появление человека невесть откуда встревожили жену лесника Анну Акимовну Тахтарову и ее шестилетнюю внучку Риту. — А тут еще непонятный, совершенно не похожий на самолет предмет возле ложбины...

Но человек в скафандре, сняв гермошлем, крикнул:

— Свой, товарищи, свой!

Улыбка у него была чудесной. И слово "товарищи". И буквы "СССР" на гермошлеме. Жена лесника спросила, еще не веря себе:

— Неужто из космоса?

А от полевого стана уже бежали колхозники:

— Юрий Гагарин! Юрий Гагарин!

Было 10 часов 55 минут пополудни 12 апреля 1961 года.

Эта дата выгравирована на доске у подножия монумента. Если долго смотреть вдоль дуги шлейфа, то корабль там, вверху, обретает движение к легким белым облакам.

Вспаханного поля теперь нет, по пригорку насажены акации, они уже изрядно вытянулись, и скоро быть им Гагаринским парком.

В ложбине — две старые раскидистые ветлы. Их видел Гагарин, непременно должен был видеть, когда оглядывал место своего приземления. Неподалеку от ветел — колодец. Что еще? Как будто ничего приметного. Место, каких под Саратовом много: степь и заслон лесной полосы.

Сам момент приземления первого человека, вернувшегося на Землю из космоса, не был запечатлен на пленку. Работая вместе со сценаристом Евгением Рябчиковым и группой кинорежиссеров над фильмом "Первый рейс к звездам", мы попытались было

воссоздать хотя бы кое-что. Операторы попросили жену лесника с внучкой опять пойти на то самое место...

Но не было в этих эпизодах ощущения подлинности. И они не вошли в фильм. Пережитое в тот весенний день каждым из людей можно испытать полной мерой лишь раз в жизни. Не так уж много в истории человечества минут, когда всех обитателей планеты объединяет радостная гордость подвигом Человека. Юрий Гагарин дал людям ощущение великого своего единства. Советский человек, коммунист, он принадлежал всей Земле.

Портреты Юрия Гагарина обошли мировую печать. Он появлялся на приемах и парадах, в королевских дворцах и резиденциях премьер-министров, в заводских цехах и на пионерских слетах. Мы привыкли к его улыбке.

Следом за Гагариным и неподалеку от места посадки его "Востока-1" опустился из космоса на саратовскую землю Герман Титов. Уходили в космос еще и еще, возвращались, их встречали в Москве по уже выработавшемуся ритуалу, схожему с тем, какой определился при встрече Гагарина. Они летали гораздо дольше, их программа была неизменно сложнее, они выходили в космос из своего корабля.

А Юрий Гагарин оставался Первым. Люди высадились на Луне, завтра они достигнут Марса. Но первую космическую трассу проложил Юрий Гагарин.

Я помню, как на маленьком экране просмотрного зала киностудии мы впервые увидели разрозненные эпизоды подготовки к полету. Появилось крупное, волевое лицо Сергея Павловича Королева — тогда он был для кинозрителей, для читателей газет таинственным анонимным Главным конструктором, и лишь очень немногие слышали его имя и видели, каков он. Мир узнал о Королеве посмертно, в "Первом рейсе к звездам" он, чья мысль и идеи во многом сделали

возможным этот рейс, оставался невидимым. Лишь в более поздних фильмах, которые воспринимались уже как история, пусть совсем недавняя, он стал жить после смерти.

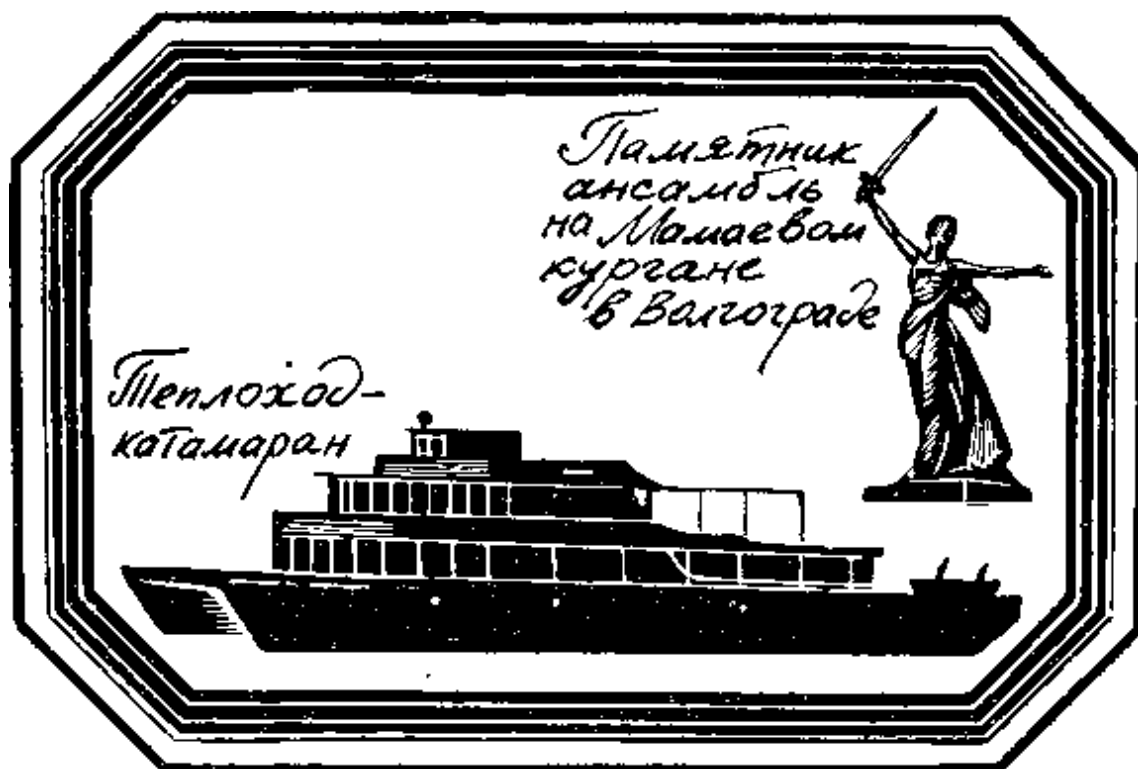
Когда погиб Юрий Гагарин, в обгоревшем его бумажнике нашли вырезанный из старой групповой фотографии крохотный портрет Королева.

Помню, как Юрий Гагарин впервые приехал на киностудию. Это было вскоре после полета. Пришли все. Пришли старые режиссеры и операторы, заслуженные пенсионеры, редкие гости на студии, — не легко быть сторонним свидетелем дела, которым занимался всю жизнь и с которым теперь справляются без тебя другие. День выдался жарким, все теснились во дворе с утра, хотя Гагарина ждали после полудня.

Он пришел, еще не привыкший к овациям и почестям, смущенный, с милой своей улыбкой. Он пришел — и я видел слезы на лице старого администратора, который слыл циником и дельцом, видел восторженные лица монтажниц, и у всех у нас было ощущение праздника...

Если долго смотреть вверх, туда, где, распустив шлейф, серебристый корабль устремлен в небо, можно ощутить его движение к облакам. Отведешь глаза — и вокруг гагаринское поле, самое необыкновенное из обыкновенных полей Поволжья, где на двух старых ветлах расселись грачи и куда из-за пригорка доносится рабочий гул тракторов, возможно, тех самых, что работали и в тот апрельский день...

## "Вчера в аэропорту города-героя..."



*Волгоград и его побратимы. — Пост № 1.— Флажок баркаса "Бобик". — "Красный Октябрь", комсомольское племя. — Сквозь огонь. — Будни знаменитого "Абхазца". — Еще переправа, на этот раз мирная. — У вершины кургана. — Фрэнк Бруно Хоней, волгоградский американец. — Большой город Волжский — там, где Волга встретилась с Доном.*

*"Вчера в аэропорту города-героя Волгограда, украшенном государственными флагами дружественной страны, Советского Союза и Российской Федерации, высоких гостей встречали..."*

Мы часто читаем подобную хронику. Волгоград — на столбовой дороге гостей, посещающих нашу страну. Они едут в город, о котором знает весь мир.



Они видят его гордый герб, где на верхнем поле щита, на фоне алой крепостной стены — Золотая Звезда Героя, в нижнем, отделенном лентой сталинградской медали, шестеренка и сноп заволжских степей.

У Волгограда несколько зарубежных городов-побратимов. Их гербы на одной из площадей: якорь и лавровые ветви Порт-Саида, три символических полосы Хиросимы, вздыбленный конь Остравы, геральдический щит Дижона, рыба и якорь финского порта Кеми, феникс и слон Ковентри, медали Льежа, корона Турина, лук с натянутой тетивой и корабль Мадраса.

Город хранит подарки, присланные ему со всех концов света. Среди них — большой рыцарский меч, выкованный лучшими английскими оружейниками. На его лезвии выгравировано: "Подарок короля Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда".

Меч по поручению короля был вручен Черчиллем Сталину во время Тегеранской конференции Большой тройки осенью 1943 года, в разгар войны. Рузвельт сказал тогда:

— Действительно, у граждан Сталинграда стальные сердца...

Именно после торжественной церемонии вручения меча был сделан обошедший мир снимок, символизировавший единство союзников против общего врага: Сталин, Черчилль и Рузвельт у входа в зал заседаний конференции. Их встречу — первую встречу — ускорил явный поворот войны, наметившийся особенно ясно после Сталинградской битвы и закрепленный на Курской Дуге.

Пушкин некогда писал: "России определено было высокое предназначение: ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы". Орды, более свирепые, нежели монгольские, в XX веке победно прошли Европу и были

остановлены у Волги. Отсюда, от Сталинграда, их погнали через ту же Европу, освобождая и очищая ее. Среди высоких гостей, приезжающих теперь в город-герой, есть жители стран, знавших сапог гитлеризма. В темную ночь оккупации они с отчаянием и надеждой ожидали очередную сводку из Сталинграда.

И вот гости — на земле города, прозванного волжской твердыней.

Есть главный маршрут по полям славы, по местам одного из решающих сражений минувшей войны.

Он начинается у Вечного огня на площади Павших борцов.

После возложения венка и минуты молчания высокие гости садятся в машины. Но площадь не пустеет.

К городу то и дело подходят теплоходы. У причалов тесно. Высадив пассажиров, корабли бросают якорь на рейде и ждут там.

Большая группа поднимается по широкой лестнице с набережной к аллее Героев. Венок — "от уральских туристов и команды теплохода "А. Фадеев". С алыми гвоздиками в руках идут к Вечному огню. Идут медленно, торжественно. Впереди ветераны, грудь в орденских планках. Вчера они терялись в суматохе судовой туристской жизни, где всегда верховодит племя молодое. Сегодня эти люди на две головы выше самых бойких; притихшие судовые "заводилы" идут в хвосте колонны.

У Вечного огня на посту № 1 — пионеры с автоматами бойцов Сталинградской битвы.

Уходят уральцы, приходят новые группы и одиночки. Сменяется караул на посту № 1: долговязый разводящий с аксельбантом, двое часовых. Один, увы, мало вырос, другой толстоват для пионерского возраста. Идут, стараясь отбивать шаг, однако к строевой службе оба пока не очень приспособлены. Их вид был бы комичен,

если бы они шли куда-нибудь в другое место. Но они идут на пост № 1. И никто не улыбается.

Тихая музыка льется из камня. Камень скорбит, и воздух колышет пламя.

Люди, застигнутые музыкой, вытягиваются, застыв почти как часовые. Плачут. Не только те, кто в годах. Плачут молодые, войны не помнящие. Или помнящие ее смутно.

Текут слезы, некрасиво краснеют носы, плывет тушь ресниц. Здесь это все равно.

Последние такты музыки. Пошли, заговорили. Кто-то достал из сумочки зеркало: жизнь идет.

Но минуты светлой скорби запали в память. Они будут оживать при словах "Сталинград", "Волгоград".

Волга несет воды вдоль парадной набережной города. Красивая, работающая Волга с парусами яхт, трехпалубными лайнерами, сумасшедшими росчерками лодок, гонимых сверхмощными моторами. А еще одна Волга — в городском Музее обороны.

Там шашки Ворошилова, Буденного и других героев борьбы за Царицын в годы гражданской войны, бинокли, лупы, пистолеты, простреленные шинели героев Сталинградской битвы, сваленные в кучу знамена плененных в Сталинграде гитлеровских частей, ножницы и лента, попавшие сюда на другой день после открытия Волго-Дона, лента, разрезанная при пуске Волжской гидростанции имени XXII съезда КПСС, факел, от которого был зажжен Вечный огонь на площади Павших борцов и на Мамаевом кургане.

В музее — дыхание сражавшейся Волги.

Большая картина. Не ясно, день или ночь: город горит, может быть, густой дым скрывает солнце или, напротив, пламя освещает клубы дыма в ночном небе. Волгу пересекают три судна. Они отбиваются от самолетов. На переднем плане — речник, суровые лица

солдат с бликами пламени; кто нервно затягивается самокруткой, кто молча смотрит на пылающий город.

Тут же, в музее, продырявленная осколками бортовая дверца парохода "Гаситель", работавшего на сталинградских переправах, судовой фонарь, поврежденный взрывной волной, модели превращенных в канонерские лодки волжских судов, портреты героев-капитанов.

Волга воевала и за Царицын. Посередине зала — пушка, поднятая с затонувшего в 1919 году волжского парохода "Советский", который подорвался на mine во время боя с белогвардейцами. В одной из витрин потрепанный белый флажок на деревянной палочке. Такими делали "отмашку", показывали, в какую сторону удобнее расходиться со встречным судном.

Флажок принадлежал когда-то волжскому баркасу со смешным щенячьим именем "Бобик". Выцветшее удостоверение свидетельствовало, что капитан "Бобика" Колшенский П. И. при наступлении белых на Царицын показал себя опытным командиром, преданным Советской власти.

За Волгой, в Краснослободске, несколько лет назад я разыскал домик в три оконца. Павел Иванович Колшенский оказался бодрым сухощавым стариком с голубыми детскими глазами. У него была поговорка: "В шубе палка". Рассказывая, он время от времени доставал коробочку с нюхательным табаком.

— Сейчас мало кто нюхает. А ведь на ночной вахте это первейшее дело: как в сон поклонит, так сейчас возьмешь понюшку, начихаешься до слез — сна-то как и не бывало. Сколько ночей не спал — сосчитай-ка! И столько же табак нюхаю. А если бы курил — давно бы, конечно, помер.

Ну, дело обычное, начал я с матроса, а потом уже хозяин назначил меня капитаном на маленькую посудину. "Генерал Цеймерн" называлась — черт ее

знает, что это был за генерал! А тут революция, царя — по шапке. Думаю: людям будет в шубе палка и мне — в шубе палка, людям будет хорошо — и мне хорошо. Стал ходить на митинги, слушать, что к чему. Однажды зовут меня в Совет. Надо, говорят, забрать флот у буржуев. Дали мне револьвер, еще трое со мной пошли. Приходим к моему хозяину, поздоровались, так и так, гражданин Кусакин, отдайте, будьте любезны, честью просим, закон такой вышел. А Кусакин аж побелел: "На благодетеля своего руку поднял? С большевиками сдружился? Смотри, Пашка, не пойдет впрок чужое добро!"

Пошли к другому, к Хряеву — пароходчику. Тот ка-а-к рявкнет: "Ах вы, голь перекатная! Вон отсюда! Шкуру спущу!"

Ну, оробели мы... Докладываем в Совете. Там головой покачали, дали нам моряка. Пошли опять. Моряк — наган из кобуры и вежливенько так Хряеву: "А ну, папаша..."

Так и стали сами хозяевами. Это дело было в феврале восемнадцатого года. А летом того же года сами знаете, что началось, в шубе палка...

Поставили нас на переправу — снаряды возить через Волгу. Шесть катеров работало.

Я на переправе крутился до самого ледостава. А после того завел суденышко в затон и пошел воевать с беляками на суше.

На другую весну дали мне "Бобика". Ничего баркас, подходящий, тридцать сил машина. Броню сделали из железных листов. Но, должен сказать, пули ее пробивали запросто. Под пули-то мы частенько попадали. А раз и бомбу на нас сверху бросил антихрист какой-то. Подобрали мы осколки: бомба круглая, репчатая, английская.

Как я работал в Царицыне на переправах — сами знаете, ведь по бумажке из музея меня разыскали. Там

сказано. А напоследок изловили мы атамана Микишку. Был такой кулак, а при нем шесть сынов и пятеро зятьев, да еще всякого сброда человек полсотни. Ну и грабили по селам. Знамя у Микишки было, знакомая попадья шелком вышила: "Долой кадеты, долой советы, да здравствует Микишкин отряд". Пошли мы с канонерской лодкой "Карл Маркс", захватили весь Микишкин отряд и вывели его в расход. Расстреляли, значит.

А после стал я плавать уже на мирных переправах. И плавал так до сорок второго года.

А в сорок втором на своем "Тринадцатом" стал ходить, как все — под бомбами, значит. Ну, тут, в шубе палка, в нас мина попала, мы как раз последний ночной рейс делали, светало уже, он и накрыл. Потонул мой "Тринадцатый", я выплыл кое-как, мне ведь уже и тогда недолго было до пенсии... Ну, выплыл, отдышался, дали мне "Капитана Иванищева". Опять от берега к берегу, когда с людьми, когда с боеприпасами. Только он, вражина, и это мое судно потопил. У самого берега, в воду лезть не пришлось... Мне говорят: "На вас, папаша, флоту не напасешься". Однако дали "Громо-бой". На нем и капитанил до ледостава, а там и немцев в мешке заперли, пришел им в Сталинграде капут. После подсчитали, что "Надежный", да "Абхазец", да еще "Дубовка" и мой "Капитан Иванищев" для Шестидесятой второй армии больше всех перевезли. Ну, нам, конечно, всем ордена, медали...

Наверное, можно пойти по следам любого экспоната Музея обороны — и это будет началом повести о подвигах.

Музей обороны не единственный в городе. Есть еще несколько, и об одном из них, находящемся в стороне от установившегося маршрута знакомства с городом, мне и хочется рассказать.

"Красный Октябрь" — это прежде всего сталь. Высококачественная сталь различных марок. Создание новых марок стали, обладающих теми свойствами, какие нужны заводам-потребителям.

Построило завод в конце прошлого века общество "Урал — Волга", правление которого находилось... в Париже: французский капитал искал в России дешевые рабочие руки и выгодные рынки сбыта.

Завод назывался "Дюмо". Возле него было три поселка: "Большая Франция", "Малая Франция" и "Русская деревня". В первых двух жили французы, служащие и технический персонал. "Русская деревня" для рабочего люда представляла хаос мазанок, барачков, землянок и похожих на кирпичные сараи общежитий, разгороженных на едва заметные в полутьме клетушки.

В 1918 году сталевары завода "Дюмо" дрались за Царицын, построили бронепоезд "Тов. Ленин". Затем завод, который стал называться "Красным Октябрем", полностью перестроили.

В 1942 году через "Красный Октябрь" прошла линия фронта. Здесь держали оборону войска 62-й армии и отряды народного ополчения краснооктябрьцев, где сражалась первая в стране женщина-сталевар Ольга Ковалева.

После битвы от завода осталась земля, изрытая воронками, заваленная битым кирпичом. Это "хозяйство" 2 февраля 1943 года генерал Гурьев торжественно передал директору Матевосяну: участок фронта должен был снова превратиться в завод. Передача запечатлена на снимке. Генерал жмет руку худощавому черноволосому штатскому в полушубке и валенках, который в другой руке держит рукавицы сталевара. Рядом — начальник политотдела дивизии Дубровский.

Свыше четверти века спустя в зале, где висит эта фотография, встретились два грузных седых человека, протянули друг другу руки, слезы побежали по щекам. И

весь зал плакал, зал, где собрались ветераны, защищавшие завод. А Матевосян, с войны оставшийся директором завода, и бывший начподив Дубровский (генерал Гурьев не дожил до встречи) все трясли руки, сцепленные в пожатье до белизны в суставах.

Встреча эта произошла в заводском музее, первом в стране музее на общественных началах, существующем несколько лет. Там вся история завода.

Среди экспонатов — чугунный фонарный столб, массивный, литой, стоявший до войны в поселке. Его на высоте человеческого роста снес снаряд. Обломленный, он остался стоять и получил после этого еще более сотни пробоин и вмятин — вот они, посмотрите, потрогайте, ощутите плотность огня.

Здесь же и квадратный метр земли, вырезанный после боев прямо на заводской территории. Это железная земля, которую защищали стальные люди, спекшаяся бурая почва, мертвая, похожая на шлак, с оплавленными патронами и ржавыми осколками.

— Пушка? Пушку генерал Плиев прислал, А скрипку — фронтовой кинооператор Орлянкин. Подарили ему в ночь под Новый, сорок второй год здесь, на заводе, на переднем крае. Видите, надпись: Орлянкину от Тринадцатой гвардейской стрелковой.

Это говорит Валентина Михайловна Евдокимова. Я знал ее как научного работника, занятого сбором материалов о переправах Сталинграда. Теперь она здесь, в музее, всему голова. Так про нее сказали в завкоме. Сама же Валентина Михайловна — все про своих активистов, про бывшего главного энергетика завода Николая Павловича Пискунова, про конструктора Владимира Петровича Панкова, про начальника лаборатории Петра Николаевича Спорышкова:

— Вот молодцы! Удивительные люди!

И верно — удивительные. Пискунов, уйдя на пенсию, пять лет едва ли не ежедневно работает для музея.



Бесплатно, разумеется. И как работает! Не только разбирает архивы, разыскивает людей, но даже мастерит витрины.

— Представляете, все умеет делать, решительно все. Да что говорить — на нем музей держится. Настоящие люди.

Музей хорош и просто как музей. Но еще важнее, что он стал центром живого и нужного дела. Сюда съезжаются люди, воевавшие за завод, за Сталинград, за Волгу. Сначала собрали 193-ю дивизию — не всю дивизию, конечно, но тех, кого знали, кого помнили, кого нашли. Потом 39-ю. Затем 45-ю. А в 1970 году съехались представители всех шести дивизий, дравшихся в Краснооктябрьском районе.

Я видел письма, присланные этими людьми потом, когда они вернулись домой. Письма полны суровой нежности. Многие начинаются словами: "Дорогая наша Валентина Михайловна..."

В "комсомольской комнате" музея на стенах портреты секретарей заводского комитета комсомола и рассказы о их жизни. Почти всех секретарей, начиная от Василия Лебединского, вожака заводского комсомола в 1919 году, в гражданскую войну. Портреты полувековой давности: косоворотки, огненные глаза, впалые щеки.

И рядом более поздние, а кое-где и вовсе недавние снимки тех же людей, где старики либо люди в преклонных годах как бы заглядывают в далекую свою юность. Музей разыскивал первых заводских комсомольцев по всей стране, просил прислать воспоминания, рассказы о себе и о других. Потом собрал всех вместе. Сказать по этому поводу "волнующая, незабываемая встреча поколений" — значит, ничего не сказать. Тут подошли бы другие, более глубокие и точные слова, но они могут родиться лишь у тех, кто был на этой встрече. Я о ней только слышал. У человека,

который мне рассказывал, как все было, то и дело прерывался голос.

Коренастый, русоволосый токарь механического цеха Лева Горбунов комсомольским секретарем избран не так давно. Он восторженно говорил о комсомольцах первых пятилеток, о комсомольцах, бившихся за Сталинград. Вот были люди!

Лева удивился, когда я попросил рассказать про его, Левино, жите-быте. Чего же рассказывать? Цех не ведущий, лучше расспросить кого-нибудь из знатных сталеваров:

— Только не подумайте, что рисуюсь. Скажу вам так: когда в комсомол вступал, уложился с рассказом меньше, чем в минуту. И никто не требовал — давай, мол, со всеми подробностями. Ну, начну, как на завод попал. Родился в войну, мать, сколько ее помню, всегда работала на "Красном Октябре". Идешь на Волгу купаться — мимо завода. Дома только и слышишь: завод, завод... Потом матери квартиру дали, совсем возле завода. Как-то, знаете, было ясно, что и мне на "Красный Октябрь" дорога. Я и пошел. Меня — к станку. Рычагов много, станок сложный, думал, не осилю.

Между прочим, и Алла моя в цех, как и я, пришла прямо из школы. Мне девятнадцать было, когда мы поженились. Она хотела было в институт, потом привязалась к цеху. А вот кем будет дочка — не знаю. Ей десять, нашей Наташке. Но вокруг нее тоже все завод да про завод...

Когда я впервые в цех пошел, у рабочих была мода, что ли: синий такой пиджачок-спецовочка с кармашком, из него пропуск выглядывал, как увидят — знают: с "Красного Октября". Мне мать тоже такой сшила. И я любил ходить через первую контрольную. Мне до нее полчаса было. А до ближней — минут десять. Но Первая как бы главная, к ней основной рабочий класс идет...

Наш цех — не ведущий, многих ребят сразу к мартену тянуло. Подумывал было и я... Но вот тринадцать лет в своем цехе проработал, это если считать с армией. И не объясню, почему. Просто не ушел — и все.

Гордость заводом? Думаю, что каждому свой завод дорог. Но, конечно, Тракторный и наш на особом счету.

Он украдкой поглядывает на часы. Последний вопрос: как он представляет свое будущее?

— Станок, — без секундного колебания ответил Лева.

\* \* \*

На этот раз мне не удалось встретиться с Анатолием Николаевичем Хлыниным. Выйдя на пенсию, он остался капитаном рейда и по хлопотной этой должности весной 1970 года отправился в командировку.

Имя капитана впервые промелькнуло в дни битвы на Волге. Военный корреспондент "Известий" Евгений Кригер писал в 1942 году из Сталинграда:

"Волга поддерживает Сталинград своими людьми — матросами, капитанами. Мария Ягупова пришла на буксир работать матросом. Ее ранило в голову. Она отлежалась в деревне, где остался у нее ребенок, и вернулась вновь на буксир. Капитан "Абхазца" Хлынин двадцать шесть лет на воде. Теперь он дерется за Волгу. Пятьсот рейсов, десятки тысяч бойцов, доставленных в бой".

...Мы познакомились после войны, когда капитан по-прежнему ходил на "Абхазце", которого недавно гонял под бомбами. "Абхазец" был потоплен прямыми попаданиями снарядов, но его подняли, отремонтировали и вернули Хлынину. На нем капитан и

налаживал позднее зимнюю переправу для стройки Сталинградской ГЭС.

Незадолго до нашей встречи Хлынин вышел из больницы, врачи строго-настрого запретили ему показывать нос на улицу, он томился, свирепел от безделья, и впервые мы наговорились по-настоящему без помех и без спешки.

— Понимаешь, в феврале началась ростепель. Волга подвижку дала, ну, столбы и своротило, по которым на паром свет дают. Провода — под лед. Что делать? Ночь, зги не видно, народ кругом ходит, может током кого убить. А тут еще дождь, туман. Надо, думаю, лезть, доставать. На моем участке сделалось, ну, не меня, так кого другого шарахнет.

Надел рукавицы, ухватил провод. Ка-а-а-к ударит! Рукавицу просекло, я — без памяти. Наш дежурный там был и еще милиционер, да штурман с "Сатурна". Этот штурман со страху языка лишился, только руками машет. Дежурный схватил доску, доска мокрая, бьет током и через нее. Хорошо, догадался: фуфайку скинул, обернул. А я полсутки пролежал без всякого соображения. Очнулся, ощупал себя, спрашиваю: "Где я есть, ребята?" — "В больнице". Вижу, профессор в шапочке, говорить не велит, шевелиться не велит. Я ему: есть, мол, хочу, вчера со всей этой историей не пообедал. Усмехается: "Счастье твое, с того света тебя вернули". Я ему в ответ: мол, близко к тому свету и раньше бывать приходилось, дело привычное.

Неделю держали меня на жестком топчане, ворочаться не велели. Потом физкультура разная. Я говорю: давайте меня обратно на переправу, вот там физкультура так физкультура. Нет, требуют, чтобы дома отсиделся.

Это все со мной случилось на переправе Гидростроя, я там старший капитан правого берега, того, где саму Сталинградскую гидроэлектростанцию строят. Одиннадцать

судов под моим началом. Вернее сказать, суденышек — "Сатурн", "Луна", "Суриков", всякая там мелочь...

Ну, и еще одна история у меня получилась. Стал тонуть баркас сто восемнадцатый, на нем Комлев Иван Андреевич капитанил. Дело было зимой, в аккурат на Новый год. Звонят мне на квартиру: давай выручай. А у нас уже встречать Новый год наладилась, водочка, закусточка, то да се... Надел шинелишку, сел на трамвай, в новогоднюю ночь они часто ходят. Доехал до Паромной, бегу по берегу, а ветер собачий, так и пронизывает, так и пронизывает.

Верно, тонет сто восемнадцатый помаленьку, воды много, хоть пробоина и не велика. Майор Курочкин из пожарной охраны действует, откачивает. А ветер свищет, паразит! Ну, откачали баркас, пластырь подвели. Однако застудил я голову и спину, опять три недели в больнице провалялся. А что будешь делать? Служба у нас на реке такая.

Да вот еще, слушай. Идем осенью последним рейсом, темнота, туман, дождь со снегом, ну и наскочили в два часа ночи на буюк возле землечерпалки. И надо же — трос на винт намотали. Трос новый, крепкий. Лезть в воду надо, не обойдется. Велел я ребятам у котла ватник накалить, ватные штаны.

На винт спустился с лодки, винт у нас четырехлопастной. Ушел в воду по шею — нет, глубже нырять надо! Так три часа и нырял. Из воды да на котел, сразу под все одеяла. Отогреюсь — опять в воду. Ну, размотал трос...

Я попросил Анатолия Николаевича рассказать про отца, про детство.

— Автобиографию изложить? Ладно, попробую. Отец мой коренной волгарь. Родом мы из Дубовки, Волга всегда под окнами. Был он, отец, и плотником, и судостроителем. Баржи мог строить сам, его большим специалистом считали по подворотным доскам, а к

этому способность надо иметь. Потом отец пошел на Волгу, плавал на буксирных, в капитаны вышел.

Умер он здесь, под Сталинградом, как раз в бомбежку. Ходил уже плохо, водянкой страдал. Зарыли его в яму от бомбы, хоронить было некогда, немец покою не давал ни живым, ни мертвым.

Я сам на Волге с пятнадцати лет. Как раз была революция, потом гражданская. Ходил на "Громобое", он маленько побольше "Абхазца". Действовал под Черным Яром. Там казаки наш десант с флотилии прижали к Волге. Хотели туда миноносцы послать, "Дельный" и "Деятельный", чтобы уцелевших увезти, потом нашли, что нам сподручнее. Пришли без огней, машина — "на стоп". Подобрали десант у Насонычева Яра. Теперь, понимаешь, думаю: ведь та, гражданская, была игрушкой против последней. Ну, постреляют из винтовок, дадут пулеметную очередь. Бомбы с аэропланов-тарактелок бросали — так ведь с детскую кукишку.

А тут... Я сначала плоты водил военным частям, потом пошел к Сталинграду. Идем, а по реке подозрительные предметы плывут: от пароходов обломки, доски горелые. Зарево за полсотни километров видно. Ближе — дым: батюшки, весь берег горит. Подходим к причалу, на нем ни души, стали было тушить склад с мукой, да где там!

Ладно, думаю, надо диспетчера искать: каков нам приказ будет? А тут как из-под земли военный комендант:

— Сейчас же на переправу Шестьдесят второй армии!

Пришли мы туда вторыми, до нас старался "Пережат", колесный пароход. Между прочим, утонул мой "Абхазец" тоже вторым, только от зада. Предпоследним. Дольше других держался. И вот что скажи: сейчас огни сигнальные, приборы, а без аварий

дело все же не обходится. А ведь тогда и тьма, и бомбы, и немец охальничает, кричит по радио "рус буль-буль" — а ходили, как часы. Конечно, если прямое попадание — это уж другое дело. И тут тебе скажу: гибли больше с непривычки к бою. Если угадаешь в налет или в обстрел на стоянке, то команда норовит в укрытие. Я сначала тоже так, потом вижу — нет, не дело! Первый снаряд не долет, второй — перелет, а третий... И стал маневрировать. Отойду от берега, туда-сюда, то малый, то полный. Важно, чтобы не на одном месте. И кочегары приладились дым густой во всю трубу давать, будто горим уже. Так и действовали. А других, бывало, немец топил в первые же сутки.

У нас на переправе военный комендант был, Язиев — лейтенант. Вызывает раз: "Слушай, Хлынин, снаряды во как нужны. И мигом! Давай не на барже, а прямо на "Абхазце".

Обычно мы баржонку за собой водили, а тут — на палубу. Хорошо, говорю коменданту, вели класть в один ряд. Потом думаю: не ладно поступил, какая разница, сто снарядов взорвутся или пятьсот? Вернулся: извини, говорю, пусть кладут в пять рядов. А Язиев этот: "Хо-хо! Правильно, капитан!" Хороший человек был, мина его потом накрыла...

Сколько рейсов сделали? Кто тогда считал? Зачем? Сколько чего перевезли — это комендант учитывал. А рейсы...

Ну, снесло у нас мачту, потом трубу изрешетило, дым из дыр хлещет, в тюках с шерстью, которыми мы рубку забронировали, осколков, как на собаке репьев. Раз мина попала в бухту троса — в ключья разнесла, рулевого изранила. И еще был случай: осколком трос перебило, на котором мы баржу водили. Понесло ее к немцам. Не дело получается, без баржи — не работа. Надо ловить. Говорю: "Ну, ребята..." А он, немец, не стреляет, ждет, когда мы ближе подойдем и будем с

баржой возиться. Мы на тросе петлю сделали, только накинуть. Подходим, а он тут и начал! Да ему пристреляться не дали, рванули с баржой под самый яр, так и ушли.

Под конец работали только по ночам. Раз в темноте взяли баржу на буксир, а "он" — беглый огонь. Пробил борт барже, у самой ватерлинии дыру сделал, только снаряд почему-то не разорвался. В барже товар наинужнейший — бутылки с противотанковой жидкостью, снаряды. "Иван, — говорю рулевому, — утонет баржа-то, давай это дело аннулируем". Мигом склотили щиток, обернули шинелью, да на пробоину и прибили. А снаряд внутри так и сидел. Ничего, довели баржу, хотя всякое могло быть.

А утонули мы вскорости после того, как Язиева миной убило. Очень к тому времени немец озлился на Волгу, видя, что фронт она, матушка, крепенько поддерживает. Ну и стал за каждым суденышком охотиться. Нас покосили на стоянке: почти сразу три попадания, в корму, в машинное отделение, в левый борт. Мы и затонули.

Ну что еще рассказать? Все не перескажешь. Много было. Сначала страшно, потом привыкли. Верно, там было понапряженнее, чем сейчас. Но так, чтобы совсем спокойно, на реке никогда не бывает. Видишь, под бомбами уцелел, а тут током чуть не прикончило, в больницу попал.

На Краснопитерской улице, идущей вдоль Волги, в доме № 29 — булочная. Объявление: "Открыта с 7 до 20, перерыв с 13.30 до 14.30". Это слева от двери. А справа мемориальная доска: "В период Великой Сталинградской битвы 1942-1943 гг. здесь находился участок Центральной переправы. Сюда героические речники и моряки Волжской флотилии доставляли с



левого берега пополнение и военные грузы в осажденный Сталинград".

Тут не видно экскурсантов. Высоких гостей сюда не возят. Это, в общем, обычный уголок города. Берег высок, но к Волге спускается полого, поднимать грузы было удобно, если, конечно, не принимать во внимание обстрелы и бомбежки.

Но, может, линия обороны была отсюда не близко?

В квартале на Краснопитерской всего три дома. На одном углу булочная, на другом мелкооптовая база по снабжению предприятий бытового обслуживания, а также заочный экономический техникум. Прямо против их дверей — танковая башня на постаменте: "Здесь начинался передний край обороны 13-й Гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева".

Центральная боевая переправа была у самого переднего края.

Сегодня здесь же главная рабочая переправа Волгограда. В летнюю пору к постоянным пассажирам прибавляются "сезонники", едущие на зеленый остров Крит и вообще в заречье. А зимой — только постоянные.

Зимой? Что поделаешь, в Волгограде пока нет моста. Есть плотина гидростанции, вполне заменяющая мост, но это на городской окраине, Краснослободск же — против центра города.

Летом на переправе благодать, а не работа. Особенно если должность легкая — скажем, билетный контролер.

Анна Акимовна Лухоманова на этой должности дослужилась до пенсии.

Она в ватнике, в платке, из-под которого выбиваются черные волосы. Глаза живые, со смешинкой. Разговаривая, доверительно касается то руки, то плеча собеседника. При этом обычного дела не прерывает.

— У Хлынина на "Абхазце"? Как говорите: Ягупова? Мария? Так вы у самого Хлынина поспрашивайте. В

отъезде? Вроде бы я его позавчера видела. Гражданин, а ваш где же билет? Ягупову что-то не знаю, в войну у Хлынина работала Фирсова Раиса, еще Наташа... Вот не помню Наташину фамилию, убей бог! Следующий, гражданин, через двадцать минут. Да, "Совет" пойдет. Ведь с тех пор сколько лет прошло... Минуточку!

Она берется за тяжелый поворотный трап, задвигает перекладину. Матрос отдает конец:

— Поехали!

Это капитану. Теплоход трогается. И в ту же секунду не мальчишка, не девчонка, а грузная тетка преклонных лет бросается к перекладине.

— Куда? Жизнь надоела?!

Анна Акимовна пытается остановить тетку. Но та, с силой оттолкнув контролера, плюхается на палубу теплохода. Успела!

Один теплоход отвалил, другой уже на подходе, но пока у контролера и матроса две-три минуты свободных.

Матрос вовсе не бравый малый в бескозырке, а худенькая и не молодая женщина.

— Маруся, — обращается к ней контролер, — вот этот товарищ Ягуповой интересуется, не слыхала, часом, в сорок втором? На "Абхазце" она будто служила у Хлынина?

— Нет, не припомню. А как ту звали, черненькую, это когда мы с детьми у яра в воду прыгали?

— С детьми в воду? — переспрашиваю я.

— Так ведь мы с детьми плавали, оставить не на кого, а "он" навалился, самолетов шесть...

Опять подходит теплоход. Матрос принимает конец, контролер наводит трап. Это не просто, надо положить точно, устойчиво. Пока пассажиры выходят, у контролера свободная минута.

— А вы про Цыгалева не слыхали? — продолжает Анна Акимовна. — Это мой дядя, Цыгалев, он тоже в сорок втором на переправе работал. Вон березка,

видите, других поболее? Так его там и зарыло. В том самом месте. Его и еще троих ребят и полковника. После войны отрыли, перенесли на кладбище. Фугаска туда попала. И мне бы не говорить теперь с вами, да как раз в тот день я за реку к своим на денек наладилась. Он, дядя-то, меня все отговаривал: "Не ездь, видишь, что на Волге, убьют, утопят". А судьба, значит, выпала не мне, ему... Я переправилась на Крит, вижу, наших там уже нет, возвращаюсь к переправе, мне кричат: "Слышь, твоего дядю Ваню убило, прямое попадание". Мне, значит, не судьба. Я на лодке с Крита к Красной Слободе, может, думаю, наши там где поховались. Весел не было, гребла доской какой-то. А в Слободе говорят — народ в лес подался. Опять гребу, а "он" — бжж... бжж... Так и свищет вокруг, так и свищет. Собачонка со мной из Слободы увязалась. Уже на берегу ка-а-к жахнет! Колька, был у меня парень знакомый, кричит: "Нюся, Нюся, ты живая?" А меня только песком засыпало, и то не всю. Собачонке, верно, лапу повредило, я ее косынкой перевязала, голубая у меня косынка была, шелковая...

Высадка закончилась, опять подвалил народ. Контролер и матрос — в два голоса:

— Билеты! А у вас?

И, черт возьми, чуть ли не каждый десятый чувствует себя оскорбленным этим вопросом. Парень со смазливym лицом кривит губы, проходит мимо.

— Предъявите!

— Что предъявлять-то?

— Чего, чего! Билет!

— А-а! Билет! Так бы и сказали. Наставили вас тут, дармоедок.

Отваливает "СТ-244", но тотчас швартуется "Совет". И все начинается сначала: трап убирается, швартовы отдаются, швартовы принимаются, трап наводится.

— Двенадцать часов, как на качелях, — улыбается матрос.

Я знаю теперь, что матроса зовут Марией Яковлевной Черновой, на реке она тоже с военных лет. Это летом она матрос, а зимой матрос-кочегар: совмещение профессий. Зимой, правда, судов на переправе меньше, но все же бывает так: за котлом смотреть надо, шуровать надо, а судно как раз подваливает к дебаркадеру.

Зимой дебаркадер нужен прочный, железобетонный. Он не стоит на одном месте, его приходится переставлять, когда сильно забивает льдом. А забивает иную зиму часто.

— Да вы об том начальника нашего спросите, Дулина Виктора Степаныча.

— Ну, начальник... Начальник, поди, все больше в кабинете.

— Это чей начальник в кабинете?! — изумляется Анна Акимовна. — Наш-то? На переправе? Да вы что! Наш начальник — грузчик, а не начальник. Он, бедняга, частенько тут и ночует на дебаркадере, в конторке. У нас начальник с нами цинкачи тянет, цепи. Пиджак долой — и вкалывает.

Вечереет, сменяется матрос. Вахту от Черновой принимает Нина Овчинникова. Она помоложе товаров, но тоже со стажем — четырнадцатый год на переправе.

— С ней так было, — доверительно наклоняется ко мне Анна Акимовна. — Она, значит, на вахте, а пьяный куражится: "Прыгну в воду, спасать будешь?" И прыгнул. Она — за ним...

Пока я у переправы, каждое судно успело уже раза по два, по три обернуться между берегами. Подходит "СТ-250". Капитан, как видно давно приметивший, что какой-то человек мешает контролеру, окликает:

— Анна Акимовна, гляжу, к тебе все с разговорами да с разговорами. Уж не сватается ли?

— Да вот, Василий Прокопьевич, человек интересуется... — А сама шепчет мне: — Вы с ним разок через Волгу сходите, не пожалеете.

Капитан на "СТ-250" сам стоит у штурвала. Теплоход наискось пересекает Волгу. На реке тесно, глядеть надо в оба.

— В войну-то? Да здесь же, на переправе. Шестнадцать деревянных катеров было, по номерам шли. На "Тринадцатом", стало быть, Павел Иванович Колшенский, а я на "Шестом". А что рассказывать? Возили, и все. Войска возили. Я-то недолго, нас перебросили на переправу в Бекетовку, а Павел Иванович здесь шуровал. Гибли, конечно, тонули, не без того. Так ведь война. Быкова — капитана — при мне убили. У берега мы были. Ну, налет, мы в воронку, он под бревна подмостился, думал, надежнее. А бомба рядышком, как раз в бревна.

Василию Прокопьевичу Машихину шестьдесят. На Волге с 1929 года, начинал на стареньком "Геркулесе", где было такое огромное штурвальное колесо, что, кроме двоих рулевых, к нему ставился специальный "помогатель". Вот Машихина и поставили "помогателем" — парень был рослый, сильный.

На кителе у капитана — планки: орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени, сталинградская медаль, медаль "За победу над Германией". Заслуженный речник — и на переправе?

— А что на переправе? Ведь переправа-то где? В том же самом месте, что и осенью сорок второго.

...Я ходил на дебаркадер в разное время. И всегда народ. И все торопятся. Нервничают. Особенно по утрам, когда едут на работу. Да и вечером охота побыстрее домой. Тут уж не задерживайся, не мешкай: теплоходы — друг за другом.

Начальник переправы Виктор Степанович Дулин занимал на дебаркадере каморку со столом, на котором

стекло растрескалось во всех направлениях. Он показался мне очень молодым, но выяснилось, что на воде Дулин четверть века, ходил и на пассажирских, и на буксирных, был диспетчером.

— Здесь, на переправе, нужен обязательно судоводитель. Не скажу — хороший, не скажу — для руководства, хотя бы для понимания, что к чему.

И он изложил, что к чему. Гидростанция создала сложный режим. Ледостав движется к городу не с севера, как прежде, а от Астрахани. Кромка льда достигает Волгограда обычно к Новому году. Но гидростанция работает, горизонт воды то поднимается, то опускается, ломая лед. Он набивается к дебаркадеру. Надо переставлять, уходить от кромки. А переставить дебаркадер, возиться с обледеневшими чалками, трапами, выкалывать судно изо льда, вести на новое место — это дело не часа и не двух. Бывает, едва переставишь, закрепишь, — лед снова набился. Прошлую зиму меняли позиции двенадцать раз.

Я спросил, кому на переправе труднее всех.

— Всем трудно. Возьмите кассира. У нас Валентина Григорьевна Гончарова проработала семнадцать лет, на пенсию провожаем. Кассир... Вон в театре: "Касса открыта с 12 часов дня". А мы работаем с пяти утра до двух ночи. Или возьмите контролера...

Дулин долго жил в Краснослободске и с юных лет неизменно видел на переправе Анну Акимовну.

— Удивительная память. Всех помнит. У иных не спрашивает, знает, что постоянный билет. Как-то окликает: "Девушка, девушка покажите ваш, у вас не вчера ли билет кончился?" И только на день ошиблась.

Я сказал, что расспрашивал Анну Акимовну про Ягупову.

— Ягупова? — переспросил Дулин.

Он помедлил, видимо, колеблясь: говорить не говорить?

— Трагическая судьба у Марии Ягуповой. Вместе работали после войны на баркасе "Крутец", она матросом, я рулевым. Потом перешла на другое судно. Обманул ее один негодяй, не вынесла гордая душа, наложила на себя руки Мария Ягупова...

И тотчас перевел разговор:

— Да, вот так. Всем не легко на переправе. В Краснослободске сейчас двадцать пять тысяч жителей, многие там живут, а работают на этом берегу. По местным пассажирским перевозкам наш порт — первый на Волге. Даже Горький далеко отстает.

Я вспомнил слова Дулина: кромка льда обычно приходит к Волгограду под Новый год. Подумалось, у всех праздник, а на переправе... Как было, например, в нынешнем году?

— Да примерно, как всегда. Телефона у меня на квартире тогда не было. В семь часов звоню с ближайшего диспетчеру. "Все хорошо". Звоню в десять: "За тобой послан нарочный, обстановка резко ухудшилась". Прибегаю. Кромка льда уже выше переправы. Один теплоход застрял посередине Волги, другой — пониже переправы, третий крутится пока на чистой воде. Сел на "Озерного", начал действовать.

— И пропал Новый год?

— Новый год? Да я домой только к ночи третьего января вернулся. Не я один, все наши. Спали эти трое суток не очень... Переставили дебаркадер, отдохнули часа два — а кромка опять передвинулась, начинай все сызнова. Так до вечера третьего числа. Но перебоев с переправой не было. Задержки, верно, были. За это нас городские власти и ругают. И пассажиры, конечно, обижаются. Правильно обижаются: какое им дело, что снег валит, что лед, что туман. Раз поставили тебя на переправу — давай вози по графику, по расписанию.

Мы разговорились на скамейке в сквере перед Домом солдатской славы. Мой собеседник сказал, что он не коренной волгоградец, осел здесь после войны, когда вышел из госпиталя. Начали с зелени, с того, что она очень украсила город. Он спросил, приходилось ли мне бывать здесь раньше. Услышав утвердительный ответ, сказал в раздумье:

— А все же ошибку мы сделали, оставив лишь мельницу такой, как была она после битвы. Надо было сохранить два-три разрушенных квартала в разных местах. Но психология какая была? О битве весь мир слышал, и вот через пять, через десять лет приезжают люди, а город поднят из руин, стоит, красавец, лучше прежнего! Это больше всего и удивляло. Но прошла четверть века. И домов таких, как у нас — даже лучше, — всюду настроено много. От руин же, от славных, кровью политых — одна мельница. С чем сопоставить новое, современное?

Взгляните вот на Дом Павлова, или, как теперь говорят, Дом солдатской славы. Картинка, верно? На Мамаевом кургане памятник величественный, слов нет, но не заметно на том кургане среди скульптур и аллей подлинного, перепаханного снарядами, начиненного железом уголка земли. Не засажен, не благоустроен только самый спуск к Волге. Может, воссоздать, пока не поздно, хотя бы там все как было? Сейчас еще следы битвы остались, участники боев живы, у них в память каждый бугорок врезан.

Или, может, так сделать: вот вам Дом солдатской Славы, а рядом, на Щите, увеличенный снимок, каким он был сразу после битвы. И на универмаге, где в подвале фельдмаршала Паулюса взяли, и в других местах. Чтобы героическое всюду отчетливо проступало. И обязательно



документально. Ведь простое дело! А будет действительно наглядно. Говорят: хотите видеть, каким город был после битвы, пожалуйста в музей. Во-первых, музей пока мал, тесен — новое его здание строят как раз рядом с мельницей. Во-вторых, вчера ты посмотрел Дом солдатской славы, сегодня — его старый снимок. Или наоборот. Разрыв получается. А надо — наглядно: вот и вот, сравнивай и убеждайся.

Да, так вы говорите, зелень украсила город? Верно, березка, серебристая ель, а рядом каштаны, белая акация, туя, катальпа. В общем, юг и север. Приезжие думают, что так всегда было. А ведь климат у нас жесткий. Полупустыня рядом. За каждой березкой особый уход нужен, погибает она без ухода. Вот белые акации в мороз вымерзли, пришлось корчевать. Тысячами корчевали и снова сажали. У нас каждую тую в морозы укутывают, серебристую ель в жару прикрывают. Замечали, на склоне к Волге, где камень да глина, цветет шиповник? Махровый, будто роза. Так ведь каждый куст в особой лунке, в ней привозная земля, с утра ее поливают, без полива все сгорело бы.

Нет, если бы моя воля, я бы гостям нашим город в контрасте показывал. Вот после боев, вот — сегодня. Чтобы на каждом шагу история сама говорила. Чтобы ее видно было. И с нынешним днем таким же образом. У какой-нибудь березки — табличка: чтобы вырастить это дерево, потребовалось сделать то-то и то-то.

\* \* \*

Уже с далеких подступов к городу видна она, поднявшая меч над Мамаевым курганом. Видна то голубоватым силуэтом в солнечной дымке, то высветленной на клубящихся темных тучах. Из ночи ее выхватывают лучи прожекторов.

Она непривычна для сложившегося даже по плакатам военных лет образа Родины и образа Матери. Это Родина-Воительница. Родина-Возмездие. Родина-Освобождение.

Наверное, такой и должна была поднять ее над собой сталинградская земля, истерзанная и разъяренная, земля, беспощадная к беспощадному врагу. Наверное, такой и должна была вспоить ее Волга, израненная снарядами и бомбами, Волга, над которой стлался дым и смрад невиданного пожарища, Волга сталинградских переправ, дни и ночи слышавшая стоны раненых и захлебывающиеся крики тонущих.

Был довольно серый субботний денек, к причалам города с утра подошли всего два теплохода. А на курган шли тысячи, многие тысячи. И на лестницах, и на дороге, поднимающейся к вершине бывшей высоты "102.0", двигались люди, и поток этот можно было сравнить с тем, что медленно течет у кремлевской стены по Александровскому саду, потом на Красную площадь, к Мавзолею.

Это не были и не могли быть только приезжие. Я спрашивал наугад — было много волгоградцев, не раз поднимавшихся на курган. У одних гости, надо им показать, у других за зиму подросли дети, были здесь несмышленышами, теперь многое поймут. Третьи шли "просто так", от душевной потребности, а может, от желания как-то очень зримо ощутить себя жителями города действительно героического и всемирно прославленного.

Было много старушек, шедших, быть может, к земле, на которой пал сын. Было почему-то много казахов, шли они с детьми, и незнакомая речь заставляла оглядываться. Или казахов было не так уж много, но они сильнее выделялись в толпе. Было немало солдат, очень подтянутых, праздничных, со значками отличий и Ленинской юбилейной медалью. Они

фотографировались тут и там, взволнованные, возбужденные своей пусть дальней причастностью к героям, изваянным в стенах-руинах.

Мне показалось, что здесь невозможно искать сюжеты. Я не мог прервать долгое молчание человека на костылях, стоявшего у памятной плиты командира танковой бригады Сталинградского тракторного завода Николая Вычугова. Плита лежит высоко, неподалеку от вершины кургана. Человеку на костылях подняться туда было трудно, он сошел с дорожки, вытер пот, встал к плите, стоял долго. Я оглядывался, а он все стоял, потом медленно заковылял вниз, навстречу поднимающимся на курган.

Не смог я расспрашивать и старух, утиравших глаза подле фигуры матери, склонившейся над погибшим сыном.

Люди на возрасте, семь человек, явно однополчане, чуть под хмельком, пришли сюда, вероятно, после встречи. Они чувствовали себя как-то неуловимо похотейски, с правом говорить громче других, сниматься у стен-руин по-солдатски, на вытяжку. И у пятерых среди орденских планок были медали за Сталинград, а двое пришли без пиджаков, в теннисках, но судя по тому, что их вытаскивали на первый план, были немалые заслуги, да и медали тоже и у них.

Вход в зал Воинской славы. Под бетонными сводами прохлада и буйное, ликующее чириканье воробьев, устроивших здесь множество гнезд.

Не огромная рука с факелом, где колеблется пламя Вечного огня, а символические знамена с тысячами имен героев, погибших за Сталинград, особенно впечатляют в этом зале. Многие ищут имена знакомых. Но трудно, очень трудно это! Рябит золотая мозаика, имена начинаются высоко под потолком и сбегают вниз по тридцати четырем символическим полотнищам. Они не везде по алфавиту. Я долго искал погибшего в снегах

под Сталинградом своего земляка Сергея Савинича. Было много Савиных, Савельевых... Нет, не нашел... Но, может, пропустил...

В самом низу одного полотнища, как видно, позднее прибавлена фамилия: "Сан. инструктор Качуевская Н.". Вспомнилась короткая московская улица имени Наташи Качуевской, бывший Скарятинский переулок. Там мелькнуло название на табличке, которое равнодушно называют таксисту. Здесь, в ряду других десяти тысяч, оно звучит скорбью и славой.

Портрет Наташи Качуевской есть в Музее обороны. Миловидная, хрупкая девушка в берете, постаравшаяся придать лицу выражение решительности. Студентка института театрального искусства в Москве стала санитарным инструктором 150-го стрелкового полка 34-й гвардейской стрелковой дивизии. 20 ноября 1942 года в бою у села Халхута вынесла с поля боя семьдесят раненых, вынесла с их оружием. Двадцать нужно было немедленно вывезти в ближний тыл. Наташа Качуевская сопровождала подводы. Неожиданно появились гитлеровцы. Наташа укрыла раненых в блиндаже, отстреливалась до последнего патрона, подорвала двумя гранатами себя и метнувшихся к ней немцев.

Всего лишь строка на одном из тридцати четырех знамен-полотнищ, где строки — до потолка...

Не все поименованы. Не все. И на одной из сероголубых символических памятных плит, что лежат вдоль тропы, ведущей из зала к вершине кургана, черные буквы: "Имена не установлены. Вечная слава!"

Плиты, плиты... Черные траурные буквы — и вечная слава! Рядом помянуты герои-генералы Степан Гурьев и Леонтий Гуртьев, командир медико-санитарного звена Евдокия Дмитриева, гвардии младший лейтенант Василий Кочетков...

Это тот Кочетков, взвод которого оборонял высоту у хутора Дубового, отбил семь атак гитлеровской пехоты,

поддержанных двенадцатью танками; когда кончились боеприпасы, Кочетков, а за ним еще четверо героев бросились с гранатами под вражеские машины.

Плита: старший сержант Максим Пассар. Его снимок тоже есть в Музее обороны. Знаменитый снайпер-напаец, по обычаю своего лесного народа, сидит на поджатых ногах. Так сидят у таежных костров охотники за белками. Максим Пассар уложил 237 гитлеровцев.

Плита: морской пехотинец Михаил Паникаха. Сохранился лишь его портрет "в гражданке": кепка, белая рубашка, галстук. Он похож, пожалуй, на молодого Маяковского. 2 октября 1942 года подле завода "Красный Октябрь" Михаил Паникаха, приподнявшись над окопом, взмахнул бутылкой с горючей жидкостью, намереваясь зажечь ею вражеский танк. В эту секунду пуля разбила бутылку. Охваченный пламенем, Паникаха живым факелом вскочил на танк и второй бутылкой ударил по решетке моторного люка.

Плита: сталевар завода "Красный Октябрь" Ольга Ковалева. Героиня, павшая во время контратаки истребительного батальона, похоронена возле главной проходной своего завода. Над ее могилой — скошенный прямоугольник из стали, тускло светящийся в тени тополей. Там на барельефе Ковалева коротко, по-мужски подстриженная, с резкими чертами лица. Такова она и на снимке предвоенных лет, где фотограф снял ее у мартена, в кепке и спецовке. А на заводе хранят депутатское удостоверение Ковалевой. Там миниатюрная фотография женщины с добрым, немного утомленным лицом, и никто бы не сказал, что она — сталевар.

Еще и еще имена на памятных плитах.

С вершины кургана виден город. Те, кто бился здесь, те, кто poleg здесь, города не видели — его уже не было, он лежал в дымящихся руинах.

Город огромен. Его нельзя окинуть взглядом. Он исчезает, растворяется в дымке. Видна плотина гидростанции, сбрасывающая весенние полые воды. Виден новый город Волжский. Все новое, кроме Волги.

Ее, Волгу, защитники высоты "102.0" видели не в весеннем солнечном разливе, — в дыму, в огне. Волгу, за которой для них земли не было.

\* \* \*

Фрэнк Бруно Хоней проиграл, покинув в свое время Америку ради Советского Союза. Подумайте, у него до сих пор нет собственной "Волги" или хотя бы "Запорожца". Он, не будучи безработным, а, напротив, усердно работая, узнал в нашей стране, что такое голод. В Америке ему не пришлось бы бросать место, к которому он привязался, бросать дом и уезжать в другой конец страны из-за того, что полюбившийся ему город был почти стерт врагом с лица земли.

Да, Фрэнк Бруно Хоней, с точки зрения американского обывателя — а может, и не только американского, — совершил в свое время ошибку, отдав солидный, чтимый полицейскими всех стран паспорт с изображением орла на гербе и получив взамен советский.

...Фрэнк Бруно Хоней смотрит из окна своей квартиры на проспект, где шелестят тополя и шины, прислушивается к волжской перекличке:

— Как можно — в Москву? Все мои друзья здесь, мой завод здесь.

В Москве у него внучка Танечка, как видно любимая. Зовет деда. Но Фрэнк Бруно Хоней не хочет в Москву. Его место в Волгограде.

Москва Москвой, а как же с Америкой?

— В сорок шестом году мне пишет брат: приезжай. Хорошо, можно приехать. Получаю паспорт, визу. Говорят: нужна, кроме советской выездной визы, американская въездная. Брат пишет — нет проблемы. Жду. Проблемы нет, визы тоже нет. Снова пишу брату: если хочешь, чтобы я приехал, хлопочи там, у себя. Брат пошел куда надо, говорит: отвечаю всем своим имуществом, что мой гость никакой агитацией заниматься не будет, повидает родных и уедет обратно. Готов все имущество внести в залог. Говорят: "Нет". — "Почему?" — "Он опасный, он коммунист, был у большевиков комиссаром на большом заводе". И не дали визы. Больше я не пытался.

— Жалееете?

— Конечно, любопытно было взглянуть, как там у них.

Я знаком с Фрэнком Бруновичем — так зовут его волгоградцы — совсем недавно, а кажется, будто знаю давным-давно. С тридцатых годов. С первых наших больших строек, на которые приглашали тогда иностранных специалистов.

Они приехали — и размежевались. Вероятнее, впрочем, они размежевались еще до того, как приехали.

Одни подписали контракт, потому что в Советском Союзе хорошо платили. Валютой, золотом. Этим людям было безразлично, на кого работать. Они знали дело и выгодно продавали свои знания, даже гордясь тем, что сумели подняться выше политических предрассудков и пошли на службу к большевикам.

Другие ехали со святой верой, со страстным желанием работать на первое в мире государство рабочих и крестьян, на идеал, ради которого падали под пулями парижские коммунары, ушли на эшафот герои Хеймаркета в Чикаго, погибли тысячи и тысячи русских революционеров.

Первые, работавшие только ради валюты, не интересны. Вторые... Ну что ж, им пришлось не легко. Очень не легко. Не миновали их наши беды. Ко многим из них судьба была жестокой. Иные разочаровались, стали отступниками, вернулись к сравнительно сытой кормушке, отрекшись от былых заблуждений...

В доме Фрэнка Бруновича я помолодел на сорок. В его квартире — дух тех далеких лет. Нравственная атмосфера, памятная и дорогая по первым встречам с людьми "оттуда", но оказавшимися своими, удивительно близкими нам.

Атмосфера эта — не от деклараций. Ничего Фрэнк Брунович не декларирует. Он вообще не очень разговорчив. Пожалуй, больше рассказывает Антонина Трофимовна, жена, бывшая учительница, общительная волжанка. А тут еще нашлись у нас с ней общие знакомые в Сибири... Антонина Трофимовна рассказывает, Фрэнк Брунович тянет свое:

— Ну зачем это... Не интересно это.

О его жизни мне известно кое-что из книги "Я уехал из Америки". Издана она на Волге. Подошел к первому книжному развалу. Продавщица коротко: "Давно распродана". А рывшийся тут же, как видно, местный книголюб добавил: "Попробуйте в букинистическом. Но вряд ли". Пришлось читать в библиотеке.

Я знал, что Фрэнк Бруно Хоней, американский инженер, еще юношей связал жизнь с социалистическим рабочим движением. В 1919 году он был во главе комиссии, обратившейся в сенат и к президенту Вильсону с требованием прекратить американскую интервенцию против Советской России.

Он поехал к нам, чтобы увидеть все своими глазами. Это было весной 1930 года. Хоней подписал годичный контракт: посмотрю, поработаю, уеду.

Он не был безработным у себя на родине. Не был и отрезанным ломтем. Был женат, имел детей. У него



были доллары, припасенные на черный день, собственный дом и автомобиль. Да, уже тогда, сорок лет назад, был автомобиль.

Он уезжал, чтобы вернуться в Америку через год.

Вернулся через одиннадцать месяцев. Уговорил жену, с трудом уговорил, поехать в Сталинград вместе с детьми. Только на один год, потом они вместе вернутся в Америку.

Пока жена нехотя собиралась в дальнюю дорогу, муж мало помогал ей: ему не давали покоя, приглашали в рабочие клубы. Он рассказывал там о Советском Союзе.

Видел ли он все, что встретил тогда на Волге, сквозь розовые очки мечтателя?

— Я приехал, и я, конечно, не знал языка. У меня была переводчица. Я обучал русских парней, как надо работать на станках. Это были парни из деревни. Они хотели знать много, но знали очень мало. И вот в один из первых дней парень с грубым голосом останавливает станок, другой тоже, третий за ними. Я — к переводчице: "Почему?" — "Мы делаем перекур десять минут". — "Почему?" — "А по советскому закону". Я подумал, будто действительно есть такой закон. Парни обманули меня. Но я об этом не рассказывал в Америке. Я понял, что это было мальчишество. На другой день они сами сознались, что такого закона нет. Я рассказывал в Америке о других советских законах. О настоящих законах. И это были очень хорошие для рабочих законы.

Фрэнк Бруно Хоней вернулся на Волгу с семьей. Жене здесь ничего не нравилось. Ей не нравилось здесь еще до того, как она приехала, она была недовольна Россией еще в Америке. Начались стычки. И однажды она сказала: "Ну, вот что, завтра готовь мне визу, не хочу я здесь жить". Сыновья — старшему было тринадцать — тянулись к матери, они еще не обжились

на новом месте, тосковали по бейсболу, им был непонятен язык.

Они уехали. Хоней остался. Ему поручили обучать "семитысячников", комсомольцев, добровольно приехавших на стройку, чтобы стать тракторостроителями.

— Ребята были дурно одеты. Многие в лаптях. Ну, обед. Бегут к кипятку с кружками, с кусками хлеба. Черный хлеб, густой, липкий, тяжелый. Я спрашиваю — почему не в столовую? А там, отвечают, одна бурда, тот же кипяток, только с листьями капусты. "Так каждый день?" — "Нет, иногда с картофелиной". Жили в бараках. Холод, парни собираются в группу и так спят, чтобы теплее было. Ночью крик: "Вставайте, оборудование прибыло! Давай, давай!" И встают среди ночи, идут разгружать вагоны. Давай, давай!

Мистер Хоней к негодованию своих американских коллег в 1931 году отказался получать валюту, сказав, что хочет жить на советские деньги, как советский инженер.

Вскоре произошел случай, еще более обособивший Хоней от тех, кто к нам приехал ради денег. Токаря Робинсона, американца, негра, избивали в столовой другие американцы, белые.

— Он был тогда боязливым парнем, этот Робинсон. Я узнал, побежал к нему: кто бил? Он не говорит, боится, ведь я тоже белый. Но я сказал ему: ты не бойся, здесь есть закон, который охраняет рабочего. И если кто тронет рабочего, то его будут судить. Тогда Робинсон поверил мне и сказал: "Били Браун и Луис". — "Мы их засудим", — ответил я ему. Их действительно судили, суд был в кино "Ударник", длинный такой одноэтажный дом. Безобразников выдворили прочь из страны в двадцать четыре часа. А Робинсон получил советский паспорт, он поступил потом в институт и стал инженером.

Фрэнк Бруно Хоней, американский коммунист, тоже принял советское гражданство. Тракторный завод стал его заводом. Однажды его увезли из цеха почти в беспомощности: он заболел брюшным тифом. Думал, что не выживет, его друга только что унесла эта болезнь, могильный холмик был еще свежим. Но Хоней выжил; а пока лежал в больнице, понял, сколько у него друзей. Навещали его знакомые и незнакомые, просто заводские ребята, узнавшие, что "их" американец — в больнице. Потом он поехал в санаторий, и опять провожать его собралась масса людей, и он сказал тогда, что ему оказывают почести, как наследному принцу.

Но были, конечно, не только почести и праздники, бывало трудно, например, когда его вместе с частью рабочих отправили из осажденного врагом Сталинграда в Барнаул. Как только появилась возможность вернуться в разрушенный город, он тотчас приехал на Волгу, мыкался вместе со всеми, потом устроился в маленькой квартирке, где обитало тринадцать человек. Он долго жил там, не докучая никому просьбами: ведь на заводе было много нуждающихся в жилье, притом с маленькими детьми.

— А судьба той, прежней вашей семьи?

— Жена умерла. Дети? Да, мы переписываемся. Один техник на заводе Крайслера, другой штамповщик.

Товарищ Хоней на пенсии, но на заводе. Он теперь консультант технической библиотеки, переводит английские и американские журналы, помогает переводить другим. И уже ушел на пенсию один из первых его учеников Федя Невежин, ушел уважаемым мастером пружинного цеха.

Нет у Фрэнка Бруно Хоней ни своей виллы, ни собственной автомашины, ни долларов. Есть свой завод, на котором он выпускал когда-то первые машины и который успел уже торжественно проводить за ворота миллионный трактор. Есть свой город, куда со всего

света приезжают люди, чтобы увидеть, где была одержана великая победа на Волге.

\* \* \*

На исходе морозной зимы 1950 года в городе было еще много руин. Тянуло дымком из труб железных печек, торчащих среди груд битого кирпича. Некоторые жили в землянках, в расчищенных подвальных этажах. Запомнилась табличка "Жигулевская, 13", написанная от руки на куске жести, прикрепленном к торчащей из фундамента балке. Ветер раскачивал висевшие на проволочном каркасе обломки бетонных стен. Снег возле них был покрыт, как ржавчиной, пылью разбитых кирпичей. У восстановленного универмага, в подвале которого был пленен фельдмаршал Паулюс, два верблюда скалили желтые зубы. Универмаг одиноко стоял на площади, расчищенной от развалин.

Дорога к изыскателям Сталинградской ГЭС шла вдоль правого берега Волги. Миновали Тракторный завод, городские окраины, потом тряслись по разбитой степной дороге.

Изыскатели поставили бревенчатые домики в поселке Рынок, там, где у берега над братской могилой виднелся деревянный обелиск с жестяной красной звездой на вершукше.

С начальником изысканий Леонидом Александровичем Припотнем мы, переправившись через Волгу в степь, добрались до полевой базы экспедиции: несколько фанерных будочек на полозьях, бочки с горючим, большая палатка с сиротливо хлопающими на ветру брезентовыми ставнями.

— Между прочим, это место намечаем под город, — сказал Припотень.

Ну и выбрали! Мертвая степь. Внизу, прикрытый льдом, волжский рукав — Ахтуба.

— Не нравится? — спросил мой спутник.

Мне оставалось только неопределенно развести руками.

На другой день я был в управлении строительства Сталинградской гидростанции. Временно его разместили в школе. Прокуренные грязные коридоры были полны: люди отовсюду съезжались на стройку. Федор Георгиевич Логинов, начальник строительства ГЭС, сказал:

— В двух словах: готовим тылы. С этого начинается и всякое наступление, и всякая стройка, а большая — в особенности. Хорошие дороги — это первое. И, конечно, жильё.

Он подошел к карте:

— Вот, говоря словами поэта, здесь будет город заложен.

Он ткнул карандашом то место у Ахтубы, где накануне мы были с Припотнем.

Логинов мне ужасно понравился. Крупный, сильный, уверенный в себе человек. Я знал, что он еще подростком ушел в армию, дрался с Врангелем, потом стал инженером-гидротехником, работал на Днепрогэсе, занимался изысканиями в верховьях Волги, после войны опять попал на Днепр — восстанавливать разрушенную гитлеровцами гидростанцию. Человек первых пятилеток, коммунист, прирожденный строитель. И вот теперь Сталинградская ГЭС, великая стройка коммунизма...

После первого знакомства я часто бывал у строителей, однако все больше в котловане, на главных объектах. Но как-то, встретив Логинова, собиравшегося на "объезд епархии", напомнил ему про город. Он кивнул:

— Заглянем и туда.

Вдоль берега Ахтубы вытянулись первые кварталы кирпичных домов. Рядом поднимались стены большого здания.

— Дворец культуры. Достроим — пригласим Дормидонтыча. Ну, Михайлова, Максима Дормидонтыча, народного артиста. И Гмырю. Думаю, уважат строителей, приедут на открытие. А дворец у нас на веселом месте. — Логинов вынул записную книжку и мигом набросал план. — Вот здесь, напротив, заасфальтируем площадь. От нее пойдет к Ахтубе Фонтанная улица. Поставим посередине фонтаны. А дальше — стадион...

Над степью поднимались стрелы экскаваторов. По дорогам торопились самосвалы, и густая пыль держалась там, где Логинову виделась Фонтанная улица. Было лето 1952 года.

...В углу, отгороженном шнуром, стоит огромный письменный стол, величественный, как саркофаг, но весь исцарапанный и испятнанный. И кресло такое же, громоздкое, продавленное, потертое. Рядом с чернильным прибором из пластмассы — телефон, где в середине диска вделана фотография Советской площади в Москве. Я помнил, что фотография была, но тогда не разглядел ее.

Тут же, в музее соседнего с Волгоградом большого города Волжского, большой портрет хозяина стола, кресла и телефона. Под портретом — две даты: 1900-1958.

Федор Георгиевич Логинов умер уже после того, как гидростанция была почти достроена. Мне кажется теперь, что при всей деловитости, даже суровости, был он в душе мечтателем и романтиком. Увлекался интересными, умными, смелыми людьми, новыми идеями, А если идея до конца захватывала его, осуществлял ее с завидной волей и упорством.

Такой его идеей был Волжский. Город без окраин. Город без времянок. Город, удобный для жизни. Город не "потом", а сразу, одновременно со стройкой гидростанции.

В музее есть записная книжка Логинова — обыкновенная тетрадка со скрепкой, плохая желтая бумага. Именно такую он и вынимал обычно из карманов своего просторного полотняного пиджака во время объездов стройки.

В книжке — конспект его выступления на партийной конференции: "Коллектив Сталинградгидростроя пришел со значительными (слово "значительными" — зачеркнуто), с некоторыми достижениями". На этой конференции Логинову изрядно досталось за "недостаточно оперативное использование техники" (часть самосвалов по его распоряжению возила землю на стройку стадиона в будущем городе).

Музей в Волжском — на зеленой улице с фонтанами. Она идет ко Дворцу культуры.

Дворец, как и стадион имени Ф. Г. Логинова, это уже вчерашний центр того города без окраин, который был достроен к пуску гидростанции. Нынешний, новый центр, переместился на площадь Свердлова, туда, где в день торжественного открытия Дворца культуры простиралась пыльная, скучная степь...

\* \* \*

Это было в конце февраля 1952 года, в горячую пору, когда на стройке Волго-Дона сон и отдых считались едва не преступлением. Явно не хватало нескольких месяцев, чтобы привести все в божееский вид, а об этих месяцах не могло быть и речи: канал решили открыть в середине лета.

Сколько я ни заглядывал до той поры в Красноармейский район гидросооружений, строивший шлюзы у волжского входа в канал, мне никогда не удавалось застать его начальника: "только что был", "на объектах", "вызвало начальство". И на этот раз направился к двери просто так, для порядка.

— Товарищ Александров здесь, только он очень занят.

— Но я на минуту.

Контора начальника района помещалась в неказистом домике, хотя новый поселок поблизости уже достраивался. Сейф, карты, снимок закладки шлюза, изрядно обшарпанный стол.

— Странная идея, — удивился Александр Петрович, услышав, что я собираюсь пешком пройти всю трассу по дну. — Сто один километр — не расстояние, конечно, но цель-то в чем?

Я стал говорить, что такое путешествие через некоторое время не сможет повторить уже решительно никто.

— Странная идея, — повторил Александров. — Допустим, что повторить его никто не сможет. Ну и что?

"Человек без романтики", — мысленно вынес я приговор. Хмурый, недовольный чем-то.

— Видите ли, я хотел бы подробно рассказать в своей книге о новой трассе. Сейчас, до прихода воды, можно не спеша осмотреть все сооружения.

— Вот это другое дело. Тут я вам помощник.

И без промедления подвел меня к схеме.

— До конторы вы, полагаю, по руслу уже прошли, так? Откосы видели? Верхний пояс мы не мостили еще, но пассажир увидит его замощенным. На этом участке канала строится причальный пункт. Следующий участок — плавные кривые...

...Двенадцать лет спустя, в Асуане, накануне перекрытия Нила, главный советский эксперт



строительства Высотной плотины при нашей встрече вспомнил, как я путешествовал по дну канала, но добавил, что ему почему-то так и не пришлось прочесть описание этого увлекательного путешествия. Я сознался Александру Петровичу, что впечатления от плавных кривых и стоявших еще на сухом месте причальных пунктов, которые остались у меня после пешего похода, могли пригодиться лишь для написания путеводителя. Канал без воды был скучен, некрасив, мертв.

Зато как памятен мне первый рейс — не многократно описанный рейс волжского флагмана с именитыми гостями, а пробный, служебный, по только что наполненному Волго-Дону! Это был рейс теплохода "Сергей Киров", и вел его капитан Андрей Иванович Бело-дворцев, представитель старой капитанской гвардии. "Командовал парадом" видный гидротехник Пантелей Васильевич Черевко, возглавлявший придирчивую комиссию.

Судно пошло к триумфальной входной арке. Там еще висели кое-где строительные леса. Сотни молотков звонко цокали по камню. На страшной высоте мелькали белые халаты лепщиков. Вокруг арки в степи сажали деревья, привезенные на грузовиках вместе с землей.

Вода напористо, шумно хлынула в шлюз. В глубине металась тень испуганных рыб.

За шлюзом я узнал место, где в мае 1952 года, в 1 час 55 минут дня слились воды Волги и Дона. В водоворотах пены кружились тогда щепки, солома, разный строительный мусор. Охотники искупаться сразу в двух реках ныряли в мутный поток. Другие набирали воду в бутылки — на память.

Пока теплоход стоял в другом шлюзе, к нам на палубу посыпались сверху, с берега, люди. Никто не спрашивал у них билетов. Это были начальники строительных участков, инженеры, техники. Сколько недель они недосыпали и, уж конечно, не надевали

парадных костюмов! Но теперь помятые, пахнувшие нафталином пиджаки были вынуты из чемоданов. Белые рубашки оттеняли дубленые степными ветрами сияющие лица. Праздник!

Вот толстяк, прыгнув на палубу, попал в объятия к своему приятелю.

— Сдал? — спросил тот.

— Автоматику? Спыхватился! Три дня назад сдал.

Это о шлюзе, о его автоматических устройствах.

Я смотрел на шлюзовые башни и вспоминал сочившийся водой котлован. Охрипшие от простуды люди крушили резиновыми сапогами лед на дне. Вода, вода, вода... И это в полупустыне, где днем с огнем не сыщешь ручья или колодца. Но копни поглубже — вода. Ведь даже в знойной Сахаре есть обильные подземные источники.

Котлованы окружали кольцом скважин. Насосы высасывали воду с глубины и выливали ее подальше. Выливали много, по озеру в месяц. Но вода все же находила лазейки. Рушились подмытые буровые вышки. Двигались оползни, и один из них, самый грозный, залил жидким месивом половину готового котлована вот этого самого, третьего от Волги шлюза.

Среди тех, кто воевал с этой жижей, были и два инженера, встретившиеся на палубе теплохода.

— Надоела степь?

— Я ведь уралец, таежник. В степи мы свое сделали. Помнишь, у нас говорили: "Приняли степь — сдадим канал"?

Шлюзы на волжской лестнице стоят тесно, близко друг от друга. Мы быстро "шагали" вдоль линии белых башен к гребню горы. Сзади — ширь равнины, блеск воды в канале и облака над Волгой.

На водоразделе был дикий, фантастический пейзаж: беспорядочно набросанные холмы красноватой и желтой глины. Это натворил большой шагающий экскаватор.

Я попал в кабину "большого шагающего" зимой в начале стройки. В те годы экскаваторы-гиганты казались загадочными, чудесными машинами. Особенно поразила меня стрела "большого шагающего". Точно ствол сверхдальнобойного орудия, она выдавалась на десятки метров вперед-вверх. По стреле проходила дорожка со множеством ступенек. Вдоль нее стояли матовые электрические фонари на столбиках, похожие на уличные.

— Проспект! Прогуливаться можно, — рассмеялся шофер.

— Много не погуляешь, — возразил наш спутник, механик. — Конец стрелы описывает круг со скоростью поезда. Наверху — ураган. Сорваться оттуда очень просто, а лететь...

Гулкий металлический трап вел в кабину экскаватора. Там в удобном кресле спокойно, сосредоточенно работал старший. Ничто не грохотало, не скрежетало, не лязгало. Колоссальную машину обслуживала смена в пять человек.

— Вот был случай, — сказал начальник экскаватора. — На собрании прорабатывали одного экскаваторщика. А он вдруг как разгорячится: "Что вы меня, словно мальчишку, отчитываете? Я за тысячу человек план выполняю, а вы мне..."

"Сергей Киров" миновал водораздел. Холмы совершенно мертвые, без единой травинки, остались за кормой.

Несколько строителей устроились потеснее на диване судового салона: надо же сфотографироваться, пока не разъехались на новые стройки.

— А помнишь?

— Еще бы!

Да, бывали у них денечки, от которых в волосах появляются седые пряди. Весной 1951 года, например.

После морозца — сразу до 17 градусов тепла, а затем небывалые ливни. Степь за день получила почти столько осадков, сколько ей полагается в год.

На всем стокилометровом канале загудели сигналы тревоги. Вода прорвалась в котлован шлюза, и люди едва успели выскочить из кабины мигом затонувшего экскаватора. Взрывы кромсали землю, громоздя валы на пути потоков. В лучах прожекторов бульдозеры толкали перед собой грунт. Экскаваторы, застревая в грязи, шли к перемычкам, бросали в промоины ковш за ковшом.

— Помнишь, как Бирюкова выручали? Прошлой зимой, помнишь?

— Как забыть!..

Метель бушевала тогда чуть не двадцать дней. В заносах застревали поезда, шедшие в строительный район Бирюкова. Держась друг за друга, чтобы не отстать, не потеряться, не замерзнуть, в степь выходили люди и откапывали в сугробах рельсы.

Три миллиона кубометров снега были убраны с дорог стройки после этой метели. Разве можно забыть об этом! И о гололедице, которая сменила вдруг январскую стужу, и все вокруг заскользило, забуксовало... И о том, как земля примерзала к кузовам самосвалов... И о многом другом, о чем еще будет рассказано когда-нибудь...

За полночь теплоход миновал тринадцатый шлюз канала. Днем нас качало Цимлянское море. На прибрежных склонах зеленели виноградники. Морские буи кланялись нам.

Когда стемнело, в небе над водой замерцали три звезды — две красноватые, одна зеленая, маяки Цимлянской плотины.

На рассвете мы уже плыли по Дону, куда указали дорогу скачущие бронзовые казаки на башнях пятнадцатого шлюза — последнего шлюза Волго-Донского водного пути.

Останавливались в станицах, и все, кто хотел, приходили к нам в гости и осматривали судно невиданных в этих донских плесах размеров от машины до рубки. Пионеры принесли капитану полевые цветы.

А в Ростове-на-Дону, где мы окончили путь, пришел на теплоход немолодой летчик гражданской авиации. Он привел мать, Прасковью Михайловну. Ей было 94 года. Сын бережно и гордо повел по трапу корабля, первым пришедшего с Волги на Дон, свою старую мать, родившуюся еще при крепостном праве. И матросы, вытянувшись, молча стояли у трапа, а капитан приложил руку к козырьку новой фуражки.

Вартан Арсенович Чмшкян был тогда на теплоходе "Сергей Киров" представителем донских путейцев. Потом его назначили начальником Волго-Дона. Почти двадцать лет спустя мы снова вместе путешествуем по трассе.

У меня странное ощущение: будто канал перенесли в другое место. Он пересекал степь, пыльную, горячую, полынную. Горы вывороченной из недр хвалынской глины были не более плодородны, чем речная галька.

Теперь же шлюзы стояли среди роц, откосы зеленели, как в Подмосковье, и из окон башен, куда мы поднимались, были видны оросительные каналы, поля, сады. Над плантациями проливали искусственные дожди двухконсольные агрегаты, размеры которых наводили на воспоминания о трудившемся в этих местах "большом шагающем".

Да, канал переливал теперь донскую воду в Волгу совсем не в тех берегах, что прежде. Триумфальная входная арка оказалась среди городских кварталов. К ней вела улица Фадеева с салоном для новобрачных и девятиэтажной гостиницей.

Город успел далеко шагнуть через канал, который прежде находился за его окраиной. Теперь я приехал

сюда в электричке, и станция Зakanальная была четырнадцатой от главного волгоградского вокзала. А за ней по другую сторону канала было еще тринадцать, и названия этих станций показывали, чем вызван рост города: Шпалопроритка, Подшипникова, Синтетическая, Химкомбинат.

— Шагаем в ногу с Единой, — рассказывал Вартан Арсенович. — Когда нас строили, не было наших тезок "Волго-Донов", поднимающих пять тысяч тонн. Пришлось для них наращивать все ворота, приспособливать механизмы.

"Единая" — это Единая воднотранспортная система европейской части страны: одинаковые габариты, одинаковые глубины магистральных водных путей, связывающих моря.

— Пассажир не должен у нас скучать, — продолжал начальник канала. — Часть судов проходит здесь ночью. Но мы подсвечиваем разными цветами арки, башни, зелень. Пассажир может убедиться и в полночь, что стены башен действительно отделаны искрящейся мраморной крошкой. Пусть не доспит немного, зато почувствуют красоту канала.

Поселки путейцев были скрыты в фруктовых садах. К ним примыкали садовые участки волгоградцев. Сады тянулись на десятки километров. Я спросил об урожаях.

— Приезжайте к осени, у нас по базарам на килограммы не считают, мера одна — ведро.

Вспомнилась фраза инженера во время рейса "Сергея Кирова": приняли степь, сдали канал. Но сдали в оправе той же трудной для жизни степи. И канал переделал ее. Он поделился с ней водой. Произошло известное человеку с глубокой древности чудо, творимое живой силой орошения.

Лишь красноватый холм глины, нагроможденный "большим шагающим", не сдался лесоведам. По-прежнему гол крутой его склон; но у подножья

поднимались тополя, подальше виднелись домики садовых участков, по откосам канала кустилась трава. Вартан Арсенович припомнил, что семена засухоустойчивых трав и советы, как ухаживать за газонами в полупустыне, еще в первые годы жизни трассы прислал из Астрахани лесовод, умевший выращивать леса на барханах.

— У нас специальный катер поливает берега. Если год засушливый, посадки надо полить пять-шесть раз в лето. И все же есть участки, где деревья так и не могут ухватиться за землю. А вот в Мариновском и у Штепы...

Я слышал о Штепе еще на "Красном Октябре". На канале его поминают то и дело: "Здесь Варваровский совхоз, а это уже Штепа начинается"; "Вон у Штепы новый канал роют"; "Вы знаете, сколько Штепа городу овощей дает?" И Чмшкян тоже сказал: "Мы Штепе ежегодно сто миллионов кубов водички отваливаем".

Виктор Иванович Штепа — директор совхоза "Волго-Дон". Хозяйство выросло на воде канала. Сам Штепа — не агроном, а заводский механик, конструктор. В совхоз пришел с "Красного Октября".

"Волго-Дон", как говорится, "хозяйство у асфальта": от города близко, от начальства близко, делегацию принять удобно. Бывает, что в подобных хозяйствах показное начинает брать верх над показательным. "Вы обратите внимание, какую себе Штепа контору отгрохал", — не без ехидства посоветовал один из его соседей, к которому мы завернули на перепутье.

И верно: двухэтажное здание с большими окнами, просторные кабинеты, на дверях таблички: "Партбюро", "Директор", "Главный инженер", "Кабинет охраны труда", "Главный агроном", "Планово-экономический отдел" и даже, представьте, "Зал заседаний". А внизу, в маленьком вестибюле, стенды: "НОТ в совхозе", "Экономический экран", "Научно-техническое общество совхоза". Не показуха ли?

Но "Экономический экран" отражает новейшие показатели. Совхоз действительно осуществил научную организацию труда на ремонте, введя поточно-узлов ой метод и покончив с сезонностью. Последние годы здесь устойчиво получают 450 центнеров овощей с гектара, сохраняя первенство по Российской Федерации. Совхоз — главный зеленщик Волгограда, дает городу едва ли не сорок процентов овощей.

Хорош у Штепы поселок! Асфальт, аллеи-улицы. А кафе "Березка"! В районе, где я живу в Москве, несколько кафе, но ни одно не сравню с "Березкой". Здесь тоже стекло и пластмасса, ярко, солнечно расписанные стены, но еще к тому же и зелень. И, что не менее важно, не вычеркнута из меню уха, а щи, суп картофельный, жареное мясо, курица, молоко продаются по цене, о которой посетители московских кафе и не мечтают.

Виктор Иванович Штепа коренаст, русоволос. Белейшая сорочка, со вкусом подобранный галстук.

Хозяйство у него трудное, возле водораздела, на ветрах, на малоплодородных почвах. В пятидесятых годах спорили, рентабельно ли вообще орошать — солончаки да сусличы норы. Ту землю, которую в иных местах считают бросовой, здесь возят для теплиц за пятнадцать километров.

С завода в сельское хозяйство Штепа попал, как у нас иногда говорят, в добровольно-принудительном порядке. ("Решайте, конечно, сами, но есть мнение...") Однако он не жалеет о повороте судьбы:

— В деревенской жизни так: большие проблемы, крупнейшие перспективы — и тут же бабка Дарья с обидами на тетку Марью. На заводе директор редко думает, каких врачей приглашать в больницу, где учителей подбирать для школы. А здесь — и это твое дело.хлопотно, но интересно.



Парторг Данильчук говорит, что Штепа принес в совхоз заводской дух, конструкторскую мысль. Директор с этим не согласен: не он принес, это время такое, сельскохозяйственное производство многое берет от индустрии. Другие требования, другие люди. Как раньше было? Хорошо, если у бригадира овощеводов — семилетка. А теперь в совхозе есть бригадир с вузовским дипломом. Кто нынче будет мириться с совхозными бараками? Хорошо работают — должны жить в хороших, благоустроенных поселках, разве не так?

Я спросил, что строит совхоз сейчас.

— Ну, что? Дом культуры на пятьсот мест, бытовой комбинат, универмаг. Тут парнишка один, архитектор способный, чертежник набросал. Сами строим, сами проектируем. Еще коттеджи для специалистов. Центральное отопление, водопровод, замахиваемся на газ. Ну и рядом — гостиница. Школу еще будем строить.

— У вас же и так десятилетка.

— Мала. Дети подрастают. Совхозу образованные люди нужны, Парень из десятилетки за два года догоняет в деле тракториста с пятнадцатилетним стажем. Стараемся молодых приохотить к земле. У нас с жильем туго, но молодоженам — нате ключи! И все-таки многие уходят в город. Знаете почему? Отчасти из-за родителей. У тех старые представления: раз десятилетка — давай в институт. А ведь не всякий на это способен. Иной провалится, назад вернуться совестно, здесь же все друг друга знают. Ну, остается в городе, поступает на работу, женится, сам взрослеет. Он в полях вырос, а попал в химию. Там не везде озон, это известно. Приезжает: примите! Берем! И убеждается человек, что во многих смыслах здесь, в совхозе — как в городе, да плюс преимущества сельской жизни: воздух, огород, сад и вообще приволье.

Может быть, отчасти правы те, кто говорит, что Штепу кое в чем и заносит; наверное, можно было повременить с новой конторой, с универмагом. Но видно, не хочет Штепа откладывать на завтра благоустройство совхозной жизни, строит сразу добротнo, красиво, с размахом.

— Помрем, все народу останется, — говорит он. — Надо какую-то борозду оставить.

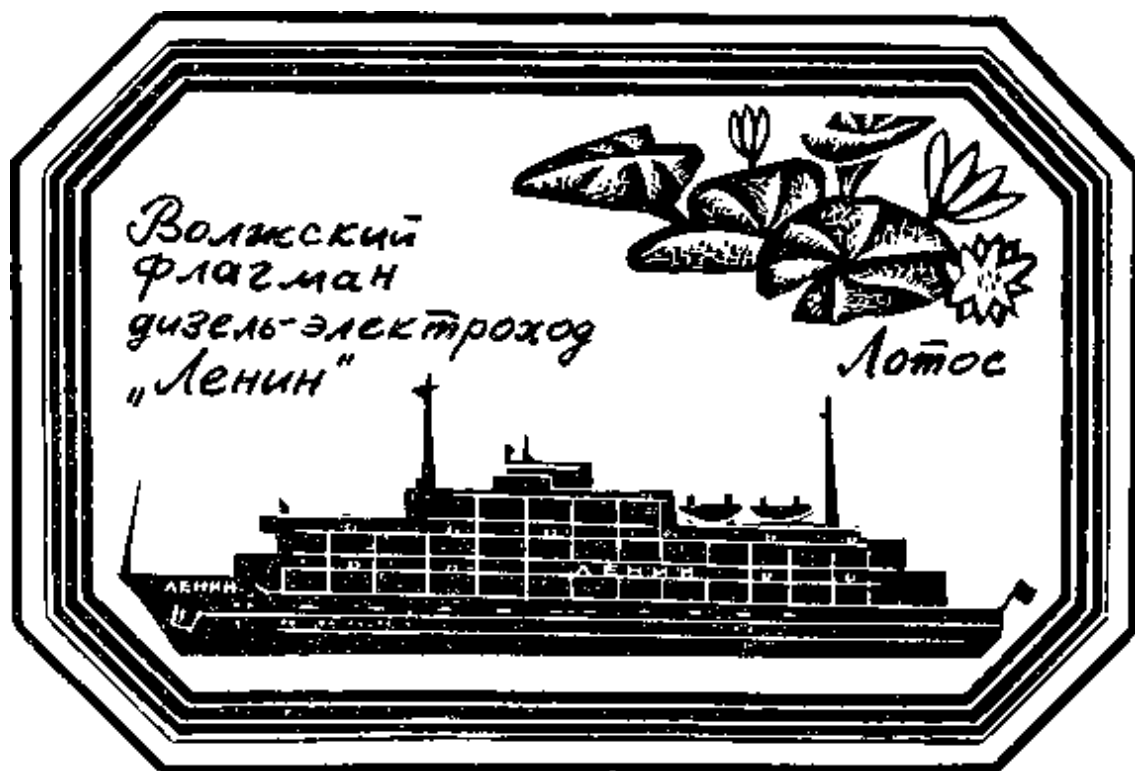
И тотчас, видно, из опасения, что поймут его не так, заподозрят в позерстве, приглашает приехать "на помидоры":

— Чем другим хвалиться не буду, но помидоры у нас...

Поездку по каналу мы закончили на Цимлянском море. Паводок 1970 года был обильный, не то что некоторые предыдущие, когда море превратилось в "Цимлянское полусухое".

Ростры входного маяка чернели в вечернем небе. Высвеченная невидимыми прожекторами, вдали сияла арка над донским входом в канал. Большой теплоход показался из-за дальнего мыса. В вечернем воздухе было слышно гудение тракторных моторов и короткий сигнал судна, готового к шлюзованию.

## По ту сторону нулевой горизонтالي



*Несхожие миры. — Современник мамонта. — Вододелитель, о котором мало знают. — Астрахань и Каир. — Поистине удивительный, баранец, Кораблигерои. — Дом на косе.*

Еще на дальних подходах к Волгограду, возле устья реки Еруслан, Волга ныряет под нулевую горизонталь.

Дальше она течет ниже уровня Мирового океана, спускаясь к лежащему в исполинской глубокой впадине Каспию. До него еще около семисот километров, но левобережные сухие степи и полупустыни на всем этом пути уже ничего не могут дать Волге. Ни одного стоящего притока! И правобережье не расщедрилось. Волга платит здесь солнцу более щедрую дань, чем

собирает сама, она не так полноводна, как сразу после встречи с Камой.

За Волгоградом начинается Волго-Ахтубинская пойма, одна из величайших речных долин планеты. Ахтуба, волжский рукав, почти полтысячи километров течет в стороне от основного русла, но не отдельно от него: протоки тут и там пересекают пойму. В паводок общая долина Волги и Ахтубы, полосой в десять, двадцать, даже сорок километров вклинивавшаяся в сухие степи и полупустыни, принимает колоссальные массы вод и удерживает их до середины лета.

Говорят, теперь в пойме "не то": вот раньше были разливы! Я видел их прежде, увидел вновь весной 1970 года. Нет, Волга еще может себя показать!

В полноводный год здесь безбрежье, безбрежье особенное, живое, меняющееся, в отличие от волжских морей, покойно и устойчиво лежащих в своих границах. Здесь вода — временная гостя лугов и роц.

Пойма — это ил, принесенный рекой, рисовые плантации, сказочное плодородие, помидоры с кулак, капуста с голову при тяжелом тугом кочане, валы, защищающие от чрезмерных разливов, гул насосных станций, радуга у дождевалок, которым со середины лета поручена защита полей от суховеев.

Пристань Каменный Яр. Но где же камень? Дебаркадер у песчаного отмелого берега, опять-таки с полузатопленными деревьями, протоками, заболоченными лугами. Две цапли, синхронно взмахивая крыльями, тянут на лягушиное болото.

Не успел теплоход пристать, как из кустов по тропкам повалили босоногие мальчишки с ведрами, полными крупных раков. А следом за ними — солидные продавцы с легчайшими платками и шальями, говорят, не многим уступающими знаменитым оренбургским.

Раки — товар поймы, ее теплых протоков. Пуховые платки — из степи, из полупустыни, где пастбища

тонкорунных овец и коз с длинным пухом. Здесь эти несхожие миры совсем рядом.

Чуждые спокойному, ленивому раздолью, буйной зелени, тянутся обрывы коренного берега. Это граница. Каменный Яр поставил в пойме пристань, а сам поднялся наверх, в степь.

Оттуда, из степного мира, с разбойничьим свистом налетает вдруг ветер, упругий и горячий. Мгновенно пересыхает во рту, першит в горле. Береговой обрыв загорается без пламени, желтая пыль, едкая, как дым, клубится над его кромкой.

Два несхожих мира. На карте пойма — густая зеленая краска, штриховка, означающая избыточное поверхностное увлажнение. И без всякого перехода, сразу, впритык — рассыпанные по берегу мельчайшие точки песков, ничтожные цифры годовых осадков.

Но всегда ли были так контрастны эти миры приволжских низовий?

Археологи долго искали в сухих степях следы таинственной Итили, столицы хозар, и неожиданно обнаружили их в пойме. Хотя один из хозарских царей X века описывал свою страну как тучную, изобиловавшую орошаемыми лугами, казалось маловероятным, чтобы хозары выбрали для столицы затапливаемую землю.

Но, как теперь доказано, тысячу лет назад Каспий сильно обмелел, Волга разливалась в пойме не столь обширно, в окружающих ее степях климат был не таким суровым, как сейчас. То был период малой солнечной активности, когда особенности движения циклонов таковы, что, получая больше влаги, зеленеют южные степи, а реки лесной полосы, питающие Волгу, напротив, мелеют.

Итак, Итиль оказалась в пойме. Но и в нынешних прикаспийских степях, где растет лишь колючий тамариск, археологи обнаружили следы культуры, современной Риму, и еще более древних культур. Когда

почва из раскопок попала под микроскоп, в ней нашли пыльцу сосны, бука, граба.

Какая сила стерла здесь леса с лица земли? Только ли колебания климата? Не принес ли оскудение XIII век, когда через степи шла конница Чингисхана, неисчислимые стада овец выбили травяной покров, открыв ветрам слой песков, — и пески двинулись, засыпая, хороня зелень.

Золотая Орда позднее поставила свою столицу, Сарай-Бату, в цветущей степи — теперь в тех местах тоже унылые пески полупустыни. Нет, полупустыня не мертва и сегодня. По сокровенным ее уголкам распластываются в неутомимом стремительном беге сайгаки, современники мамонтов и шерстистых носорогов. Эти легконогие антилопы довольствуются влагой, содержащейся в скудной жаростойкой растительности, в полыни и солянках. Но уже и к пастбищам живых ископаемых понемногу добирается человек, уже блестит вода в каналах и на рисовых полях по Сарпинской низменности, где прежде в воздухе стояла пыль от тысячных стад антилоп, фантастически быстрый бег которых породил столько легенд.

Во впадинах Прикаспийской низменности пятнами разных оттенков отсвечивают тысячи озер. Есть белые и аквамаариновые. Есть золотисто-пурпурные, есть красноватые. Их окрашивают крохотные живые существа, которые в соляном растворе чувствуют себя превосходно.

Еще во времена Ивана Грозного открыли в астраханской полупустыне "зело горьку соль", позднее названную астраханитом. Его кристаллы увеличиваются всего на грамм за полвека. Название другого минерала, криогалита, переводится как ледяная, замерзшая соль. Его шестиугольные сверкающие кристаллы, настоящие каменные цветы, образуются только в сильные морозы, а в тепле снова превращаются в соленую воду. В

Астраханском краеведческом музее собрана богатейшая минералогическая коллекция, кристаллы самых неожиданных форм, бархатисто-черные, снежно-белые, прозрачные, янтарные — и все это соль полупустыни.

Главную нашу солонку — озеро Баскунчак — я видел только зимой. Шел по шпалам железной дороги, положенным прямо на дно озера, вернее, на толщу соли. Слой рапы, соляного раствора, напоминал талую воду, растопленную солнцем на ледяной поверхности. Кое-где виднелась пена — розоватая, легкая, окаменевшая пена: ударишь — рассыпается в прах. Кустик перекасти-поля, попавший в рапу, казался обледеневшим.

Солесосы, комбайны для добычи соли, подрезали, дробили пласты и, всосав соляную кашу, грузили ее в вагоны. Раствор стекал, образуя сосульки. Машинист солесоса рассказывал про уток, которые, не разобравшись, что к чему, садятся в рапу, пробуют нырять, но взлететь уже не могут: соль связывает крылья, птиц можно брать голыми руками.

Баскунчак отправляет составы к Ахтубинску, на Владимировскую пристань, где соль мелют на мельницах, грузят в баржи; она хрустит под ногами, она всюду, разговоры вертятся вокруг соли.

Замьяны — на песке и в окружении песков, но в тылу у селения — лес, защита от полупустыни. И вдоль берега большой садовый или лесной питомник. А малость подальше дюны подступили к самой Волге, река подмывает их, песок оседает мягко, с легким Всплеском. Смывает река следы обвала, ветер снова подгонит дюны к воде. Вечная, давняя война Волги с полупустыней.

И среди песков же — бетонный завод, перемышка, ограждающая котлован, пожалуй, не меньший, а больший, чем были на стройках великих волжских гидростанций. Это вододелитель.

Тридцать шесть массивных, высоких бетонных быков с затворами для пропуска вод к судоходным пролетам,

громадное сооружение, растянувшееся более, чем на километр! Да плюс плотина — дамба длиной более восьмидесяти километров.

Я видел в Голландии нечто подобное, быки и затворы, сооружаемые по так называемому Дельта-плану для пропуска вод в устьях Мааса и Рейна. Голландцы умело разрекламировали эти работы. О них — книги, проспекты, брошюры. На остров, где возводились основные сооружения, пароходы специально организованной компании возили своих и иностранных туристов. В тот день, когда попал туда и я, остров принимал голландскую королеву Юлиану, довольно часто посещающую его. И снова газеты, воспользовавшись случаем, писали о величественных сооружениях Дельтаплана.

А как много людей знают у нас о волжском вододелителе? Промелькнет иногда короткая заметка — и все. Привычка к большим стройкам перешла, увы, едва ли не в равнодушие.

Вододелитель же не только громаден даже в масштабах семидесятых годов, не только интересен в инженерном смысле, но и касается каждого из нас, суля прибавку рыбных блюд к обеду.

С волжской и каспийской рыбой у нас еще далеко не все благополучно, но средства от всех бед тут быть не может. Вододелитель решает частную задачу большой практической важности. Он не только разделяет воду, но и мирит энергетиков с рыбаками: первые прижимисто берегут воду для выработки энергии, вторые требуют ее "холостого" сброса через плотины для рыбных нерестилищ. Теперь рыбаки будут сами хозяйничать, сами распределять годовую норму, принаравливаясь не к режиму гидростанции, а к рыбьим повадкам.

Бетонные быки вододелителя — это как бы уже пред-Астрахань. Ушел влево рукав Бузан, Волга



понемногу начинает раскрывать веер проток своей дельты. По берегам по-прежнему пески, но пески заселенные, прирученные. Мощенные плитами откосы. Портальные краны, кабель-краны, плавучие краны, принимающие с Волги лес, камыш, песок, гравий. Заводы. Они жмутся к реке, далеко вытягиваются вдоль нее: в степи на безводье индустрии трудно.

Астрахань всегда начиналась соборной колокольней над горизонтом. Теперь первыми из воды вырастают астраханские новые высотники, выставленные далеко впереди нее, чтобы гостя встречала не одна старина-матушка.

В Астрахани сошлись крайности Поволжья.

В июле здесь скорее Средняя Азия, сорок градусов в тени. Зима же злая, вовсе не бесхарактерная среднеазиатская, а кусачая, с ветрами и морозцами, прихватывающими южную зелень, иной год круто расправляющимися с ней.

Чтобы покончить с метеорологией, приведу последние данные: лету в Астрахани отводится 144 дня, осени 73, зиме 97, весне 51 день. Я выписал это в Астраханском музее весной 1970 года. Лет десять назад там же, в том же музее, мне удалось почерпнуть иные сведения: лето 140 дней, осень 65, зима 125, весна 35 дней.

Возможно, астраханские метеорологи, урезав зиму и прибавив за ее счет кое-что весне и осени, руководствовались на этот раз не местными, а среднеевропейскими понятиями о временах года: южане считают прохладной осенней погодой то, что ленинградцы приветствуют как бабье лето.

Жарким утром, после ночи, не расщедрившейся на прохладу, я прислушивался к воркованию горлинок в густых акациях под окном гостиницы. Где же это все было уже — и томительная ночь на влажной подушке, и ожидание немилосердно жаркого дня, и утренние

горлинки в густых ветвях под окном? Да в Каире, вот где!

Каирская жара в начале нильских разливов и астраханский июль стоят друг друга.

В полуденные часы Каир вымирает, учреждения закрыты, магазины закрыты, ставни закрыты, улицы пусты, тени почти нет. Лишь продавцы воды, вяло передвигаясь под окнами, гортанными криками призывают горожан раскошелиться.

Астрахань в каирскую жару работает. Работает в полную силу. В старых домах ставни, правда, тоже закрыты до заката, но старых домов все меньше, а новые построены по типовым проектам, и защиты от палящего солнца не предусматривают, предоставляя ее, защиту то есть, самодеятельности жителей. Астрахань при сорока градусах в тени консервирует кильку пряного посола, "сшивает" на плаву из носовых и кормовых частей морские танкеры, мостит откосы набережных, грузит нефть, защищает диссертации, строит морские баржи для вьетнамского порта Хайфон и делает множество других полезных дел.

Не знаю, о чем мечтают астраханцы в полдень, но приезжий из краев более северных — о ледяной воде. О воде в мгновенно запотевающем стакане. О такой воде, чтобы ломило зубы. Но тут Астрахань далеко отстает от Каира, и ледяную воду вам отнюдь не навязывают, вы долго и тщетно ищите ее, находите теплую. Такую уважающий себя каирец пить не станет.

Сходство с египетской столицей — понятно, я не имею в виду масштабы — ощущаешь и после того, как, пролив сто семь потов, поднимешься на колокольню подле Успенского собора. Она вымахала над астраханским кремлем на восемь десятков метров. Для города, в отличие от почти всех волжских городов расположенного не на высоком берегу, а едва не на уровне волжских паводковых вод, колокольня —

идеальная точка для обзора. Не хуже, чем цитадель или специальная вышка, откуда обозревают Каир, расположенный немногим выше уровня нильского разлива.

И с каирской цитадели, и с астраханской колокольни на горизонте за последними кварталами в знойном мареве, размываемом струящимися потоками горячего воздуха, — желтый цвет опаленной земли. За чертой Каира это горячие пески пустыни. За окраинами Астрахани — сожженная трава полупустыни, белые пятна солончаков.

Как у ворот египетской столицы, так и у ворот Астрахани наглядно подтверждается истина, что вода — это жизнь: там — пальмами и полями нильской долины, кормилицы Египта, здесь — зеленым привольем Волго-Ахтубинской поймы и дельты.

И последняя параллель, на этот раз из другой области: с высот каирской цитадели обозревают древние мечети с устремленными в небо минаретами, здесь разглядывают кремль и пятиглавие Успенского собора, построенного на рубеже семнадцатого и восемнадцатого веков Дорофеем Мякишевым, выходцем из крепостных крестьян. Собор изукрашен резьбой по камню и фасонным кирпичом более чем сотни различных форм, обходная галерея, в старину называемая гульбищем, высоко опоясывает его и выходит на круглое лобное место. Одно лобное место на Красной площади в Москве, второе сохранила Астрахань. Два на страну.

Высотный обзор дает как бы несколько срезов Астрахани. Астрахань речная и морская. Прошлое города. Его планировка. Астрахань промышленная. Астрахань в стройке.

Индустриальный пейзаж современного города легко опознаваем, и степень сгущенности труб, корпусов, конструкций по горизонту позволяет определить

промышленный потенциал для приблизительного суждения: да, город рабочий, вон сколько наворочено.

Прошлое Астрахани — прямо под колокольней. Кремль с птичьего полета, белые башни, монументальные стены, по другую их сторону — каменные казенные здания губернского города и множество серых крыш, одноэтажье провинции, причем провинции не богатой лесом, где больших деревянных домов не строили.

Прошлое задержалось в Астрахани, может, дольше, чем в некоторых других крупных городах Поволжья. В боковых улицах видишь домики, осевшие по самые оконца в зыбкую, водой напитанную здешнюю почву, домишки серые, запыленные — серые еще и потому, что в сухом климате здешних мест дерево и без краски не гниет, — домишки с деревянными же крышами, желтоватыми от корки жестких лишайников.

Все это наследие прошлого простирается сразу за пределами центральных улиц. Это типично не только для Астрахани, это переходная структура многих наших городов. И так же типично, что старое более энергично вытесняется, стирается не от центра, а от окраин. В плоской Астрахани это особенно заметно. Куда ни глянь, всюду за поясом бывших домиков "среднего слоя" пласты новой застройки. Иногда это только узкий пояс, иногда глубоко эшелонированные жилые массивы, квартал за кварталом уходящие к нынешним окраинам.

Астрахань броско красит новое свое жилье: корпуса бирюзовые, ярко-голубые, белые с синим, желтые. Может, краски делают ярче, сочнее потому, что на здешнем солнце они быстро выцветают?

Моря с нашей верхотуры не видно, оно где-то там, за кромкой горизонта, Однако уплощенность дельты создает иллюзию незаметного близкого перехода сизозеленого моря зарослей в синий Каспий Этот Каспий невидимый, лишь угадываемый, дополняется Каспием

зримым: морские корабли, идущие вверх по Волге, морские сейнера-близнецы, тесно вставшие к причалу, корпуса рыбоконсервного комбината, главного поставщика деликатесов Каспия на внутренний рынок и во многие страны мира.

Волга — животворная артерия города, его гордость, его главное дело, его традиции. Вдоль волжских берегов все, что с давних пор живет Волгой: ремонтные заводы, склады, транспортные конторы, пристани, верфи, холодильники, цеха, перерабатывающие рыбу, краны, перерабатывающие (так говорят речники) волжские грузы. Сама же Волга, вся в ослепительном сверкании, в нестерпимом блеске высвеченных солнцем волн, поднятых десятками судов, быстрых и медлительных, скользящих по волнам и мнущих воду, толкающих составы и грузно осевших под своим трюмным грузом, обрамляет широкой рабочей лентой свой ключ-город.

Астрахань строит флот Волге и морям на своих верфях и заводе. Юноши в белых форменках Астраханского речного училища будут водить его. Заглянув в окна старых домов, видишь модели и фотографии кораблей: там живут капитаны и механики, ушедшие на покой.

О городах обычно говорят: стоит на такой-то реке. Если река мала, незначительна: через город протекает такая-то река. Об Астрахани хочется сказать: река — рабочий район города.

Главные городские часы отбивают на колокольне каждую четверть часа. И вот уже пробили они трижды, а уходить не хочется.

Мне, может, и не так заметно новое. Экскурсантов с кораблей восхищает кремль у подножья. Коренные же астраханцы цепким глазом замечают прежде всего перемены. Эти не охают, они деловиты, не восторженны. Восемьдесят метров по крутой лестнице, по крайней мере двадцать пятый этаж без лифта — не шутка,

старики сюда карабкаются редко, молодые же астраханцы полагают: кое-что можно было бы обновить и побыстрее.

Снова бьют куранты. Пора и честь знать.

Я понимаю астраханцев, которые у подножья колокольни на большом щите привели обширную цитату о своем славном городе из книги Ираклия Андроникова. Вот она:

"Поселившись в Астрахани в "Новомосковской", вставал на рассвете, "домой" возвращался в ночи: по асфальту обсаженных липами улиц бегал на Кутум, на Канаву, на Паробичев бугор, в район Емгурчев, на улицу Узенькую, на улицу Володарского, которая раньше называлась Индийской. Названия какие! На Индийской в XVII веке стоял караван-сарай индийских купцов.

Как не вспомнить тут историю на каждом шагу — Золотую Орду, падение Астраханского ханства перед войсками Ивана Грозного, изгнание восставшими астраханцами Заруцкого с Мариной Мнишек, вольницу Разина, приверженцев Пугачева, персидский поход Петра?! Здесь умер и похоронен грузинский царь Вахтанг VI — поэт и ученый, обретший в петровской России политическое убежище, и другой грузинский царь, Таймураз II, два года провел здесь А. В. Суворов, родился И. Н. Ульянов — отец В. И. Ленина, побывал Т. Г. Шевченко, прожил пять лет возвращенный из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевский.

Земляк астраханцев — замечательный русский художник Б. М. Кустодиев.

В годы гражданской войны Астрахань выстояла под натиском белых: с гордостью произносится в городе благородное имя Сергея Мироновича Кирова, руководившего гражданской обороной.

Здесь долго играл актер удивительной силы — П. Н. Орленев. Отсюда родом народные артисты В. В. Барсова, М. П. Максакова, А. Н. Свердлин.

В Астрахани ценят искусство. Издавна славилась она художественными коллекциями. Знаменитая картина Леонардо да Винчи, известная под названием "Мадонна Бенуа", в свое время была куплена в Астрахани.

Здесь есть чем заняться историку, есть что искать ученому-следопыту: имеются сведения, что именно в окрестностях Астрахани в 1921-1922 гг. в последний раз видели древний — XVI века — список "Слова о полку Игореве", принадлежавший до революции Олонецкой духовной семинарии, а потом находившийся в руках преподавателя семинарии Ягодкина.

Говоря об Астрахани, как не сказать о рыбе, о нефти, о соли; я побывал в порту, на рыбоконсервном комбинате".

Казалось бы, те же плотно сближенные имена и факты, что найдешь в любом путеводителе; однако эмоциональная окраска превращает справку в живопись словом, в художественную родословную города.

Думаю, что каждый гость Астрахани, стараясь ухватить часы относительной утренней прохлады, спешит на Кутум, на неширокий волжский рукав, очень нужный, просто необходимый городу, на Кутум, где мост за мостом, а там еще мост и еще, где лодки стоят у ворот, и мальчишки бултыхаются в воду, едва продрал глаза.

И, наверное, тот же гость, зачарованный словами — "караван-сарай индийских купцов", непременно разыщет улицу Володарского, которая прежде называлась Индийской. Он присмотрится к глухому торцу дома № 14 и заметит там два полукруглых оконца, заделанных кирпичом. Он войдет во двор дома, безусловно старого, где стены толстенны, простенки непомерны, а в оконных проемах сохранились остатки выпиленных железных решеток. Конечно, его озадачит новое здание проектного бюро и молодые люди аспирантского вида, мало похожие на индийских торговых гостей. Но в

толстостенном доме ему охотно расскажут, что индийцев в Астрахани было не меньше, чем армян или иранцев, также имевших свои торговые дворы, что самого первого индийского двора нет давным-давно, а этот индийцы построили всего лет полтора назад. Прежде все комнаты в доме были одинаковы — по двадцать семь квадратных метров — и выходили в коридор, потому что были они не комнатами, а лавками. Жильцы, поселившиеся здесь, коридор ликвидировали, от чего получился изрядный прирезок жилой площади.

— Индийцев, конечно, видеть не приходилось, — услышал я, — но и при нэпе здесь шла торговля. Торговали вон там, в углу двора, лесом и углем. Красные купцы свой склад держали.

И вот сила живого слова: захотелось увидеть гробницы названных Андрониковым грузинских царей, хотя я и прежде встречал упоминания о них. Но не было там строки о Вахтанге VI — "поэт и ученый". Было просто: царь Вахтанг VI. Ну и бог с ним, мало ли царей на белом свете! А царь-поэт, царь-ученый...

К сожалению, Успенский собор, где погребены Вахтанг VI и Теймураз II, сторонники сближения Грузии с Россией, был на этот раз закрыт в связи с реставрацией.

Когда я читал цитату из Андроникова — для удобства читателей против щита поставлена скамейка — ко мне подсел шофер крана, занятого неподалеку сокрушением остатков какого-то каменного сарая, возведенного хозяйственниками в свое время на территории кремля и никакой исторической ценности не представляющего. Кран поднимал тяжелый шар на цепи и им дробил стену. Но вышла заминка с самосвалами, крановщик подошел к приезжому. Из мест, посещенных Андрониковым, к стыду моему, мне неизвестно было, чем знаменит Паробичев бугор, и я обратился к крановщику.

— Бугор-то? Есть такой, — подтвердил он. — Чем замечателен, говорите? Ну чем? Наша контора, верно,



там. И больница большая. А так вроде все.

Настроившись на волну музыки Истории, я вспоминал книгу о трех путешествиях, "достопамятных и исполненных многих превратностей", которую написал искатель приключений, парусный мастер Ян Стрейс, голландец, служивший русскому царю. Стрейс прошел Волгу на парусном корабле "Орел" и оказался в Астрахани как раз во время крестьянской войны. Голландец несколько раз видел Степана Разина на волжском струге и на астраханских улицах: "Это был высокий и степенный мужчина, крепко сложенный, с высокомерным прямым лицом, он держался скромно, с большой строгостью".

Стрейс нашел, что Астрахань выглядит весьма красиво, что это отличный торговый город, в котором полно дешевых фруктов и великое изобилие рыбы. Многие его сведения достоверны, однако голландец, как и некоторые его предшественники, не удержался от соблазна, хотя и с оговорками, описать знаменитый баранец. Это, видите ли, произрастающий в астраханских степях плод величиной с тыкву, похожий на барана, с головой, ногами и хвостом. Особенно замечательна его шкура, с блестящей и тонкой шерстью, из которой русские шьют шапки... Видимо, Стрейс причудливо сплел рассказы об арбузе, о красной, как кровь, его сердцевине и о каракуле.

Но что Стрейс, когда много лет спустя после него впечатлительный Александр Дюма, отправившийся в Россию в 1858 году, как он говорил, для того, чтобы поклониться царице рек, ее величеству Волге, разочаровал читателей своим легковерием и "баранцами", рассыпанными по трехтомному сочинению "От Парижа до Астрахани". Он писал о нижегородском публичном доме на четыре тысячи девиц, о начиненных черепахами лошадиных головах, подаваемых на ужин, о

том, что кровати в России — совершенно неизвестный предмет обстановки...

В честь автора "Трех мушкетеров" всюду устраивались пышные приемы, церемонии и празднества: правительство старалось, чтобы писатель увидел лишь фасад крепостнической России. Так было и в Астрахани: лучший дом в городе, обед у губернатора, прогулки по Волге, знакомство с бытом персов, армян и татар — и, в особенности, с их национальной кухней, которой француз отдал должное, — наконец, инсценировка народного калмыцкого праздника с подношением гостю каракулевой шубы, серебряного пояса и прочих экзотических вещей...

Может быть, потому, что Астрахань значительно уступает Горькому территорией, промышленным весом, числом жителей, собственно речное выпирает здесь еще значительно, чем в волжской столице.

Есть, конечно, Астрахань рыбная, с холодильниками, рыбоприемными пунктами, стоянками рыболовецкого флота, рыбными заводами, научно-исследовательскими учреждениями рыбного хозяйства, с институтом, готовящим инженеров-рыбников. Но и Астрахань водническая — свой большой, самобытный мир.

Уже не первый год открыт реставрированный кремль, свыше десятка лет существует под его стенами площадь Ленина, площадь-парк, где пышные голубые ели соседствуют с куртинами махровых роз, от которых в пору цветения вся площадь становится алой. И все же летними вечерами астраханцы тянутся на волжскую набережную, в общем-то очень обыкновенную, даже бедную в сравнении с волгоградской, куйбышевской, саратовской. Астраханцы идут в парк к пассажирской Семнадцатой пристани, где аллеи усыпаны жесткими кремовыми лепестками отцветших акаций, как в других городах — тополевым пухом, где вместо

развлекательных павильонов — билетные кассы, справочное бюро, контора порта, где вместо джаза — голос вахтенного штурмана: "Граждане пассажиры, через пятнадцать минут теплоход "Комарно" отправляется в рейс", "Отдать носовую", "Как якорь?" Но для астраханцев это — музыка Волги, ее привычные голоса.

Именно портовый гудок зимой 1918 года поднял астраханцев на борьбу за власть Советов против белогвардейских мятежников, а осенью 1922 года водники Астрахани были награждены орденом Трудового Красного Знамени — тогда подобных наград удостаивались очень немногие.

В предвоенные годы Астрахань слала вверх по Волге бакинскую нефть, здесь до перевода в Куйбышев было речное государство в государстве, общеволжское нефтеналивное пароходство Волготанкер со своим флотом, своими знаменитыми капитанами, своей историей. Именно в Астрахани смекалистые братья Дмитрий и Николай Артемьевы еще в прошлом веке на паруснике "Александр" первыми в мире стали перевозить нефть, наливая ее не в бочки, а прямо в трюм. От их парусника ведут родословную и современные морские супертанкеры.

Астрахань и ее нефтефлот во время Сталинградской битвы и битвы за Кавказ обслуживали горючим два фронта.

От бомбы на суше ищут спасения в укрытии, на обычном судне укрытий нет, но даже при сильном повреждении оно какое-то время держится на плаву. На нефтеналивном небольшой осколок может вызвать взрыв, горючее, растекшись по поверхности, превратит воду в огонь.

В Астраханском музее по стенам прибиты начищенные до корабельного блеска памятные бронзовые доски нефтевозов. Они сняты с судов,

отслуживших свое и ушедших на слом, хотя некоторые из них заслужили не огня газорезчика, но вечного якоря у астраханских причалов. Вот те, что поименованы на досках, снятых с их рубок:

Нефтевоз "Сократ" отбил 9 воздушных атак, сбил 5 самолетов противника.

Пароход "Урицкий" — 7 отбитых вражеских налетов.

Теплоход "Дзержинский" — работа на сталинградских переправах, позднее 8 отраженных налетов на астраханском рейде.

Теплоход "Имени X годовщины Октябрьской революции" — 4 отбитых воздушных атаки.

Теплоход "Профинтерн" — доставка бензина Сталинграду, боевой техники — Кавказскому фронту.

И еще доски: танкер "Печенег", пароход "Орел", баркас "На вахте", баркас "Спартаковец", пароход "Киев", пароход "Аткарск"...

Это лишь некоторые. Часть судов, участвовавших в битве на Волге, и сегодня в строю, памятные доски — на их рубках.

Есть в музее карта устья Волги времен гражданской войны. Синие стрелы показывают, откуда враги нацеливались на город летом 1919 года.

Две метят с севера: конница белого генерала Улагая, войска генерала Бабиева. С северо-востока стрела белоказачьей армии генерала Толстова, с юга — частей генерала Драценко. На юго-западе — несколько небольших стрелок с надписью: "Мелкие отряды белобандитов". Со стороны моря — значки кораблей: вооруженные суда белогвардейцев и крейсера флотилии английских интервентов, захвативших Закавказье. Кроме того, пунктирные линии со значками черных аэропланов, тянувшиеся от аэродромов Александровского форта и острова Чеченя.

Всюду враги. Полки, дивизии, эскадрильи, флотилии почти сомкнули кольцо вокруг кружка с надписью

"Астрахань".

В этом кружке у волжского устья — алый флажок.

Он выстоял против всех бурь и натисков. Он развевался над башнями астраханского кремля, вокруг которого сновали переодетые белые офицеры-заговорщики, спекулянты, торговцы, всяческий сброд, которому мешала новая власть.

Город удержали в руках астраханские рабочие, волжские рыбаки, городская беднота. Его защитили отступившие с Северного Кавказа через пески полупустыни красноармейские отряды, вконец измотанные голодом, стужей, сыпным тифом.

Астраханским Военно-революционным комитетом руководил Сергей Миронович Киров. Его знали на Волге. Родом из маленького городка возле реки Вятки, он рано остался сиротой, воспитывался в детском приюте. За отличные успехи был направлен в Казанское механическое училище. В Казани голодал, спал на сундуке в темном коридоре, ночами на засаленном кухонном столе делал чертежи и писал листовки. Окончив училище, уехал в Сибирь, вступил в партию, участвовал в вооруженных стычках с полицией, попал в тюрьму. Потом Кавказ, борьба за установление Советской власти, наконец, Астрахань во вражеском кольце, единственный порт на Каспии, оставшийся в наших руках.

Среди многих забот Кирова было создание Особого морского экспедиционного отряда: тринадцать рыбацких парусников, один моторный баркас. Эти жалкие суденышки, терявшиеся в волнах Каспия, возили из занятого врагом Баку бензин. Возили дерзко, шли на отчаянный риск: при поимке белые бросали смельчаков в море с грузом на шее. Перевезли на скорлупках в Астрахань 20 тысяч пудов бензина.

Киров же сумел организовать перехват в море парохода "Лейла", на котором миссия деникинского

генерала Гришина-Алмазова ехала из Петровска на Гурьев, чтобы договариваться с Колчаком.

Гришин-Алмазов успел выстрелить дважды: в матроса, рванувшего дверь каюты, и себе в лоб. В портфеле лежали письмо Деникина Колчаку и другие секретные документы, раскрывавшие планы контрреволюции: не задерживаясь на Волге, соединенными силами обрушиться на Москву.

"Даст бог, встретимся в Саратове, — писал Деникин. — Получаем широкую помощь снабжения от англичан..."

Встреча в Саратове не состоялась...

В самое трудное для города время в ответ на требование Ленина защищать Астрахань до конца Киров от имени всех астраханских большевиков поклялся:

— Пока в Астраханском крае есть хоть один коммунист, устье Волги было, есть и будет советским.

Морские корабли флотилии заняли оборону и заминировали вход в реку. С севера подступы к волжскому устью прикрывал городок Черный Яр. Барон Врангель обещал за его взятие каждого офицера произвести в следующий чин, а солдатам выдать награды. Ускоренное чинопроизводство так и не состоялось.

О решающих боях за Астрахань и Черный Яр великолепно написала Лариса Рейснер, журналистка, поэтесса, писательница, комиссар Волжской флотилии. Ее Астрахань сурова. Она лежит, "как раскаленный желтый камень посреди разлившейся Волги". Это город, "состоящий из непросыхающей грязи, низких домов без лица и возраста, из камня и пыли, пыли и зловонья, развалин и пустырей", с трудом переводит дыхание. Через этот раскаленный город идут моряки, провожая погибшего товарища. Над ним уверенные, почти ничем не рискующие, на чистом английском бензине плавают

вражеские самолеты. У Астрахани не хватает сил для отпора небу...

Черный Яр обойден с трех сторон и только спиной прислонился к Волге, где в синем зеркале реки солнце плавит отражение кораблей флотилии. И вот старший артиллерист чутьем угадывает опасность. Корабельные орудия бьют по безлюдной, безмолвной степи, и вдруг...

"Они появились как бы из земли, черными колоннами, выбитые из оврага жестоким огнем. Их было три тысячи калмыков, черкесов и казаков, приготовленных в пятнадцати верстах от Черного Яра для ночного набега".

Черный Яр сам перешел в наступление.

Устье Волги было и осталось советским.

И еще об одном экспонате в музее Астрахани. Это знамя. Обычно музеи хранят боевые знамена. Знамя же, о котором речь, принадлежало астраханским портным и красильщикам. Изображены на нем не львы, не орлы, но портняжный стол на низких ножках с утюгом и ножницами, а также кадушка красильщиков. Корона, впрочем, все же есть: вверху герб Астрахани. На знамени — надпись: "Управа города Астрахани портного и красильного цеха".

К этому цеху принадлежит дед Ленина, Николай Васильевич Ульянов. О находках важных документов, связанных с ним, читатель уже знает.

Астрахань сохранила дом предков Ленина. Это на бывшей Косе, где неподалеку от пристани селились ремесленники, мелкие торговцы, волжские крючники. В харчевни на Косе заглядывали и бурлаки, у которых Астрахань слыла "Разгуляй-городом", "Разбалуй-городом": после весеннего сплава барок вниз, они получали расчет за первую половину "путины" перед тем, как тянуть нагруженные суда против течения.

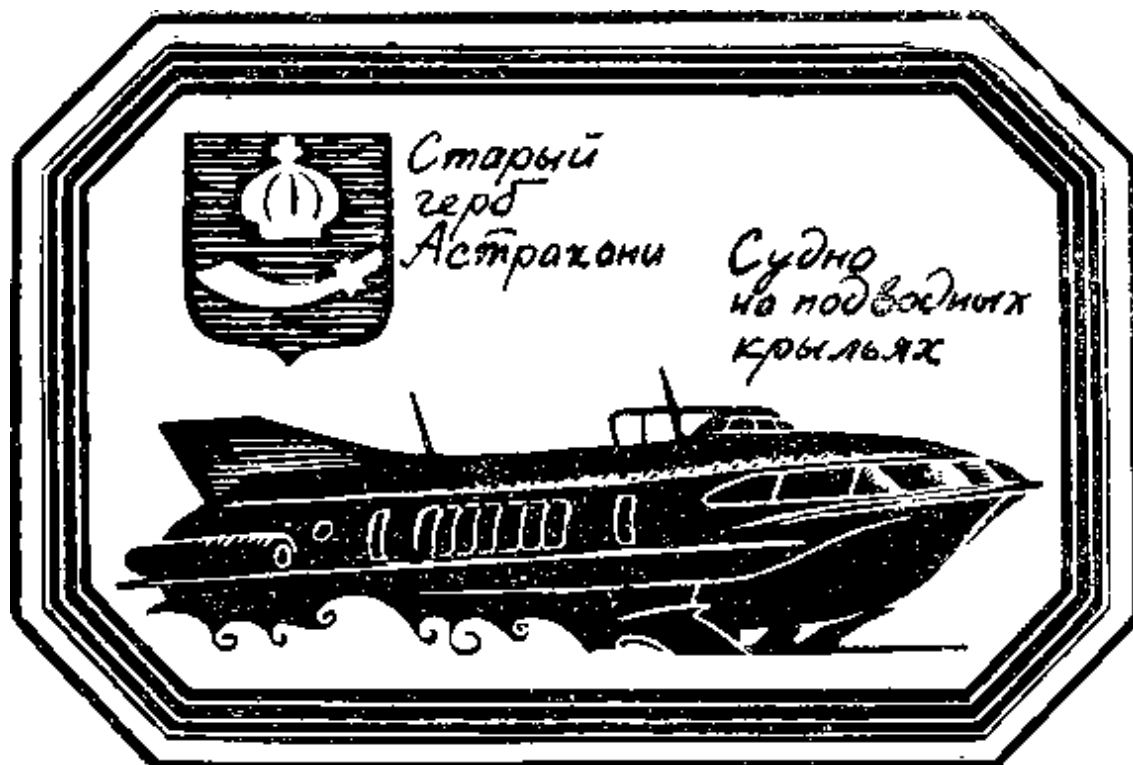
Здесь, на Косе, родился отец Ленина, и детство его прошло в городе, где улицы пахли рыбой, где паруса

рыбачьих баркасов трещали на ветру, где с рассвета слышались брань крючников и незнакомая речь купцов из Персии.

Отец Ильи Николаевича жил в бедности, зарабатывая на хлеб ремеслом, а брат Василий служил соляным объездчиком. На свое небольшое жалованье он отправил Илью в гимназию. Илья Николаевич окончил ее блестяще, и тот же брат Василий, отказывая себе во многом, помог ему учиться дальше. На волжском пароходе уехал Илья Николаевич из Астрахани в Казань, в университет. Здесь он еще застал великого математика Лобачевского — и тот заметил его...



## У самого синего моря



*Когда в Астрахани дождь. — "Труп мой вскройте..." — Злые пески. — Подвиг лесовода. — Веер дельты. — ...и Миссисипи. — Десять лет спустя. — Еще десять лет спустя. — По народу и река!*

Жарко в Астрахани.

Лошадей здесь прикрывали от прямых солнечных лучей защитными попонами. Помню, на извозчичьих конях попоны были щегольские, белые, с красной оторочкой, на ломовых битюгах — из мешковины.

Когда в самом конце мая 1970 года синоптики сообщили: похолодание, дождь — астраханцы не поверили, я тоже. Дождь здесь иногда вроде бы собирается побрызгать, но это так, без серьезных намерений. Капли падают, не замочив асфальт: испаряются, как брызги на плите. По средним многолетним данным, Астрахани отпущено на год

столько осадков, сколько под Батуми выпадает в дождливый день.

На этот раз синоптики оказались правы. Сильно похолодало — то есть можно было свободно дышать — и пошел настоящий дождь, минут пять притворявшийся даже ливнем. Я укрылся в почтовом отделении. Никто не работал, все зачарованно смотрели в окна.

— Что, давно не поливало?

— Последний дождь? Настоящий, вот такой? Пожалуй, первый с прошлой осени, — отозвались мне.

Ливень с ветром встряхнул тутовые деревья. Прохожие давили подошвами спелые черные ягоды, они расплывались чернильными пятнами на асфальте. Осыпались кое-где еще зеленые абрикосы и сливы, лепестки роз плавали в лужицах.

Астрахань радовалась дождю. Парни и девушки бежали, разбрызгивая воду. Дождь смывал накопившуюся на крышах пыль, первые струйки напоминали пульпу, которую по трубам перегоняют землесосы. Потом струи посветлели, хозяйки ставили под водосточные трубы ведра: дождевая вода мягкая, ею хорошо мыть волосы. Запахло не травами, а, скорее, сеном, потому что травы успели выгореть.

Дождь быстро кончился. Лужи уже не пузырились, тяжело шлепались лишь одиночные капли. Все. Нельзя же было ожидать, что весенний этот день прольет на Астрахань месячную норму из скудных годовых 172 миллиметров.

Астрахань, дождем умытая, приобрела новые, более яркие краски. Птицы заливались в густой листве акаций. Всеми гранями засверкал "Кристалл", стеклянный, очень большой новый Дом быта. Дом этот оборудован новейшими универсальными машинами: "Зайдешь туда с дороги мятый, пыльный, а выйдешь как с иголки, даже помолодеешь вроде". Так, во всяком случае, говорят астраханцы.

Торговая Астрахань до революции застраивалась в центре солидно, основательно, хотя и на купеческую ногу. Во времена нэпа именно здесь возводили конторы наши первые волжские тресты и синдикаты. Внешне все это устарело, но стоит крепко, прочно, сносить пока нерасчетливо. И рядом ставят "Кристалл", кинотеатр "Космос" совершенно столичного вида или гастроном в стиле супермаркет.

Есть, конечно, и целиком современные районы, вроде Североприбрежного, есть обновленные наполовину, на две трети. Город строит новые кварталы и новые мосты Мостов нужно много: кроме Кутума, город прорезают Первомайский канал, Волда, Кизань, Царев, Казачий ерик.

Это обилие каналов и рукавов в Астрахани — от дельты, от ее несосчитанных больших и малых протоков.

\* \* \*

"Я заразился от сусликов легочной чумой. Приезжайте, возьмите добытые культуры. Записи все в порядке. Остальное расскажет лаборатория. Труп мой вскройте, как случай экспериментального заражения человека от суслика. Прощайте. Деминский".

Текст этой телеграммы выбит на памятнике астраханскому врачу Ипполиту Александровичу Деминскому и слушательнице медицинских курсов, москвичке Елене Меркурьевне Красильниковой. Она заразилась, пытаясь спасти Деминского.

Оба работали "на чуме". Страшная болезнь, в память окончания эпидемий которой по городам Европы всюду поставлены благодарственные "чумные столбы" с крестами и ангелами, не раз неожиданно вспыхивала и в астраханских степях. Деминский доказал, что здесь ее постоянно тлеющий очаг — больные грызуны, от

которых заражается человек. Доказал, пожертвовав собой.

Не представляю человека, который мог бы равнодушно прочесть слова предсмертной телеграммы на памятнике врачу-герою. Подвиги людей долга глубоко трогают нас, особенно если их завершает драматическая развязка.

Но подчас эти подвиги как бы растворяются в повседневности. Живет себе в соседнем доме человек, все куда-то уезжает. Однажды его приносят на носилках, он долго не появляется на улице — говорят, где-то простудился, — работает еще многие годы тихо, незаметно. И вдруг сообщение в газетах о награде, о премии, журналисты, фоторепортеры...

С одним из таких людей, ныне покойным, случай свел меня в начале пятидесятих годов.

Астрахань изнывала под ударами знойного ветра, о котором знающие моряки говорят, что он пожестче сирокко. Проклиная жару, я искал на окраине Астрахани дом Митрофана Алексеевича Орлова. Думалось, что узнаю его издали по пышному саду: ведь Орлов — лесовод. Но перед домом был лишь хилый палисадник. Правда, на террасе росли в кадках китайские розы, однако они в Астрахани всюду, даже в конторах.

За столом сидел старый человек с редкими седыми волосами. Половина его лица застыла в постоянной гримасе. Он с тревогой поглядывал на стрелку компаса:

— Второй день дует, и все с востока, из пекла. Вчера по радио обещали перемену, а вот поди же ты... Взгляните за окошко.

Листья на деревьях в палисаднике чуть завяли. Так бывает на недавно надломленной ветке.

— Еще немного, и начнут свертываться, сохнуть.

Он сердито нахмурил брови и отодвинул компас в сторону:

— Я, как видите, не молод, а думаю дожить до той поры, когда станут забывать это злое слово: су-хо-вей! Сделано уже многое. Вы бы посмотрели нашу полупустыню, скажем, полвека назад. Вот послушайте, какой я ее застал в молодые-то свои годы...

Он окончил Черниговскую лесную школу в первый год нашего века. Работал на Черниговщине. Однажды приехал с инспекцией крупный чиновник лесного ведомства. Ходил по песчаным дюнам, которые Орлов засадил кустами, заглянул в лесной питомник и неожиданно предложил:

— Поезжайте в Астрахань. Дело там трудное, но вы, полагаю, справитесь.

Орлов сел за книги об Астраханской губернии: безотрадное царство песков, они надвигаются, засыпая все живое... Селения переносят на новые места, но надолго ли останутся они на этих местах, если азиатская пустыня в роковом наступлении своем грозит поглотить, засыпать песками самую Волгу...

И все-таки он поехал. Недели через две на новом месте попал в бурю. При тусклом свете багрового солнца вихрь гнал тучи песка. Лежа на земле лицом вниз, задыхаясь, выплевывая из запекшегося рта песок, Орлов вспомнил песню, которую слышал в поселке: "Ах вы, злые астраханские пески..."

Начал он с малого. Ездил по селам, которым угрожало наступление песков. Говорил, что овца фабрикует пустыню. Рассказывал, как надо правильно пасти скот, чтобы он не выбивал траву вместе с корнями, убеждал, что надо сажать на песках растения, которые закрепили бы, остановили их. Его слушали с недоверием — и ничего не делали.

А пески надвигались. Они подступили к окраинам села Сасыколи. Собрался сход. Долго судили, рядили: дело дрянь, придется переносить село на новое место.

Кто-то вспомнила про чудака-лесовода. Попытка — не пытка...

Орлов заложил в Сасыколи первый питомник. Крестьяне дивились: бархан, на котором посадили кустарники и посеяли степные травы, в самом деле перестал двигаться! В другом селе Орлов высадил сливы и черешню. Растеньица устояли против зноя, пустили корни. Пошел слух: а ведь лесовод, пожалуй, дельный мужик! И еще в нескольких селах появились питомники.

Потом нагрянула беда. Несколько дней подряд дул горячий ветер — все блекло, сохло на глазах. И еще один страшный враг появился в астраханской степи — небывало расплодившаяся гусеница лугового мотылька. Гусеницы ползли, оставляя за собой землю без единой травинки. Их было так много, что в степи останавливались поезда: колеса буксовали в месиве раздавленных тварей.

Орлов переезжал верхом из села в село. Во что бы то ни стало спасти молодые посадки! Если они погибнут, у людей опустятся руки.

Вокруг посадок запылали костры. Спешно рылись канавы. А гусеницы все ползли и ползли. В питомнике, который Орлову особенно хотелось сохранить, засорился фильтр глубокого шахтного колодца, откуда доставали воду и для полива, и для канав, преграждающих путь гусеницам. Вода иссякла.

Орлов бросил в колодец зажженную бумажку. Крутясь в воздухе, она сгорела, так и не долетев до воды, блеснувшей где-то в глубине.

Сначала, пока его спускали на веревке первые метры, он испытывал приятную прохладу после зноя. Внизу ледяная вода сводила руки. Фильтр не подавался. Орлов провел в колодце три часа, его била лихорадка. Он не помнил, как потерял сознание. Безжизненного, его вытащили наверх.

На следующий день отнялись ноги и странно онемела половина лица. Больного положили на полотнище палатки и повезли к врачу.

Простудился ли Орлов в колодце, или на дне его оказались вредные газы — сказать трудно. Больше года лесовод пролежал без движения. Потом стал понемногу ходить на костылях. Врачи сказали: это — на всю жизнь...

Так, на костылях, полупарализованный, он и сажал в приволжских песках виноградные лозы, показывал, как сеять по барханам песчаный овес, неприхотливое растение с цепкой, разветвленной корневой системой, выбирал места для посадок защитной полосы садов и леса, искал растения — каучуконосы, ставил опыты, задерживая влагу в почвах полупустыни.

Орлов читал: американские ученые считают, что лесоразведение возможно там, где в год выпадает не менее 400 миллиметров осадков. Астраханской полупустыне природой отпущено вдвое меньше. Но Орлов своими глазами видел дубовую рощу в балке у города Степного, посаженную Докучаевым. Правда, там свой микроклимат и почвы лучше, чем в других местах.

Когда Орлов предложил поставить опыты неподалеку от Баскунчака, у горы Бог до, члены поехавшей с ним комиссии возражали очень решительно: здесь же дождь до земли не доходит, в воздухе испаряется.

Орлов настоял. Посадки не поливали. Смысл был в том, чтобы вырастить деревья на скудном пайке влаги, отпущенном полупустыней. Сохраняли в почве каждую каплю. Деревца сажали в ямки так, чтобы листву меньше палило солнце. Зимой задерживали снег. Почву рыхлили, чтобы уменьшить испарение. И деревца выстояли!

В начале тридцатых годов свершилось чудо, в которое до революции почти никто не верил: во многих

местах астраханской полупустыни было приостановлено наступление песков. Михаил Иванович Калинин вручил Орлову грамоту:

"Президиум Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета СССР, отмечая Вашу выдающуюся и исключительно полезную деятельность в социалистическом строительстве, выразившуюся в упорной самоотверженной работе по лесомелиорации и укреплению песков, благодаря которой были сохранены для сельского хозяйства и скотоводства огромные пространства... награждает Вас званием Героя Труда".

Перед войной стараниями таких людей, как Орлов, в низовьях Волги было закреплено уже около миллиона гектаров летучих песков.

В дни Сталинградской битвы Орлов пришел к генералу, штаб которого находился за Волгой, в полупустыне, и попросил отменить распоряжение о вырубке сосняка на песчаных холмах. Этот лес — защитный, он держит пески и пригодится после победы. А если обязательно нужны деревья для телеграфных столбов, то он, Орлов, может показать, где их найти. Только пусть дадут грузовик, ходок-то он неважный...

Генерала удивил человек, думающий о каких-то соснах в такие дни. Но приказ он все же отменил: в гражданскую войну ему пришлось пробиваться с отрядом в Астрахань к Кирову, и он знал, что такое пески...

После войны в низовья Волги все чаще навевались экспедиции. Они исследовали побережье Каспия, бродили в волжской пойме, забирались в глубь полупустыни — и всюду наталкивались на следы Орлова. К этому времени у Богдо разросся, окреп лес. Под его защитой зацвели яблони, заколосилась пшеница. Однажды теплой ночью богдинцы услышали трель залетного гостя — соловья.



Выбирая места для государственных лесных полос, изыскатели решили объехать все посадки, сделанные Орловым. Почти всюду деревья прижились — и у Замьян, и у Тамбовки, и у станции Чапчачи и во многих других местах. Побывали изыскатели и в Сасыколях — там, где Орлов создал первый свой питомник в полупустыне.

Лесовод долго смотрел на могучие тополя. Он сажал их черенками в землю, на которой когда-то считалось невозможным что-либо вырастить. И вот перед ним — лесные великаны...

Я видел лес у Богдо — именно там мне и назвали фамилию лауреата Государственной премии Орлова. Слушая теперь его рассказ на террасе небольшого домика, я думал о том, что среди земных профессий не так уж много таких, где бы человек не столько покорял, сколько врачевал природу.

— А ветер переменялся, — заметил Митрофан Алексеевич. — Оленька!

Вошла дочь. Она лесовод. И сын Митрофана Алексеевича тоже лесовод.

— Оленька, принеси мне ту папку, знаешь?

В папке были планы, наброски, заметки, письма.

— Вот, это с Волго-Дона. Спрашивают, чем засевать сухие откосы, чтобы не выдувало ветром. Я ответил и приписал, что, если надо, могу и лично приехать. Такое дело живой души требует. Отведут мне стандартный домик, поселюсь у самого канала, чтобы вода журчала под окнами...

— Не выдержишь, папа, — улыбнулась дочь. — Сбежишь в Астрахань. В пески сбежишь.

— Сбегу, — покорно согласился отец. — Конечно, сбегу. Куда же мне от песков? Видно, тут и похоронят.

\* \* \*

Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено...

Карта по-прежнему неопровержимо свидетельствует, что с Волгой обстоит именно так. Но увидеть это своими глазами, в натуре — не просто.

Некоторые из рукавов дельты, где прежде шли корабли с товарами, давно обмелели и даже пересохли. Теперь Волга держит транспортную связь с Каспием по искусственно прорытому и постоянно углубляемому каналу. Это не впадение, а, скорее, выведение реки в море.

Однажды мне захотелось посмотреть естественную, природную границу Волги и Каспия.

Сначала шли одним из рукавов. По низменным глинистым берегам — рыбацкие деревеньки. Глина прокалена, будто побывала на обжиге: звенит под ногами. У каждого двора ветрянки качают воду. Чем не Голландия? Только там ветер помогает высасывать ее из канав, здесь накачивать в трубы. Всюду слышно журчание, День не пожурчит — и поникнут, пожухнут огороды, разделенные заборчиками из камыша.

Навстречу шли рыбацкие баркасы. У селений на кольях сушились сети. В этих краях рыбаки осели еще столетия назад.

Вскоре добрались мы в Астраханский заповедник, любовно описанный натуралистами, кажется, до последнего лепестка лотоса, до малейших проявлений пеликаньего нрава, до легчайшего перышка белой цапли.

Отсюда отправились в авандельту, в сторону Каспия, невидимого за стеной джунглей. Ушли на рассвете. Работали веслами, отталкивались шестами. Лодка вертелась по узким протокам меж качающихся стен камыша. Продирались сквозь кувшинки, нимфейник, водяные папоротники, образовавшие в теплой воде нечто вроде знаменитого нильского "седда", где

переплетающиеся корни местами вовсе закрывают поверхность реки. Вспугивали черных бакланов, перед взлетом набирающих скорость на воде подобно гидросамолету.

Часов через пять выбрались на простор. Вода рябила миллионами блесток, беспредельная, как море. Но это море было немногим глубже лужи. Зачерпнули воду — совершенно пресная.

За лодкой тянулись бурные плети рдеста, водяного растения дельты. Его заросли мешали грести, и в ход снова шел шест. Скрипели крачки. Белая цапля стояла посреди моря, не замочив длинных ног до половины. А с острова, который огибала лодка, вдруг прокуковала из зарослей ивы кукушка.

Наносы, вынесенные Волгой в дельту, легли почти горизонтально. Когда уровень воды снижается всего на один сантиметр, вдоль взморья сразу обнажается сотня метров берега.

Дельта непостоянна. Она все дальше выдвигается в море, Каспий отступает. Его судьба давно заботит людей. Есть несколько проектов: закрытие гигантского испарителя каспийской воды — залива Кара-Богаз-Гол и некоторых других заливов, сооружение дамбы поперек моря, переброска в Волгу части стока северных рек. Но пока что Каспий отступает и отступает...

Плывем все дальше. Огибаем последние островки, как видно, недавно появившиеся на свет: на них еще ничто не укоренилось. Заросли рдеста переплетаются в воде уже не так густо. Не видно цапель, зато много чаек.

Близко море. Правда, вода все еще пресная. Но она будет опресненной и за полсотни, и за сотню километров от дельты — так много ее выносит в море великая река.

Солнце клонится к горизонту. Долгого летнего дня нам не хватило, чтобы добраться до края авандельты.

Но мы уже близко от него. В бинокль виден дым корабля и серые паруса рыбачьих баркасов. Там плещутся зеленоватые морские волны.

Там и Волге конец.

\* \* \*

— Волга и Миссисипи — вот тема!

Не помню, кто это предложил. Но идея понравилась. Волга — и "американская Волга", как назвал Миссисипи Маяковский. У нас — "матушка", американцы называют свою главную реку "отцом вод". Две великих реки с густо населенными бассейнами. Все основания для сравнения!

И летом 1951 года "Литературная газета" напечатала страницу под заголовком "Судьба двух рек".

История эта уже достаточно далекая. Но, может, стоит вернуться к старому номеру "Литературки": ведь там как бы моментальные снимки Волги и Миссисипи, сделанные объективом начала пятидесятых годов.

Профессор Л. Зиман рассказал о колоссальных транспортных и энергетических возможностях "отца вод". Однако река используется лишь для судоходства. Влиятельные нефтяные монополии противятся гидротехническому строительству. На Миссисипи нет ни одной крупной ГЭС. Гидростанция у порогов Св. Антония всего лишь в 60 тысяч лошадиных сил, мощность построенной еще в начале века гидростанции у порогов Киокак не превышает 200 тысяч лошадиных сил. Правда, в бассейне Миссисипи, на Теннесси, построена система гидростанций. Их энергия нужна атомному комбинату в Окридже, алюминиевым заводам и военным предприятиям.

Миссури, другой многоводный приток Миссисипи, печально известен бурными разливами. Весной 1951

года полмиллиона американцев спасались бегством от его вод.

Профессор Зиман писал также о том, что в пойме Миссисипи за десять лет разорились 300 тысяч фермерских хозяйств. Волны расовой ненависти бушуют на берегах великой реки, отравляя жизнь людей, и недаром с каждым годом уменьшается доля примиссисип-ских штатов в общем числе жителей страны.

Точность некоторых важных штрихов этой картины годом позже косвенно подтвердил весьма влиятельный американец. Миссури разлилась снова. От катастрофического наводнения пострадали жители пятидесяти городов. Американец, пролетев над районом бедствия на самолете, сказал журналистам:

— Мы слишком долго валяли дурака!

Слова эти принадлежали тогдашнему президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну...

Рассказ о Волге 1951 года начинался утверждением: "ось России" уже не та река, что некогда текла через Русскую равнину. О старой Волге ее знаток С. Монастырский писал: "Затруднения и печали судоходства доводили до отчаянья. От Рыбинска до Твери пароходство совершенно прекратилось. Смешно сказать, что в некоторых местах, даже у Ярославля и Костромы, Волгу переходили вброд, а суда стаскивали с мелей "народом"... Обмеление Волги вряд ли поправимое зло".

В 1951 году выше Рыбинска о мелях забыли и думать: там шумело Рыбинское море, самый большой искусственный водоем планеты. Действовали первые три гидроузла великого каскада. На протяжении тысячи трехсот километров волжского русла навсегда прекратились катастрофические наводнения.

То, что еще недавно казалось далеким будущим Волги, в 1951 году уже становилось ее настоящим.

Достраивался Волго-Донской канал, и скоро очередной отпуск многие счастливыцы смогут провести на теплоходах, плывущих из Москвы в Ростов.

...По Волге тянется за буксировщиком огромный плот. Над ним — полотнище: "Строительству Сталинградской ГЭС от марийских лесорубов".

Марийцы — это тот вымиравший народ, о котором один исследователь писал некогда, что в его настоящем и будущем "одна только темь беспробудной ночи и впереди не сияет спасительный луч зари новой жизни". Марийцы — это один из поволжских народов, получивших после революции свою государственность, свои города и заводы, свои институты, свои газеты, свои театры, на сцене которых живут герои Шекспира и Островского. Не в крутом ли повороте судьбы марийского народа, как в капле воды, отразились перемены в жизни людей, населяющих берега великой реки?

Так заканчивался рассказ о Волге 1951 года.

Текли воды двух рек, текло время. Листая однажды старую подшивку "Литературной газеты", мы нашли страницу о Волге и Миссисипи:

— Ровно десять лет! Может, рассказать читателю, что у нас и у них теперь?

И я опять поехал на Волгу, американскому журналисту Гарри Фримэну послали телеграмму: просим побывать на Миссисипи, поделиться впечатлениями.

Осенью 1961 года читатели "Литературной газеты" снова увидели крупный, во всю страницу, заголовок: "Судьба двух рек".

Рассказ о волжских буднях начинался с записок Юрия Гагарина:

"Внизу блеснула лента Волги. Я сразу узнал великую русскую реку... Все было хорошо знакомо: и широкие окрестности, и весенние поля, и рощи, и дороги, и

Саратов, дома которого, как кубики, громоздились вдали..."

Первого человека из космоса приняла на свой берег не Миссисипи, не Темза, не Сена и не какая-нибудь другая из сотен тысяч рек планеты — приняла Волга. И человек этот еще недавно учился в Саратове, собираясь стать техником-литейщиком, дружил с соседями по общежитию и водил самолет над Волгой, блеск которой увидел потом сквозь иллюминатор "Востока".

Без большого риска ошибиться, можно было сказать, что Волга не только принимала, но и снаряжала космические корабли: в орбите великой реки производилось множество видов промышленной продукции и многое из того, что понадобилось при рейсе к звездам.

Читателю напоминали, что на монументе "Волга", поставленном над волноломом в заливе Рыбинского моря, начертаны ленинские слова: "Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны". Применительно к этой формуле и оценивались итоги нового волжского десятилетия.

Десять лет спустя и по другую сторону монумента действовали гидростанции под Горьким, в Жигулях, у Волгограда. Последние две — гиганты мирового класса. Десятилетие прибавило Волге три моря, и по ним понеслись на подводных крыльях стремительные, как их названия, сормовские "Ракеты", "Метеоры", "Спутники".

Десять лет.... "Стоводная удаль безудержной Волги" за эти годы подчинена человеческому разуму, и великая река предстает перед миром воплощением ленинской формулы о преобразующей творческой силе Советской власти, электрифицирующей страну.

Присланная из Нью-Йорка статья Гарри Фримэна начиналась так:

"Редакция "Литературной газеты" попросила меня написать о том, какие события произошли за последние

десять лет на Миссисипи и как прожили эти десять лет люди, населяющие ее берега.

Прежде всего я должен сообщить, что с самой рекой за это время никаких существенных изменений не произошло".

Американец рассказывал, что Миссисипи исправно служит человеку: по ней деловито ползают около тысячи восьмисот буксиров и девять с половиной тысяч стальных барж. Но на всем протяжении от канадской границы до Мексиканского залива — а это четыре тысячи километров — на реке по-прежнему нет ни одной значительной гидростанции.

Правда, могучая река, на которой построено немало защитных дамб, не может теперь позволять себе те дикие эксцентричные выходки, которые описаны Марком Твенем в его "Жизни на Миссисипи". Но она еще достаточно сумасбродна и свободна в своих поступках, чтобы нагнать страх на людей, когда начинают таять зимние снега. Недавно в городе Ватерлоо и его окрестностях свыше шести тысяч человек, покинув дома, бежали, спасаясь от наступавшей воды.

Значительное развитие индустрии штатов, расположенных на берегах "американской Волги", мало изменило жизнь на плантациях дельты, где потомки рабовладельцев эксплуатируют потомков рабов, где по-прежнему действуют ку-клукс-клан и расистские "Советы белых граждан". Однако порывы свежего ветра перемен проносятся уже и над Миссисипи. Молодое поколение негров, при поддержке многих белых, требует равноправия, обещанного столетие назад.

"Старик Миссисипи, — заключал мой американский коллега, — мало в чем изменился за последние десять лет, но на своем пути к Мексиканскому заливу он в 1961 году может все же увидеть кое-что новое!"



Когда я пишу эти строки, время почти отмерило еще одно десятилетие в истории двух рек. Я вижу Волгу, ставшую стержнем Единой воднотранспортной системы европейской части страны. Волго-Балт завершил великую переделку речной природы России. Мы внутренними водными путями связали между собой черноморские, каспийские, беломорские, балтийские, азовские порты. Волжские корабли вышли на широкие морские дороги. Их вымпелы — совсем уже не редкость на рейдах приморских городов Западной Европы. Это большие корабли большого плавания.

А пуск Саратовской ГЭС и строительство Чебоксарской, мощные приволжские теплоцентрали вроде Конаковской, сеть магистральных трубопроводов, "Дружба", давшая волжскую нефть социалистическим странам! Впрочем, сведение полного баланса еще не полного десятилетия — пока не моя задача.

А что на Миссисипи?

Не воспользоваться ли для начала журналом "Америка"? Он ведь издается, мягко говоря, отнюдь не ради критики американской действительности.

Я нашел в нем рассказ о великолепных качествах американских толкачей-буксиров, упоминание о том, что в северной части штата Миссисипи местность на берегах "все еще унылая — по редким признакам цивилизации можно подумать, что это не Миссисипи, а Амазонка или Конго", тогда как в штате Луизиана, напротив, "повсюду видны промышленные здания: нефтеперегонные заводы пастельных цветов, серые зерновые элеваторы, блестящие на солнце яркие краски новых химических заводов, а на реке — пароходы, буксиры, баржи, снабжающие эту промышленность".

Я прочел также, что в нижнем течении, несмотря на огромные дамбы и бесконечные километры набережных, Миссисипи "еще окончательно не покорила человеку, порой она превращается в беснующееся чудовище" и ей

"ничего не стоит лишить человека жизни, стать виновницей страшных наводнений, кораблекрушений и иных бедствий".

Но ведь примерно так было и десять, и двадцать лет назад...

Не сомневаюсь, что раньше или позднее американцы все же укротят нрав "отца вод". В Америке есть деньги и машины, ей не занимать талантливых инженеров и отлично знающих дело рабочих. Пусть там, где берега все еще унылы и пустынные, появится по заводу на каждой миле, пусть удвоится или утроится флот "американской Волги", а воды ее станут, наконец, вращать сотни турбин — судьба двух рек и в этом случае станет лишь приблизительно внешне схожей.

Мой американский коллега писал в 1961 году, что негры не имели права посещать те же школы, что белые, но с надеждой упомянул о "свежем ветре перемен". Восемь лет спустя верховный суд США действительно постановил: свыше двухсот школ штата Миссисипи должны, наконец, посадить за парты темнокожих вместе с белыми. Но и в начале 1970 года этого не произошло: расисты многих городов перевели детей из государственных школ в частные только для того, чтобы они не учились вместе с неграми...

По случайному совпадению в том номере журнала "Америка", откуда я позаимствовал строки о "беснующемся чудовище" Миссисипи, был помещен в траурной рамке портрет доктора Мартина Лютера Кинга, лауреата Нобелевской премии, лидера движения за права негров, застреленного на берегу Миссисипи в городе Мемфисе — и убийство это снова напомнило миру о том, что над великой американской рекой все еще длится вчерашний день истории.

Истоки нынешней Большой Волги — в начальных актах молодой Советской власти, в первых ленинских

декретах, определявших будущее.

Да, не существует точных свидетельств, каким именно видел Ильич завтрашний день родной реки. Но не обратиться ли еще и еще раз к проекту "кремлевского мечтателя", к проекту, который некогда показался Уэллсу неосуществимым "в огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной неграмотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла торговля и промышленность".

Не в ленинском ли плане ГОЭЛРО наброски будущего Волги?

И с удивлением узнает наш современник, что на знаменитой карте, которую зачарованно разглядывали в нетопленном зале Большого театра делегаты VIII Всероссийского съезда Советов, во всем бассейне великой реки был лишь один кружок крупной гидроэлектростанции, и то не на самой Волге, а в излучине горной реки Чусовой, впадающей в Каму. Даже в этом смелом взгляде в будущее инженерная мысль не пошла дальше проектов тепловых электростанций в крупных городах Поволжья...

Как же далеко ушли мы от некогда казавшихся фантастическими наметок!

Завтрашний день Волги и ее берегов — в принятой XXIV съездом ленинской партии программе работ, нужных народу и одобренных народом.

Волга девятой пятилетки видится нам единственной в мире великой рекой, гидроэнергетические ресурсы которой скоро будут освоены полностью и в комплексе. Этот комплекс — вода для народного хозяйства и украшения человеческой жизни, вода, несущая корабли и производящая энергию, вода, орошающая землю и омывающая набережные городов, вода, как народное

достояние, как природная среда, которой нужно вернуть былое изобилие рыбьего царства.

Волга девятой пятилетки — не только становой хребет мощнейших энергосистем. Это и сверхмагистраль река — море или, вернее, много морей: Большая Волга как бы распахивается в синь морских просторов, окаймляющих Европу, а следовательно, выходит на транспортную связь с Мировым океаном.

Волга девятой пятилетки — река крепнущего братства народов, всесторонне развивающих свои республики. В предельно спрессованных строках директив съезда среди главнейших строек всесоюзного масштаба названы индустриальные гиганты Татарии, Чувашии, Башкирии...

Волга девятой пятилетки напоит половину всех земель, которые отвоевывает у засухи Россия.

Больше, чем когда-либо, на службу народу, для блага народа, на радость народу — вот что такое Волга девятой пятилетки.

— По государству и река!

Это сказал Языков. Поэт пушкинской поры боготворил Волгу. Помянутая в былине о Садко, стоном отозвавшаяся в бурлацкой песне, сталью зазвеневшая в клятве воина, для которого за ней земли нет, пересчитанная трезвыми умами в миллиардах киловатт-часов, она всегда остается чем-то гораздо большим, нежели рекой, пусть великой. И не только там, где стены плотин сдерживают ее моря, где реке приданы чудесные набережные, где оmyвает она исторические места.

На песчаный невзрачный берег к взбаламученной воде выходит человек в рубашке с расстегнутым воротом. Остановился, смотрит: Волга.

Он, этот человек, делает на реке будничное свое дело. Бьет сваи. Кладет бетон. Водит нефтевозы.

Мастерит приборы для космических кораблей.  
Принимает чалку. Создает искусственные алмазы.  
Разводит мальков осетра. Сажает березы. Углубляет  
речное дно. Набрасывает эскизы будущих городов.

Это его Волга-матушка. И одновременно нынешняя  
Волга — детище миллионов таких рук, как его руки.

По народу и река!

*Волга — Москва, 1969-1970 гг.*

Редактор И. В. Стабникова. Художественный  
редактор Н. Л. Юсфина. Технический редактор В. А.  
Преображенская. Корректор З. А. Росаткевич.

Сдано в набор 29/1-71 г. Подписано к печати 28/IX-  
71 г Формат бум. 70X108 /32 Физ печ. л 14,0. Усл. печ. л.  
19,6 Уч. — изд. л. 18,51 Изд инд. ХД-184. А06162 Тираж  
50 000 экз Цена 72 коп в переплете.

Бум. № 1.

Издательство "Советская Россия". Москва, проезд  
Сапунова, 13/15

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома  
Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г.  
Электросталь Московской области, Школьная, 25.

Заказ № 2083.

72-107

Советская Россия